

РАУЛЬ КОТИНЬО
ЛОПЕС

**ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА
И БЛИЗКИЙ БОЙ**

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС
ДЕ КАСКОРРО

РАССЕЯТЬ МГЛУ



БИБЛИОТЕКА КУБИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



БИБЛИОТЕКА КУБИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

*Ежков В. В.,
Грушко П. М.,
Золотавкин В. Д.,
Кутейщикова В. Н.,
Микоян С. А.,
Пизалев В. В.,
Столбов В. С.*

МАНУЭЛЬ КОТИНЬО ЛОПЕС

**ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА
И БЛИЗКИЙ БОЙ**

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС
ДЕ КАСКОРРО

РАССЕЯТЬ МГЛУ

Перевод с испанского



МОСКВА «ПРОГРЕСС» 1979

Предисловие В. Земскова .

Редактор Л. Борисевич

Кофиньо Лопес, Мануэль. Последняя женщина и близкий бой.

Гонсалес де Каскорро, Рауль. Рассеять мглу.

Произведения, входящие в данный том библиотеки, посвящены проблемам послереволюционной действительности Кубы. Роман Кофиньо рассказывает о том, как в процессе свободного труда формируется новый человек — борец за социализм.

Рауль Гонсалес де Каскорро раскрывает психологию людей, решивших покинуть родину и в итоге терпящих моральный крах, противопоставляя им тех, кто не поддался вражеской пропаганде.

© Предисловие, перевод на русский язык повести «Рассеять мглу»
издательство «Прогресс», 1979

К $\frac{70304-007}{006(01)-79}$ 91—79

СОЗДАТЬ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Произведения, представленные в этом томе, запечатлели этап революции, который наступил вслед за праздником освобождения в 1959 году, вслед за сражением с интервентами в 1961 году на Плая-Хирон, за тревожными днями Карибского кризиса в 1962 году. Революция была защищена, с горизонта исчезли американские корабли, но побережье оставалось линией фронта, где шла упорная борьба с диверсантами, в горах, скрывавших банды контрреволюционеров, гремели выстрелы, в суровых условиях экономической блокады, организованной Соединенными Штатами, разворачивалась трудная работа по подъему экономики... От многих факторов зависела дальнейшая судьба революции, но, сколь многочисленными и важными они ни были, в период, когда центр борьбы все более перемещался в область общественных, производственных отношений, особое значение имел один, без которого все остальные не были действенными, — человеческий фактор, фактор сознания. Сверхал и защищал революцию героический порыв народа, строить могли только люди, которые прониклись ее идеалами. В решении сложнейшей проблемы перестройки сознания человека, с которой сталкивается всякая социалистическая революция, Куба обрела свой оригинальный и поучительный опыт. Широкое отражение получила эта проблема и в литературе.

«Создавать нового человека» — эти слова из работы «Социализм и человек на Кубе», принадлежащей виднейшему руководителю и теоретику революции 1959 года и социалистического строительства на Кубе Эрнесто Че Геваре, вынесены в эпиграф повести Рауля Гонсалеса де Каскорро «Рассеять мглу». Они могли бы послужить эпиграфом и к роману Мануэля Кофиньо Лопеса «Последняя женщина и близкий бой». В обоих произведениях перед

нами жизнь кубинцев на перепутье, борьба старых и новых форм жизни, инерции сознания, вьевшихся стереотипов и новых идеалов. И оба произведения, каждое по-своему (их герои — полярные человеческие типы), отразили особенности кубинских условий, особые коллизии, черты и оттенки в человеческих характерах, которые обнаружались, когда революционеры, штурмовавшие «небо» в 1959 году с решительностью закаленных бойцов («В жизни нет невозможного» — такова позиция героя романа Кофиньо Лопеса), начали штурм «земли».

Роман Мануэля Кофиньо Лопеса «Последняя женщина и близкий бой», хорошо знакомый нашим читателям — уже трижды он публиковался на русском языке (в журналах и в издательстве «Молодая гвардия»), — несомненно, можно считать одним из наиболее значительных произведений, в котором получила оригинальное художественное решение проблематика, порожденная буднями новой Кубы.

Запечатлеть «жизнь революции на марше» — к этому стремился Кофиньо Лопес. Это ему удалось. Произведение Кофиньо Лопеса обладает таким несомненным признаком романа, как способность через частную историю передать содержание конфликтов, типичных для народной жизни в целом, через частных героев показать настрой, психологическую атмосферу, присущие всему обществу. Сила этого произведения в тесной связи автора с тем, о чем он пишет, в глубоком знании характеров, коллизий и специфических проблем, порожденных революционной действительностью. Особенно важно, что знание это обретоно не путем наблюдений «со стороны», а в результате полнейшей жизненной и духовной идентификации с делом, идеями и ритмом революции.

Автор романа «Последняя женщина и близкий бой» пережил в свое время нечто подобное тому, что происходит в романе, — вступил в конфликт со старыми представлениями, открыл в себе нового человека. И в этом смысле в роман вошел автобиографический опыт.

Мануэль Кофиньо Лопес (род. в 1936 г.) вырос в состоятельной семье (его родители были владельцами мебельной фабрики в Гаване), однако он рано начал самостоятельную трудовую жизнь — работал на фабрике сигар, занимался торговлей, рекламой. В 1962 году в его жизни произошло два знаменательных события. Во-первых, Ко-

финьо Лопес безвозмездно передал министерству промышленности, которым руководил Че Гевара, унаследованную от родителей фабрику; во-вторых, выпустил в свет стихотворный сборник «Шквал», с которого начался его писательский путь. Кофиньо Лопес вступает в народную милицию, преподает, работает в министерствах промышленности, юстиции, культуры и одновременно пишет книги. Писательская судьба Кофиньо Лопеса сложилась удачно. Он стал обладателем чуть ли не всех литературных премий на Кубе: премии «Давид» Союза писателей и художников Кубы удостоен его поэтический сборник «Размышления и доводы прохожего» (1969 г.), премии «26 июля» — сборник рассказов «Время перемен» (1969 г.), премии «Дома Америки» — «Последняя женщина и близкий бой» (1971 г.), премии «Золотой возраст» за произведения детской литературы — сборник сказок «Старушки с зонтиками»* (1972 г.); в 1975 г. вышел его роман «Когда кровь похожа на огонь». Практическая работа и творчество всегда шли вместе, не подменяя друг друга. Как и другие представители революционной интеллигенции, он участвовал в труде революции не только своим искусством, но и непосредственным делом. Это правило кубинской революции, возникшее еще в первой половине 60-х годов, было освящено высоким моральным авторитетом Че Гевары, который неукоснительно следовал ему, раздвигая рамки времени и вмещая в него заботы руководителя, добровольный труд на предприятиях и работу мыслителя-теоретика. Вот почему «Последняя женщина и близкий бой» — плод неурочного труда во имя революции, ибо писался роман, как выразился Мануэль Кофиньо Лопес, «в свободное время». И это надо иметь в виду, чтобы понять специфику произведения, которое всем своим художественным строем оказалось теснейшим образом связанным с идеологией и практикой социалистического строительства на Кубе, пронизанного пафосом революционного энтузиазма и максимализмом молодости.

Материал для своей книги Мануэль Кофиньо Лопес собрал во время командировки в глухой горный район западной провинции Пинар-дель-Рио, куда он приехал с товарищами помогать крестьянам, работающим в мест-

* М. Кофиньо Лопес. Старушки с зонтиками. М., «Детская литература», 1976.

ном лесохозяйстве, налаживать новую жизнь. Здесь он увидел, как под гладью обыденности идет упорная борьба, встретил сомневающихся, колеблющихся, врагов, людей, беззаветно преданных революции, здесь он стал свидетелем событий, контуры которых перенес в книгу, слушал разговоры крестьян, размышлявших о старом и о новом, записывал поэтические истории, вошедшие потом в роман.

Путь из Гаваны в провинцию повторил и герой книги, революционер, участник партизанской войны Бруно, который был «брошен» сюда вместе с боевыми товарищами, когда выяснилось, что в этом захолустье, где работа, казалось, шла ни шатко ни валко, местное руководство творит беззакония, злоупотребляет властью, растрчивает средства, не способно организовать труд, призванный преобразить скудную, изъеденную эрозией землю. Вернуть земле силу, плодородие, дать ей влагу и тень — такова задача, поставленная революцией. Варьирующиеся образы сухой земли, воды и влаги составляют широко и щедро ветвящуюся поэтическую символику романа, с которой оказываются связанными все основные действующие лица. Логика этой связи очевидна. Ведь что значит преобразить изуродованную землю, возродить ее силу? Прежде всего — преобразить людей, иссушенных столетиями угнетения, разьединенности, вырвать крестьян из-под власти того времени, когда в округе царили кровопийцы вроде помещика Ла О, помочь им оторваться от своего клочка земли и заставить их поверить в необходимость общего труда.

Проводниками новой идеологии выступают Бруно и его товарищи, и прежде всего сам Бруно; почти доверенное лицо автора, почти лирический герой произведения. Почему «почти», об этом мы скажем позже, пока отметим, что в образе бывшего партизана с максимальной полнотой воплотились представления об особой роли личности, революционного авангарда, получившие отчетливый акцент в идеологии кубинской революции. Поскольку же образ Бруно стоит в центре произведения, эти представления оказались воплощенными в самой его художественной структуре. И в этом смысле абсолютно прав был известный кубинский критик Хосе Антонио Портуондо, который оценил книгу Кофиньо Лопеса как «настоящий революционный роман».

Все действующие лица так или иначе, прямо или косвенно оказываются связанными с Бруно — носителем ак-

тивного преобразующего начала, с его делами, поступками, распоряжениями, вызывающими бурное движение в этом забытом уголке. Они все время в действии, в разъездах, опаленные солнцем и покрытые пылью дорог, и потому в их недолгих размышлениях прошлое, настоящее, будущее встают разом. Параллельно Бруно и его соратникам, не приходя в прямое столкновение с ними почти до конца романа, действуют контрреволюционеры, которых направляют скрывающиеся в горах диверсанты. Кинематографически смонтированные кадры-главки придают динамизм развитию событий, идущих к трагической развязке. Быстро, как кинолента, разматывающийся, аскетически суховатый сюжет разбит, словно стоп-кадрами, фрагментами, в которых звучат неторопливые голоса крестьян. Освобожденный от подробного описания быта, роман благодаря этим фрагментам обрастает плотью жизни.

Не связанные между собой рассказы крестьян складываются в единую легенду о родном крае, где «всегда что-нибудь случается», о таинственных силах, направляющих жизнь и судьбы людей, о том, что было здесь, когда отвратительный старик Ла О морил крестьян, полиция стреляла в людей, солдаты пытались уничтожить скрывавшихся в горах партизан. В большинстве случаев это причудливые поэтические истории — порождение суеверного крестьянского сознания — о загадочных существах, о всякого рода лесной чертовщине, например таком мифологическом существе, как «мать-вода» в облике змеи. На иссушенной земле, где после засухи тропические ливни обрушивают потоки воды, приносящие не пользу, а разрушение, народ создал этот фантастический образ, в котором слились в неразделимое целое и благо и зло. Точно так же благо и зло, красота и губительная сила слились в неотразимо привлекательной для мужчин крестьянке Нати, в странном поведении которой очевидно влияние мифологического восприятия мира. Ла О осквернил ее еще совсем молодую, и с тех пор она отмывается и никак не может отмыться. Ливень, река неодолимо влекут ее, а люди в ее поступках, в ее красоте угадывают таинственные чары «темной» воды...

Постепенно из рассказов крестьян начинает вырисовываться легенда о некоем Педро Бульдозере. Поразив воображение крестьян своей отвагой и дерзостью, он то ли покинул эти места, то ли встал во главе партизан. Голос

народа дополняется затем голосами друзей и соратников Бруно, и выясняется, что именно он, сражавшийся в этих горах, породил легенду о Педро-партизане. Вязкая народная память, как и земля, с трудом поддающаяся культивации, неторопливые голоса, рассказывающие поэтические небылицы, создают иной жизненный ритм, который контрастирует с ритмом сюжета. Позже, ближе к концу, мы обнаруживаем, что звучащие голоса вынесены за временные рамки романа — в то время, когда Бруно и его товарищи погибнут от рук контрреволюционеров. Бруно уже нет, а голоса эпически звучат, вбирая во второй раз в легенду реального Бруно, и в то же время он еще живой, носит в газике по округе, агитирует, достает инвентарь и одежду, критикует и вдохновляет, убеждает, заставляет крестьян поверить в необходимость трудиться по-новому, рассказывает, какие выгоды принесут нововведения и как здесь будет налажена новая жизнь в новых домах. Разглаживаются первые шрамы на изуродованной земле, разглаживаются шрамы на душах людей, сопоставляющих прошлое и настоящее. В сознании Бруно также идет активная работа, он размышляет о прошлом, настоящем и будущем.

Прошлое — это без сожаления оставленное обеспеченное существование, подполье, партизанская борьба в горах, ранение, революция, разрыв с любимой женой, покидающей Кубу (знак прошлого — постоянно ноющее раненое плечо), настоящее — революция, будущее — тоже революция, осененная мечтой о том времени, когда человек, как говорит Бруно, наведет порядок на земле, в хаосе брошенной богом. Вне революции и помимо нее для Бруно ничего не существует. Вместе со своими соратниками, возглавляя которых он, капитан революционной армии, в январе 1959 года входил в столицу, Бруно составляет особую группу людей, объединенных памятью о партизанском прошлом и сплоченных пролитой кровью. Из прошлого в настоящее они перенесли своего рода партизанский нравственный кодекс: героизм как норма поведения, самоотречение и мужество перед лицом опасности. Мирную жизнь они воспринимают как поле боя, быстро и решительно выполняют поставленные задачи, непреклонно верят в то, что революционеры могут горы своротить, что перековка сознания, пробуждение народа — дело, за которое надо браться засучив рукава... Эти черты характера Бруно и

его друзей, неотделимый от их жизни привкус риска и опасности — плоть от плоти кубинской революции, ее партизанского героизма.

Особую атмосферу создает уже сам заголовок романа — «Последняя женщина и близкий бой». Он говорит о том, что, работая над своим произведением, Кофиньо Лопес вдохновлялся не только памятью о партизанском прошлом. Заголовок романа — это привлекающая писателя своей поэтичностью и мужеством фраза из рассказа кубинского майора Леонардо Тамайо, участника партизанской эпопеи в горах Боливии, которая закончилась героической гибелью революционера-интернационалиста Че Гевары. Ответ образа Че Гевары, каким знал его Кофиньо Лопес, когда работал в министерстве промышленности, каким он предстал перед всем миром в 1968 году, когда разошлась весть о его гибели, лежит на всем произведении. Но особенно он осязателен в стиле поведения Бруно-революционера, в таких его чертах, как выдержка, стоицизм, полное равнодушие к жизненным благам, и в каком-то трудно уловимом трагическом подтексте — Бруно словно предчувствует, что иногда поражение, гибель означают победу.

В том, что Бруно — это действительно поэтическая вариация характера Че Гевары, нас убеждает финал романа. У постели смертельно раненного Бруно товарищ по партизанской войне говорит о том, как вел себя его командир в минуту величайшей опасности. Сам, прислонившись спиной к дереву и докуривая сигарету перед решительным броском, Бруно вспоминал тогда «известный рассказ Джека Лондона о человеке, который, прислонившись спиной к дереву, готовится достойно встретить смерть...». Это раскатынная цитата из книги воспоминаний Эрнесто Че Гевары «Эпизоды революционной войны»...

Бруно погиб, не успев возродить изуродованную землю, не успев возродиться в любви к крестьянской девушке Мерседес. Чистая влага благодатного дождя, пронизанные солнцем струи воды, капли росы, свежесть — эти символы, сопровождающие Мерседес, словно обещание того времени, которое смоет пыль дорог, пот усталости и горечь прошлого, словно образ мечты об обновленных людях и обновленной земле, во имя которой он отдал жизнь.

Мы сказали, что Бруно — это «почти» лирическое «я» автора. Почти — потому что эпические голоса крестьян, воссоздавая иной жизненный ритм, противостоящий ритму,

который Бруно вносит в затерянный среди гор уголок, говорят если не об иной позиции, то, во всяком случае, о возможности иной оценки событий, людей, характеров. Отчасти эта иная оценка обнаруживается в высказываниях молодого агронома Хорхе, выходца из местных бедняков, учившегося, как и многие другие кубинцы, в Советском Союзе. У Хорхе с Бруно не то чтобы споры, но какое-то несходство, и не только характеров — осмотрительного у одного, взрывчатого — у другого. Хорхе вполне сочувствует делу Бруно, но берет он, как кажется агроному, слишком круто, слишком по-военному звучат написанные им инструкции для местных крестьян... Хорхе-то знает, какого труда стоит возродить изуродованную землю. А неторопливый ритм крестьянских голосов словно говорит о том, что не меньшего труда стоит и создание нового человека в этом крае чудных людей, способных, как Нати, воплощать магическое в реальность.

Так исподволь возникают новые коллизии, заставляющие думать о том, сколь многосложны задачи, порождаемые новой жизнью, о том, что для решения их мало партизанского героического порыва. Нашему читателю они, несомненно, покажутся знакомыми, напомнят, например, коллизии «Поднятой целины». И не случайно. Опыт советской литературы, впервые обратившейся к подобной проблематике в 20—30-х годах, вошел в роман Кофиньо Лопеса. По словам писателя, Шолохов помог ему найти свой поворот общей темы...

О сложности проблемы создания нового человека и одновременно о сложности художественного ее решения говорит повесть Рауля Гонсалеса де Каскорро «Рассеять мглу».

Рауль Гонсалес де Каскорро (род. в 1922 г.) начал печататься в 40—50-х годах. В 1962 году он выпустил книгу рассказов «Люди Плая-Хирон»*, удостоенную Национальной литературной премии; затем появились другие его прозаические произведения, пьесы. Для Гонсалеса де Каскорро характерны близкая к журнализму манера, стремление опереться на конкретный жизненный материал, столь ощутимые в его очерках и рассказах о борьбе с контрреволюцией (сборники «Безголовые всадники», премия конкурса

* Рауль Гонсалес де Каскорро. Они не прошли. М., «Воениздат», 1963.

Союза писателей и художников за 1974 г.; «Здесь говорится о бойцах», премия «Дома Америк» за 1975 г.).

Стилистика очерка, сочетающаяся с собственно литературными приемами, характерна и для его повести «Рассеять мглу», посвященной актуальной для кубинской литературы теме.

Герой повести, Картосо, — антипод героя Кофиньо Лопеса. Слабый человек, он покидает вместе со своей семьей родину. Автор стремится понять психологию такого человека, разобраться, почему бежит с Кубы вместе с бывшим содержателем публичного дома, спекулянтами выходец из бедняков, мулат, который вряд ли может рассчитывать на человеческое существование в США.

Все дело в том, говорит автор, что революция лишь внешне изменила жизнь Картосо. Как и другие, он стал на ее сторону, даже получил отдельный кабинет в учреждении, но власть старых стереотипов, жизненных стандартов, привычек столь сильна, что Картосо уступает настояниям жены, кругозор которой ограничен рамками американского супермаркета. Сталкивая героя с рядом персонажей, писатель как бы возвращает его к прошлому, заставляет вспоминать трудные годы детства, юность, дореволюционную Кубу, борьбу с тиранией, гибель знакомых. Среди тех, кто за плату нелегально переправляет беглецов за границу, Картосо узнает бывшего полицейского-убийцу. Теперь Картосо оказывается в одном стане с теми, кто терзал Кубу, мучил людей, и становится фактическим пособником убийства молодого кубинского солдата. Он испытывает угрызения совести, страх и неуверенность, ощущает правоту молодежи, тянущейся к новой жизни, но вынужденной против воли уезжать вместе с родителями. Как и в романе Кофиньо Лопеса, перед читателем — работающее сознание: воспоминания, настоящее; но будущего у героя Гонсалеса де Каскорро нет, он сам закрывает его для себя. Крайние обстоятельства, в которые попадают беглецы, вызывают у героя душевное потрясение — «мгла рассеивается», но поздно...

Революция достигает окончательной победы тогда, когда проникает в сознание индивидуумов, преобразует его на новых основах — эту мысль Че Гевары подтверждает художественное исследование жизни, которое ведут кубинские писатели.

В. Земсков

МАНУЭЛЬ КОТИНЬО ЛОПЕС

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА И БЛИЗКИЙ БОЙ

Перевод Ю. Павлова

MANUEL COFIÑO LÓPEZ
LA ÚLTIMA MUJER
Y EL PRÓXIMO COMBATE

LA HABANA, 1975

Нам надо поменьше заниматься приклеиванием к людям всяческих ярлыков, а поглубже проникать в побудительные мотивы их поступков, сопоставлять причины и результаты их действий. Быть последовательным революционером — это не значит быть безразличным к отдельному человеку. Наоборот, только проявляя всестороннюю заботу о нем, мы и сможем построить подлинный социализм. Кое-кто видит только деревья, не замечая леса, другие за лесом не видят деревьев: восторгаются иной раз лесом, а не понимают, что деревья в нем гниют. Мы же должны видеть и лес, и каждое дерево в отдельности, потому что в конечном счете без деревьев нет и леса.

Бруно

ЧАСТЬ I

...Потому что здесь у нас все время что-нибудь да случается. А теперь особенно часто. В народе, конечно, разговоры... Тут как-то на этих днях, то есть не так давно, парень один из Лас-Десеадас рассказал мне, что вон на той дороге, где загон для скота — видишь, — так вот, говорит, что возле изгороди, у гуайавы *, вон у той, вдруг послышался такой грохот, словно гром загремел, и пыль поднялась столбом... Парнишка, когда понял, что гул-гром этот идет из-под земли, и увидел пыль, очень, конечно, удивился. Тогда, значит, побежал он к этой самой изгороди. Подбегает, видит холмик рыхлой земли, небольшой такой, как муравейник, и из этого холмика пыль валит кверху. А под землей все вроде кишит, и не пыль это из нее поднимается, а дым. И будто кто толкает землю изнутри, будто кто ворочается в ней или борьба какая там идет, под землей! Парнишку звать Туте, племянником Пипе приходится, живет здесь, неподалеку от меня... Стал он, значит, палкой

* Гуайава — невысокое дерево-кустарник со съедобными плодами. — Здесь и далее примечания переводчика.

расковыривать холмик этот, а пылица такая, чуть не задохнулся... Ну тут гул стал стихать, а потом и совсем перестал. И больше ничего не было слышно, пыль тоже вся осела... Туте рассказывал мне про это, по-моему, в марте... Так что и здесь всякое бывает. Думаете, что тут только лес рубят, удобрения возят, за посадками ухаживают да эвкалиптовую древесину разделявают? Нет, здесь у нас тоже каждый день, каждый божий день что-нибудь да случается...

По дороге говорят все время об одном и том же. Изредка оба умолкают, задумавшись, и снова возвращаются к тому, о чем говорили. Тревожные вопросы не находят ответа и словно витают в тесной кабине машины, которая мчится по ночному шоссе, заглатывая и заглатывая бесконечную желтую ленту разделительной линии. Серхио что-то говорит, но Бруно на этот раз не отвечает, молча вынимает из пачки сигарету и подносит ее к губам. Неровное пламя спички выхватывает из темноты его худое безбородое лицо: сухая матовая кожа, пульсирующая жилка на виске, усталые карие глаза, прищуренные от света... Курят и думают, снова курят и снова думают, озабоченные одним и тем же. Кое-что им уже известно: перед отъездом им в общих чертах рассказали о положении дел на месте, но только в общих.

Где-то далеко-далеко остались городские здания, яркие огни, оживленный поток людей, сверкающие витрины, четко прочерченные пешеходные дорожки на улицах. А впереди — глухая ночь, в которую уползает, извиваясь змеей между гор, влажный асфальт дороги, тускло поблескивающий в свете фар. В окна машины врывается холодный воздух, пахнущий сырой травой.

Начинает светать, и справа вдаль вырисовывается голубоватая цепочка гор. Постепенно горы приближаются, становятся более яркими, зелеными. Порой кажется, что автомобиль несется прямо на них, будто идет на таран, но в последний момент шоссе вдруг резко сворачивает в сторону, и горы остаются справа, все время справа.

— Неужели и в наши дни может происходить такое? — спрашивает вслух Бруно.

Он уже не раз задавал этот вопрос, пока они ехали. И Серхио, взглянув на него, как и прежде, собирается что-то ответить, но молчит. Зажигает еще одну сигарету и сидит задумавшись.

Слева — сплошные заросли марабу *, справа — насколько хватает глаз — саванна, а за ней горы. Бруно смотрит в боковое окошко. «Нет, тут что-то не так, — думает он. — Такое не случается ни с того ни с сего. Дело, видимо, по-серьезнее. И придется нелегко».

Окрестности ему знакомы. Не в первый раз он в этих местах. На память приходит прошлое. Пятнадцать лет назад проезжал он здесь с ней, и тоже на «форде». Тогда он был совсем другим, да и все тогда было другим. Она сидела рядом, прижавшись к нему, закинув руку на спинку сиденья, а ее пальцы ласково перебирали волосы на его затылке... Чуть раскосые глаза, прядь волос, спадающая на лоб. Он помнит запах ее духов и голос, когда она мечтательно перечисляла: у них будет свой дом в Альта-Абана **, сад, бассейн, качели... Будут дети... И каждый год новая машина... Процветающая контора мужа, счет в банке. А как они будут любить друг друга! Медовый месяц, конечно, проведут в Майами. Она смотрела на него лучистыми, чуть раскосыми глазами, и все лицо ее освещалось улыбкой...

А восемь лет назад он снова побывал тут, только уже без нее. И без «форда», с еще не зажившим после ранения плечом, и одет он был совсем не так, как прежде, да и сам он уже был не тот. Не тот, но еще и не такой, как теперь. «Если бы сейчас она увидела меня, — с усмешкой думает он, — наверное бы, и не узнала».

Поселок Лас-Десеадас расположен между обрывистыми скалами, между голыми, словно лысина, кручами с редко торчащими волосинками травы. Солнце палит уже с раннего утра. Земля потрескалась, горячий ветер, смешанный с красноватой пылью, обрушивается на строения. Пыль везде — все вокруг покрыто ею. Через щели, окна, полуоткрытые двери (а они здесь почему-то всегда полуоткрыты) пыль проникает внутрь, оседает на пол, липнет к коже, присыхает к губам, и, если провести по ним языком, сразу же почувствуешь ее привкус.

* Марабу — дикорастущий колючий кустарник, распространенный на Кубе.

** Альта-Абана — аристократический район дореволюционной Гаваны.

Пипе облизывает губы, лениво чертит что-то пальцем на запыленном столе и опускается на табурет у стены. Через щели в дощатой стене в комнату бьют солнечные лучи, и в них тоже реют пылинки. Снаружи пустынно и тихо, будто солнце растопило все вокруг.

Пипе ростом невысок, но кряжист. На нем изрядно поношенная ситцевая рубаша, обтрепанные понизу штаны, ботинки без шнурков. Он лениво шевелит рукой, сгоняя севшую на нее муху, и зеваает. Потом поудобнее приваливается к стене, прикрывает лицо сомбреро из пальмового волокна и тут же засыпает. Спит он крепко, сладко посапывая, широко расставив вытянутые ноги. Из-под изодранных штанин видны голые щиколотки... Шум приближающихся шагов не в состоянии разбудить его, он только слегка поворачивает голову, отчего сомбреро сползает набок и из-под полей показывается крепко сомкнутый глаз. Только когда раздается резкий стук в дверь, глаз открывается и часто-часто моргает, пытаясь привыкнуть к свету.

— Пипе! Слышишь, Пипе!

Сомбреро падает на пол. Пипе, протирая глаза, высовывается из двери.

— Что случилось, Сиако?

— Ничего, просто ехал мимо и решил заглянуть.

— Новостей пока никаких.

— Приезжают?

— Не знаю.

— Приедут. Только своими сказками они нас не обманут. На этой мякине нас не проведешь!

— Это ты думаешь так, а другие иначе.

— Я со своей земли не уйду!

С этими словами Сиако вскакивает на лошадь, из-под копыт которой сразу же вздымаются клубы пыли, хотя трогает она о места потихоньку, словно всадник и его кладь — сумка с едой и бойцовый петух в белом мешке — непосильно тяжелы для нее. Сиако прикасается шпорами к впалым бокам лошади, спугивая с засохших болячек мух, животное всхрапывает и прибавляет шаг, направляясь к тому краю поля, где виднеются женщины.

Правление лесоводческого хозяйства разместилось среди тенистых деревьев, на площадке перед самой горой. Рабочие встревоженно ходят от барачных к столовой, от столо-

вой к конторе. Небольшие группки собрались у склада, около мастерской, о чем-то толкуют. Человек десять спорят возле бензоколонки. Люди не понимают, у них просто не укладывается в голове то, что им сообщили о Миле. Одни, размахивая руками, громко кричат, другие, понурившись, молча слушают. Из группы, собравшейся у стола поиграть в домино, доносится: «Когда разберутся как следует, выпустят его, вот посмотрите». «Я бы ни за кого не отдал руку на отсечение, но в то, что рассказывают о Миле, трудно поверить. Не может этого быть!»

Давид, проходя мимо, слышит разговор, останавливается и, засунув руки в карманы, смотрит на лица говорящих.

— Слушайте, — обращаются к нему, — это правда, что Миле проворовался?

— Не знаю.

— Неужели не знаете?

Не дожидаясь новых расспросов, Давид быстро удаляется по гравиевой дорожке, ведущей к конторе. Он ощущает смутные угрызения совести. Собственно, не угрызения совести, а, скорее, какое-то беспокойство и страх. Войдя, машинально собирает в стопку бумаги на столе, садится и смотрит через окно на вытянувшуюся по горизонту горную цепь. Смотрит долго, отсутствующим, неподвижным взглядом. Потом подходит к двери и стоит, привалившись к косяку. Ждет.

Ждут все.

Дорога идет на подъем. Автомобиль, окутанный клубами пыли, зигзагами объезжает горы. Теперь они возникают то справа, то слева.

— Когда ты в последний раз был в этом хозяйстве? — спрашивает Бруно.

— Около года назад, — отвечает Серхио, — приезжали сюда с проверкой.

— Знаешь все хозяйство?

— Почти. Только с тех пор здесь, наверно, прибавилось несколько новых плантаций.

— Первое, что надо сделать, — это объехать бригады, все посмотреть и проверить самим, с народом потолковать, — говорит Бруно. — И не принимать никаких решений прежде, чем нам самим не станет ясно положение дел.

Серхио, кивая головой, круто поворачивает руль. Машина съезжает с насыпи шоссе. Подпрыгивая и вздымая красноватую пыль, она начинает петлять по проселку. Растительность вокруг невзрачная: болезненные колючие кустарники, кривобокое гуано*, сосенки, жидкие, низкорослые. Кое-где торчат рахитичные пальмочки да сухие метелки пырея среди чахлой травы.

— Разве правление не в Эль-Нуэво?

— Но ты же сам сказал, что лучше ехать с этой стороны, чтобы осмотреть плантации!

Дорога в ухабах, и машина с ее низкой посадкой то и дело цепляется глушителем за бугорки. Наконец перед крутым подъемом показывается щит с выцветшей надписью: «Бригада Лас-Десеадас». А с горы уже виден и сам поселок, раскинувшийся в ложине среди холмов: дощатые сараи, большой дырявый навес, бараки, ветряк, подающий воду для поливки, и бьющая в глаза мокрая зелень плантаций, засаженных сосенками и махагуа**.

Женщины в широких сомбреро, надетых поверх платков, поливают и окапывают саженцы. Когда автомобиль подъезжает ближе, некоторые из них разгибаются, долго рассматривают незнакомых мужчин. Сяко, увидев автомобиль, резко дергает за уздечку и проворно скрывается за деревьями в овраге.

Бруно и Серхио выходят из машины. Теперь уже все двадцать четыре женских глаза уставились на них, все двенадцать лиц обращены к ним с удивлением и простодушным любопытством.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— хором отзываются женщины.

— Как дела?

Одни что-то отвечают, другие смущенно опускают глаза перед городскими гостями: Серхио и Бруно не успели переодеться перед дорогой и приехали в тех же костюмах, в которых шесть часов назад находились у себя в министерстве.

— Как идут посадки? — спрашивает Бруно.

— Хорошо,— говорит кто-то из женщин.

— Так себе,— отвечает молодая девушка.

* Гуано — здесь: вид пальмы.

** Махагуа — дерево с ценной древесиной.

Бруно растерянным взглядом обводит посадки, ровно зеленеющие на участке.

— Почему же так себе?

— Да вот сколько саженцев приходится выбрасывать, сами поглядите,— показывает она.

— А зачем вы их выбрасываете?

Бруно обращает свой вопрос не к девушке, а к тем женщинам, что все время молчат, но отвечает по-прежнему она:

— Завяли.— Она сдвигает сомбреро на затылок. Ее озорные глаза задорно поблескивают, как у шаловливого зверька.

— Но... почему завяли?

Девушка пожимает плечами и с улыбкой отвечает:

— Вот этого я не знаю.

— Ты давно здесь работаешь?

— Какой дотошный,— вмешивается одна из старух, и все женщины смеются.

— Шесть лет,— отвечает девушка.

— Учишься?

— Сперва училась, а теперь здесь с учебой плохо.

Она снимает сомбреро, и солнце освещает ее лицо. Капелька пота, скользя по щеке, задержалась на подбородке, словно в раздумье: сорваться на землю или скатиться по шее. Сорвалась.

— А тебе хочется учиться?

— А то нет!

— Вы еще не знаете,— говорит кто-то из женщин,— что Мерседес признана лучшей работницей в нашем хозяйстве. Ее звено всегда на первом месте.

— Хорошо! — Бруно смотрит в глаза Мерседес, сверкающие и зеленые, как влажные от росы листья махауга.— Бригадир у себя? — спрашивает он.

— Нет его, еще вчера уехал в Эль-Нуэво, в правление,— отвечает Мерседес.— А Пипе, наверно, здесь, в конторе.

— Ну счастливо, Мерседес, очень приятно, что ты хорошо работаешь.

Они прощаются с женщинами и подходят к дощатому домику бригадира. Заглянув в приоткрытую дверь, видят спящего Пипе. Он сладко посапывает, лицо прикрыто сомбреро.

— Поехали дальше,— говорит Бруно.

Что здесь у нас плохо, так это грозы. Ужас сколько людей поубивало. Брата моего тоже грозой убило. Сидел он себе и спокойно пил кофе. Тут его и... А ночи? Ночи еще хуже, чем грозы. Как-то раз пошла я ночью к тетке. Эвкалипты страсть как расшумелись. И вдруг на берегу ручья вижу маленькую собачонку. Прошла еще немного, смотрю, а собачонка-то уже с лошадь стала. Как я это увидела, закричала не своим голосом и шагнула вот так, смотри, вот такой шаг сделала, и ручей, не поверишь, вдруг в этом месте пересох. Припустилась я без оглядки, домой прибежала, а у самой голова кругом идет, и дрожу вся... Быстрее в постель, закрылась одеялом и как в яму провалилась. Спала, пока мать утром не разбудила. А теперь, кому про это ни рассказываю, никто не верит, не верят, и все! Чуть не померла я тогда со страху. А ведь я родилась здесь и уж к двенадцати годам знала и горы вокруг, и каждую сосенку или эвкалипт. И работала все время тут. Сперва, стало быть, на земле с мотыгой, потом на подкормке саженцев. На очистке и на разделке эвкалипта пришлось побывать. Там, знаете, мачете не такой, как везде, требуется, а особенный, с обеих сторон заточенный. На валке леса и на вывозке тоже потрудились. После циклона много эвкалиптов пришлось здесь порубить. И на погрузке работала. Только водовозом не была — не нравится мне это дело. А теперь вот тут, на лесопосадках...

...Только правильно его звать не Педро Бульдозер, а Педро Бульдоса. Уж я-то знаю: в тот день, когда победила революция, я сам его видел, собственными глазами. Издалека, правда, но видел. Бородка у него была так себе. Одним словом, жиденькая была бородка. Да и ростом он тоже не вышел, но плотный такой был. Тут у нас некоторые говорят, что и имя-то его совсем не Педро было, будто сменил он, значит, свое настоящее имя... Здесь партизанили они, в наших краях. Правда, недолго — вскорости пришлось им уйти в Сьерра-Гранде. Мигелито, которого убили, тоже был с ними. И как им только удалось отсюда выбраться? Не знаю, были ли они смельчаками, но тут они держались молодцом!

Машину оставляют рядом с «газиками» и грузовиками у мастерских, в тени деревьев. Давид торопится им навстречу. Рабочие издалека молча рассматривают приехавших: некоторые с любопытством, большинство — с настроженным недоверием. А один, высокий негр в комбинезоне, перепачканном машинным маслом, пристально вглядывается в Бруно.

— Не может быть! — вырывается у него.

Но, заметив удивление обернувшихся к нему товарищей, он тут же спохватывается, делает равнодушное лицо и замолкает.

Давид с предупредительностью отвечает на вопросы Бруно, а тот смотрит на него так, будто хочет заглянуть

к нему внутрь, понять, что он за человек. В правлении, укрывшись от людских глаз, Давид мгновенно меняется. Предупредительная улыбка сползает с его лица. Он явно нервничает, то и дело снимает и протирает свои очки, избегая встречаться взглядом с собеседниками. Говорит заикаясь, нижняя челюсть его заметно дрожит.

— Может быть, пригласить бригадира? — неуверенно предлагает он.

— Где Миле? — вместо ответа спрашивает Бруно.

— Его уже увезли в ДОП*, — говорит Давид. — А вы хотели бы поговорить с ним?

— Поговорим потом, — отвечает Бруно, — успеем.

— Поскольку случилось это... ну вы знаете... и мне сообщили о вашем приезде, я собрал здесь бригадиров и пригласил агронома-лесовода на тот случай, если вы захотите встретиться с ними, — бормочет Давид.

— Миле был бригадиром на участке Монте-Гранде, так? — спрашивает Бруно.

— Да.

— А кто сейчас вместо него?

— Пока никто. Временно Яйо, который был у него заместителем.

— А кого бы вы рекомендовали на этот участок?

— Я затрудняюсь... После того что случилось с Миле, не знаю. Просто не знаю, кому теперь можно доверять. Ведь Миле казался неплохим человеком... революционером... — тихим голосом говорит Давид. — Нет, не знаю. Я понимаю, что тоже несу ответственность, но хотел бы... пояснить... Потому что, понимаете...

— Хорошо, хорошо, — останавливает его Бруно, — у нас еще будет время поговорить об этом. Прежде всего я должен объехать хозяйство. Когда вернусь, все обсудим.

— Так я позову бригадиров и агронома?

— Ладно, зовите. Если считаете нужным, зовите.

— Да нет, я совсем не...

— Нет, нет, раз собрали их, зовите, — говорит Бруно.

Кого здесь не хватает, чтобы навести порядок, так это Педро Бульдозера. Народ тут темный. А он знает и народ и округу нашу — партизанил в этих местах. Скрывались они

* ДОП — Департамент гласных операций МВД Кубы, имеющий частично судебно-исполнительские, частично полицейские функции.

здесь неподалеку, в пещере, он и еще тридцать человек. А потом ушли, потому как дольше оставаться им было нельзя — «стукач» один засек их и донес. Сразу же солдаты сюда примчались на грузовике и на джипе и пошли пахать! А Педро-то из своей пещеры — пещерой святого Лазаря мы ее называем — подстроил «каскаголовым» * обманную цель. Три дня самолет туда посылали. Прямо смех. Только Педро-то и след давно простыл.

Партизаны ни одного выстрела не сделали, чтобы себя, значит, не выдать и не убить кого в поселке. А тут вскорости и революция победила. Да что говорить, сам он был смелый и других заставлял воевать смело. Я не знаю, как его настоящее имя, только молодец был Педро Бульдозер! Отсюда он подался в Сьерра-Гранде, а потом — в Гавану. Там, наверно, и теперь...

Когда Сиако услышал, что автомобиль проехал, он вышел из-за тополей на дорогу и посмотрел в сторону поселка, туда, где в клубах красноватой пыли скрылась машина. Бронзовое лицо его блестело от пота, рубашка взмокла на спине и под мышками. Он снял сомбреро и, размазывая пот, провел по лицу ладонью. Вытащил из кармана фляжку, открыл ее и, запрокинув голову назад, с каким-то отчаянием стал пить. Потом провел языком по горлышку, облизал губы, чтобы ни одна капля не пропала, но, почувствовав какой-то привкус, сплюнул. «Да, что-то они, гады, затевают!» — со злостью подумал он и спустился в лоцинку, где оставил кобылу. Уже верхом, поднявшись на вершину холма, постоял минуту в раздумье, а потом решительно направился к развилке дорог, ведущих одна к морю, другая к питомнику.

Воздух неподвижен — ни ветерка, ни пылинки. Все будто замерло. Над землей стоит скорбная, щемящая душу тишина, кажется, от солнца даже звуки расплавились. Кобыла, вздымая сухую, мельчайшую, как мука, пыль, привычно трусит к дому Нати. «Нати в чем мать родила на белой простыне...» Сиако пересекает холмы и лоцины, никого не встречая на пути. «И что в ней такого, в этой женщине?» Сосны тоже молчат, только крики као ** нарушают тишину леса. Нати ждет...

* Так в народе называли солдат армии диктатора Батисты.

** Као — птица, похожая на нашего ворона.

И все же что-то в ней есть, в этой Нати, а что — не могу сказать. Странная она какая-то. Скажем, в бедастье выйдет из дома и бродит не спеша под дождем. Но что-то есть в ней такое, что взглянешь на нее и понимаешь: мужчины должны просто с ума сходить по ней, вот-вот; чего доброго, начнут ноги ей целовать, потому как столько в ней этой женской прелести, сколько не найдешь у всех местных женщин, вместе взятых. На нее достаточно просто посмотреть, и в тебе будто вспыхнет желание всех мужчин сразу. Даже когда она спокойно стоит, и то видно, что она не может быть ничьей женой, для одного мужчины — слишком много в ней женского. А когда идет, когда покачивает своими бедрами, как она одна умеет, тут уж... Одним словом, глядишь на нее и чувствуешь: другие женщины вроде вовсе и не женщины, а так... И хотя с тех пор, как Нати живет с Клементе, она старается как-то сдерживаться, изобразить из себя примерную жену, все равно самое невинное движение сразу же выдает ее. Даже когда видишь, как она крестится, и то думаешь не о боге, а совсем о другом. Странное дело: как только взглянешь на нее, похоже, что всего секунду назад она была перед тобой раздетой, а одежду набросила лишь для того, чтобы тебя удар не хватил. Но если продолжать смотреть, то одежда будто снова спадает с нее. Не знаю, что в ней есть, в этой женщине, не умею сказать. Только что-то есть. Что-то такое, отчего она кажется больше женщиной, чем все женщины, вместе взятые. Непостижимая она. Как судьба...

Серхио тихонько поругивался: «Это же черт знает что такое!» А я не помню, что думал. Были моменты, когда просто еле сдерживал себя...

Аресио — бригадир из Лас-Десеадас, кажется, очень упрям, из тех людей, которые если вобьют себе что-нибудь в голову, то уж стоят на своем до конца. Но взгляд у него открытый, и это мне нравится. Яйю из Монте-Гранде смотрел на меня иначе — не то серьезно, не то с испугом, а может быть, и еще как-то. Бланко из Ла О почти ничего не сказал, но по крайней мере не пытался и оправдываться. Лучше всех выступил агроном-лесовод Хорхе.

Все были очень серьезными и смотрели на меня вроде бы смущенно и виновато, но кто знает, что у каждого было на уме...

Давид без конца снимал и надевал очки, смиренно опу-

скал глаза. Говорил торопливо, но все время казалось, что думал он о чем-то другом, тогда как язык его сам по себе плел паутину, какой-то лабиринт слов... бесконечные оправдания. И это тоже раздражало.

Остальные на слова были скупы. Создавалось впечатление, что даже ответить на мои самые простые вопросы им трудно: говорили бессвязно, неопределенно, боязливо поглядывали на Давида. Может, мысли у них были такие неясные, может, не умели, а может, и страшились высказать их. Хорхе, несомненно, на голову выше остальных, хотя в хозяйстве работает всего шесть месяцев — до этого учился в Советском Союзе. Возражал против некоторых мер администрации и обвинял ее в том, что она не разбирается в ряде проблем лесоводства. Пожалуй, он был единственным, кто высказался вполне определенно. И по существу. Другие же — ну что за манера говорить длинно и туманно? Меня это просто злит. На кое-какие вопросы — мои и Серхио — вообще никто не ответил. На другие ответы были путаными — просто отговорки. Самая острая проблема — рабочая сила... На мой вопрос, сколько человек насчитывается в хозяйстве, Давид ответил очень неуверенно: около пятисот. А когда стали выяснять у бригадиров, сколько рабочих у каждого из них, Аресио сказал, что у него двести семьдесят, у Бланко — сто восемьдесят три, у Яйо — двести семьдесят. Сложили эти цифры на бумажке — получилось семьсот двадцать три. Все стали смущенно переглядываться и смотреть на Давида. Тот пытался объяснить расхождение в цифрах тем, что есть рабочие постоянные и временные.

Всякий раз, когда речь заходила о границах участков и хозяйства в целом, Хорхе подчеркивал — «теоретических границах». Так продолжалось, пока я не спросил его, что он имеет в виду. Он пояснил, что землемерные работы еще не проведены и вообще неизвестно, кто их должен производить: провинциальные власти или дирекция лесоводческого хозяйства. И раз эти работы не сделаны, многие лесопосадки, видимо, произведены на землях, которые впоследствии отойдут под посевы. Дело, мол, в том, что общий план освоения земель провинции был составлен без точного определения зон, отводимых под сельскохозяйственные культуры, пастбища и лесопосадки. Понятно, это наносит большой экономический ущерб. И видимо, он будет еще больше, чем можно себе представить сейчас...

Давид пытался перевести разговор на дело Миле, а когда я перебил его и стал задавать конкретные вопросы, уклонился от ответа. Дрожащими пальцами с трудом вытащил сигарету из пачки, лежавшей на столе. Закурил, давая себе передышку, и опять пустился в рассуждения, и все вокруг да около, и ничего существенного, что прямо относилось бы к делу. Я старался не смотреть на него, потому что, замечая на себе мой взгляд, он сразу начинал краснеть. Приходилось смотреть поверх его головы, на видневшиеся в окне горы...

Не знаю, понравилось ли им то, что я сказал, заканчивая совещание, хорошо ли это прозвучало или плохо, но я сказал то, что думал!

Пабло здесь, вот так неожиданность!..

Какая сила таится в ее глазах, волосах, в ее бедрах, во всем ее теле? По мере того как лошадь приближается к знакомому хутору, в Сиако растет желание. Каждая новая встреча с Нати, каждое новое прикосновение к ней разжигают его страсть. Как только он узнал Нати, Клаудиа перестала для него существовать.

Он сворачивает на тропинку, ведущую к дому. Не свистит, заметив среди развешанного белья скатерть в белую и красную клетку, да и сама Нати уже ждет его в дверях. Едва он спрыгнул с лошади, она спрашивает, глядя на него своими влажными глазами:

— Уже знаешь?

— О чем?

— О том, что случилось с Миле. Его арестовали. Мне Хесус сегодня утром рассказал. Когда Клементе ушел, он проезжал тут на тракторе. Говорят, дело серьезное, и сюда наверняка пришлют новое начальство.

— Я заезжал к Пипе, он ничего не сказал. Правда, в питомнике я видел каких-то двух типов.

— Может, Пипе ничего не слышал,— говорит Нати,— ты же знаешь его, он всегда в облаках витает... Но вот увидишь, я правду говорю...

— Ну и что? — Сиако обнимает Нати, крепко прижимается к ней. — Пойдем, ты меня с ума сводишь.

— Прошу тебя, Сиако, будь осторожнее!

— В чем?

кудахтались!» Но раскаты смеха и общий гомон не прекращаются. Женщины подтрунивают над Мерседес:

— Если бы ты видел, как он на нее смотрел!

— Гляди, Пипе, уведут у тебя невесту!

— А как она-то, она-то как сразу растаяла.

— Да и он будто впился в нее глазами, когда она сомбреро сняла...

— Растрепсалась, как сорока. Видать, и ее за живое взяло.

— Да в чем дело? — раздраженно перебивает их Пипе. — Что случилось?

— Два ангелочка спустились к нам с неба. Да хорошенькие такие! А любопытные, разговорчивые, ну прямо как попы, — говорит одна старуха. — Машина у них гаванская и одеты по-городскому.

— Какие ангелочки? Я серьезно вас спрашиваю: в чем дело?

— Приезжали к тебе, хотели поговорить, а ты спал.

Пипе хмурится:

— Кто приезжал?

— Из Гаваны.

— Прямо сюда?

— Конечно.

— Что же вы мне ничего не сказали?

— Не успели. Мы им кричали, но они сразу уехали.

У Пипе делается такое лицо, что смех сразу стихает.

— Ну на что вы только годитесь! Даже разбудить человека не можете. Все вам хиханьки да хаханьки. Одни гулянки на уме.

— Ну это уж ты зря, Пипе. Знаешь ведь, как мы вкалываем, не за красивые глаза в передовиках числимся!

Женщины уходят под навес обедать. Пипе в растерянности проводит рукой по нечесаной голове, потом быстро собирает инструменты и спешит к водокачке.

После обеда женщины возвращаются на плантации. Мерседес склоняется над грядкой, но глаза ее еще возбужденно блестят. Лица остальных серьезны: пошутили, и будет...

Часть его дома возвышалась над водоемом. Там он и жил, когда временами наезжал сюда. А потом опять возвращался в Гавану. В здешних местах у него было много земель. Звали его Алехандро Ла О. Плохой это был человек, то есть из плохих плохой. Порубил вокруг почти все сосны и махагуа, а то немногое, что осталось, попортил огнем — жег траву, чтобы по отаве пасти скот, который завел здесь. Видите эти сосны? Ветви только на макушках остались... И что же он выделял, окаянный, прямо страх. Когда, к примеру, его прислужники забивали корову, мясо он отдавал своей собаке — сейчас уж не помню, как ее звали, — а рабочих кормил постной похлебкой. Один раз ехал он куда-то, и попался ему на дороге здоровенный бык. И чем-то этот бык ему не понравился. Ну слуги заарканили бедную скотину, связали и, как было приказано, бросили в пруд. Так и пропал бык. Ежели Ла О замечал кого на своих землях, сразу выпускал собак или стражников, а у него и те и другие были как дикие звери. Усадьба его называлась Ла-Фаррука. И Кайо Ларго у побережья принадлежало тоже ему. Купален там он не строил, но на дороге, ведущей к морю, был у него небольшой домик. Сейчас он весь зарос кустарником — Ла О под старость забросил его, а когда был молодой, говорят, возил туда женщин. Теперь в том домишке крыша сгнила и сам весь покосился, вот-вот рухнет. А прибрежный участок Ла О был нужен, знаете, почему? Трусил он, трусил, понимаете. Добирался до Кайо Ларго на катере, оставлял его у берега, а сам ехал

сюда. По шоссе почти никогда не ездил — знал, что рано или поздно подстерегут его и прикончат. Однажды собака у него подохла, так что вы думаете? Приказал сделать ей гроб и устроил бдение и народ согнал на это бдение. Собак любил больше, чем людей. Выйдет, бывало, со своим ружьем и, если увидит где чужую курицу, тут же убивает, если корову чужую заметит — тоже убивает, да что там — любого незнакомого человека, который случайно зайдет на его землю, мог убить. Не верил никому и ничему и людей губил, как скотину. Теперь в его доме живет Хуан Ривера, лесник. А сам-то он помер от сердца. В Гаване. Тут у него еще один дом был, огромный, как сарай. В нем что хочешь могло затеряться или просто сгнить. Сейчас там складывают удобрения и всякий инструмент. Земли у Ла О было множество, но все ему казалось мало. Он и нас, кто тут жил рядом, тоже выгнал, а пожитки наши приказал выбросить. Пришли солдаты и командуют: «А ну убирайтесь отсюда, собаки!» Стреляли в нас. Тогда и убили Гуиро. Я его хорошо знал, не раз встречались. А скот Ла О держал без присмотра, ни загонов не строил, ничего. И даже не продавал: коровы сами подыхали от старости, свиньи тоже...

Взошла луна, но, едва заглянув в окошко, словно испугалась и быстро спряталась за горами. Теперь через окно проникают лишь ночные шорохи, легкий холодок и густой мрак. Комната словно насыщена темнотой. Давид, растянувшись на кровати, уставился в потолок. Курит не переставая, зажигая одну сигарету от другой. Весь пол усыпан окурками, некоторые еще дымятся. Красноватый огонек сигареты подрагивает в темноте. Давид смотрит в темный потолок, но перед его мысленным взором проходят картины прошлого. Вот после нападения на Плая-Хирон Миле горячо требует уволить одного служащего, который заявил, что не станет воевать ни на чьей стороне, а позже выяснилось, что этот человек связан с эмиграцией. Вот Миле вносит рационализаторское предложение, позволяющее экономить целлофановые мешочки... Миле выступает на собрании, Миле — воплощение энтузиазма. Миле внушает полное доверие. Миле, всюду Миле... Давид не может заснуть. Широко раскрытыми глазами смотрит в потолок, но видит совсем другое. Примерно год назад он вызвал

Миле в контору, закрыл дверь на задвижку и резко спросил:

— Вы что, с ума сошли?

— Я не хотел обострять ситуацию, — ответил Миле.

— Тут не может быть никакого оправдания! Кто угодно расценит это как вредительство!

Миле бледнеет.

— Зачем вы так говорите, Давид! Я и вдруг вредитель! Не надо так говорить... Даже думать так не надо, Давид.

— Вы что, не знали, что посев следует производить точно в указанные агрономом сроки?

— Но если бы мы сеяли в эти сроки, рабочие не выполнили бы нормы... Люди не соглашались на это, а я не хотел с ними ссориться. Мы посеяли больше всех. И я не думал...

— Агроном свои инструкции не из пальца высасывает, — прерывает его Давид. — Он же ясно говорил обо всем этом на собрании!

И тут Миле, жалко сморщившись, вдруг заплакал. Хлюпая носом, он смотрел на Давида умоляющими глазами и бормотал:

— Ошибся... Маху дал... Не подумал... Понимаете, Давид, мне казалось... ну вот те большие сосны, например, их ведь никто не сажал и никто не давал инструкций, а они вон какие вымахали... Я думал, раз они так выросли без всякого агронома...

— Что бы вы там ни думали и ни говорили, а я обязан доложить об этом случае. Слишком большой участок испорчен.

— Поверьте, Давид, клянусь!

— Оставьте меня, прошу вас!

Из окна уже тянет настоящим холодом. Резким движением Давид швыряет окурок, и огонек, описав дугу, исчезает в черноте окна. Давид беспокойно вертится на кровати. Сон не приходит. Ему опять вспоминается тот день. Оставшись один, он подумал, что если доложить о проступке Миле, то и его, Давида, накажут или по крайней мере сделают предупреждение... А Миле всегда вел себя похвально, с работой справлялся, да и вообще был неплохим человеком...

Выйдя тогда из конторы, Давид увидел, что Миле сидит на ступеньках крыльца, сгорбившись и обхватив голову руками.

— Ладно, Миле,— сказал он.— Не буду докладывать, попробую как-нибудь уладить это дело, но чтоб это было в последний раз!

Давид вспоминает, какое благодарное лицо было тогда у Миле... И вот сейчас он, Давид, лежит в темноте и никак не может заснуть. На полу груды окурков, один из них еще дымится, а у него в руке уже новая сигарета. Широко раскрытыми глазами он смотрит в потолок, который теперь уже можно различить: через окно в комнату проникает робкий сероватый рассвет.

Горячий ветер насыщен пылью. «Газик», переваливаясь с боку на бок, погромыхивая на бугорках и камнях, упрямо движется вперед, почти невидимый в облаке пыли. У Хорхе темные очки, а Бруно без очков, и его глаза воспалились от ветра и пыли. Поднятый машиной столб издали кажется дымом пожарища.

— Это земли бригады Монте-Гранде,— объясняет Хорхе.— Дорога ведет на Ла О. Туда есть еще одна дорога через Лас-Десеадас, но она еще хуже, чем эта.

— Сколько бульдозеров занято на ремонте дорог? — спрашивает Бруно.

— Один, да и тот почти всегда неисправен.

— Познакомьте меня с бульдозеристом, надо поговорить с ним.

— Ладно. Его зовут Таньо, он живет при правлении.

Бруно пытается развернуть карту, но машину так трясет и подкидывает, что он отказывается от своего намерения и крепко вцепляется в сиденье. «Надо было захватить с собой и Давида. Судя по тому, как он рассказывал мне о Миле, похоже, человек он искренний», — размышляет про себя Бруно.

— Поедем прежде в Монте-Гранде,— говорит он.— У вас нет карты с указанием частных земель в зоне хозяйства?

— Давид после случая с Миле срочно запросил такую карту. Только не знаю, можно ли ей будет верить.

— Как так?

— А так, сомневаюсь, чтобы она отражала положение на сегодняшний день.

Бруно умолкает, глядя на камни по сторонам дороги, которые солнце и ветер постепенно превращают в пыль.

Между камнями то тут, то там виднеются жалкие искривленные деревца.

— Небогатые земли, — замечает Бруно.

— Только для сосны и годятся, — отзывается Хорхе. — Сланцы, разрушенные эрозией. Почти нет органических веществ. Если их вскоре не засадить лесом, эти места вообще превратятся в бесплодную пустыню. А вот там, посмотрите, — он показывает на дальнюю низину, — там совсем другое дело. Это участок Ла О.

Далеко, у самого горизонта, виднеется море, чуть ближе — зеленая полоса, повторяющая изгибы реки, еще ближе — невысокие холмы, изрезанные глубокими оврагами. На гребнях холмов жидкой гирляндой топорщатся остатки леса. Перед холмами — серая унылая равнина. Впечатление такое, будто все яркие краски стекли в долину между холмами. Ветер резкими порывами бьет в глаза, и от этого кажется, что горизонт все время слегка вздрагивает. Бруно прищуривается. Но теперь он видит одну лишь пыль: она густым облаком тянется за машиной, то ползущей на подъем, то скатывающейся вниз. Оседая на коже, пыль образует плотную корку.

После очередного ухаба машина вдруг останавливается. Хорхе глушит мотор.

— Вот это дерево! — восхищенно восклицает Бруно.

— Здешний старожил, — поясняет Хорхе. — Такими, должно быть, были zdeшние сосны, когда их увидел Колумб.

— Ну и здорова!

— Из-за этой сосны местность и называется Монте-Гранде *, — продолжает рассказывать Хорхе. — А гора — Сторожевой. Самое высокое место в округе и находится примерно в центре нашего хозяйства. Если подняться, то можно увидеть его целиком. Только залезть нелегко. Попробуем?

— Конечно, — бросает Бруно, выпрыгивая из машины.

Хорхе берет с собой планшет с картами. Задыхаясь и обливаясь потом, они добираются до сосновой рощи, раскинувшейся на склоне горы. Здесь тень, свежий ветер шевелит ветви деревьев. Вверху, сквозь зелень, видны клочки синего неба, а на земле играют солнечные блики.

* Монте-Гранде — большой лес (исп.).

— Вы меня загнали,— говорит Хорхе, переводя дыхание.— Отдохнем?

Бруно с довольной улыбкой растягивается на мягком ковре из хвои и, подложив руки под голову, смотрит вверх, туда, где вершины сосен обмахивают небо длинными ветвями.

— Эти вот — женские,— объясняет Хорхе.

— То есть как?

— А так. Есть женские деревья и есть мужские.

— А как они различаются?

— Женские растут на таких землях, как эта,— сухих и бедных органическим веществом.

— Только на них?

— Нет, конечно. Но дело в том, что на влажных и питательных почвах межвидовая борьба настолько сильна, что женские деревья не могут нормально развиваться.

— Ну а по внешнему виду как их различить?

— Сразу трудновато, но со временем будете разбираться. Женские цветут раньше — в июле, а мужские — в августе. У меня есть несколько книг о соснах. Я вам дам их почитать.

Бруно улыбается, растирает между пальцами сосновые иголки и нюхает их.

— Пошли дальше? — предлагает он.

Теперь они взбираются по голым скалам. Тут нет проторенных троп, приходится подниматься зигзагами. А склон все круче. Бруно идет впереди, он ловко преодолевает расщелины, уверенно цепляется за уступы и первым достигает вершины. Оттуда смотрит, как Хорхе, едва переводя дыхание, карабкается по скале. Вот он остановился передохнуть. Глядя на Бруно, агроном думает: «Этот товарищ, хоть и выглядит городским служащим, по горам, похоже, полазил».

А Бруно улыбается и машет ему, чтобы поторапливался.

...Косоглазый Ти Лин был погонщиком мулов, вывозил отсюда древесный уголь, связки табачных листьев — в этих долинах когда-то разводили табак. Однажды, по его словам, прилег он вздремнуть под деревом, а дерево оказалось вовсе не деревом, а огромной махой*, и когда он проснул-

* Маха — крупная змея.

ся, то увидел, что маха сожрала всех его мулов. Говорят, что этот Ти Лин все время нес какую-то чушь, вроде бы не в своем уме был. Еще рассказывают, что он очень сердился и кричал, если кто-нибудь наступал на его тень.

Пока они лежат в постели, во взгляде Сиako нет обычной суровости. Касаясь губами ее уха, он тихонько шепчет ей, и она верит всему, что слышит. Она вся меняется, когда руки Сиako ласкают ее. Сиako рядом — и она словно переносится в другой мир. Достаточно ей встретить его взгляд, услышать слово, почувствовать его прикосновение, как она словно перестает быть собой, становится совсем другой, словно обновленной. Сиako рядом — и ни о чем ином она не может думать. «Будто кто несет нас друг к другу, как ветер несет дождь, поэтому все так у нас и случилось», — сказала ему однажды Нати. А в другой раз сказала так: «Ты для меня как лекарство или как свежая вода. Всю меня очищаешь». Сиako рядом — и она словно отдыхает, забывает обо всем на свете и плывет куда-то в легком полусне. Такое же ощущение у нее бывает, когда она входит в реку или идет под дождем. «Это потому, что я много страдала и страдаю», — объясняет Нати. И даже после того, как Сиako уезжает, она еще долго чувствует себя преображенной — светлой и радостной.

Всегда было так, но сегодня иначе: сегодня Сиako рассказал ей такое, от чего сердце сжимает страх. Слишком быстро вернулась суровая складка на губы Сиako, и уезжал он от Нати не как всегда — не оборачивался, не повторял без конца слов прощания. Сегодня он резко вонзил шпоры в бока лошади, та рванулась и скрылась в клубах взметнувшейся пыли. Нати думает о том, что ей сказал Сиako, о его последнем жесте. Ее грустный, испуганный взгляд провожает столб пыли, но не может пробиться сквозь него, как сквозь глухую стену.

Этот Полковник-Вешатель частенько наезжал в Лас-Десеадас и сюда тоже. Он был другом Алехандро Ла О, поэтому и заглядывал в Ла-Фарруку его навестить. Из-за него и погибли Хулио с Рамиро. Случилось это, как бы не соврать, году в пятьдесят шестом. Жили тут два брата. За что-то невзлюбил их Полковник. И вот в тот день, когда за ними должны были явиться его люди, братья ушли в море и подались в Кайо Диего. Только, наверное, поднялся очень сильный южный ветер, и у них сломалось весло. Дня через три прибило их к Кайо Буэнависта. Хулио нашли в шаланде — он перегнулся через борт и свесил голову к самой воде. Хайбы* уже выели ему глаза. А Рамиро был в море, рядом с шаландой. То есть не Рамиро, а только его грудная клетка. Говорят, будто врач определил, что Хулио умер от разрыва сердца, когда увидел, как его брата рвала акула.

Полковник прямо-таки людоедом был. Рохелио Армарана тоже он убил. Был кровожаднее голодного-хищника. По его приказу схватили и Портилью, который, говорят, получал откуда-то оружие и прятал его у себя. Сперва сам Полковник приехал, все что-то вынюхивал, а потом явилась его свора, и увезли Портилью на джипе. По пути, говорят, так его отделали, что тут же у дороги пришлось и похоронить парня. Потом, уже после революции, откапа-

* Хайба — маленький морской рачок.

ли его кости. Желтые-прежелтые. А Полковника убил Педро Бульдозер. Я-то лично не знал его, но говорят, что он обосновался тут в одной пещере. Пещеру бомбили, а он, оказывается, еще ночью успел скрыться. Так и не смогли его взять. Боевые тут были дела раньше... Да и теперь случается. Вот недавно...

Изрядно попетляв по пыльным дорогам между грядами холмов, они наконец подъезжают к посадкам эвкалипта, покрывающим отлогие склоны, постепенно переходящие в небольшую долину. В ней и раскинулся поселок Монте-Гранде. Пока «газик» спускается с холма, Бруно успевает рассмотреть жилые дома и столовую. Построенные из ярких блоков, под крышами из гофрированного пластика, дома кажутся свежеевыкрашенными. Женщины, работающие на плантации, внимательно оглядев приехавших, снова склоняются к молодым деревцам. Мужчина и женщина моют в столовой полы. Из конторы выходит Яйо.

— Не оставляйте машину на солнце! — кричит он. — Поставьте ее за кухней!

Возле бака с водой, установленного на двух высоких бетонных столбах, рабочий поливает саженцы, уложенные на тракторном прицепе. Тракторист, ожидая его, курит сигарету.

— Вы еще не были у нас? — спрашивает Яйо.

— Нет, — отвечает Бруно.

— Лучший питомник во всем хозяйстве, — продолжает Яйо. — Спросите у Хорхе. Миле хоть и провинился, но работать умел.

— Кстати, я хотел бы поговорить с людьми, которые имеют отношение к делу Миле, разобраться, как все это произошло, — говорит Бруно. — Можно увидеть их?

— Один работает на волах, возит саженцы километра за два отсюда. Другой, кажется, на посадках. Если хотите, проедем туда на вашей машине, а то с трактористом можно передать, чтоб они приехали. Он как раз собирает са на плантации.

— Нет, лучше поедем сами, — отвечает Бруно.

На здешних дорогах следов не остается, ветер уносит их вместе с пылью. Клементе идет домой той же дорогой, по которой уехал Сиако. Когда он входит, Нати даже не

оборачивается. Продолжая сидеть, наклонившись к очагу, она задумчиво смотрит на огонь и медленно помешивает ложкой в кастрюле. Кожа у Нати цвета речной воды в половодье. Взгляд Кlemente останавливается на ее крутых бедрах.

Комната полна едкого дыма, от которого режет глаза и першит в горле. Нати специально выбирает сырые поленья, чтобы легче было скрыть слезы, чтобы не нужно было объяснять мужу, почему у нее заплаканные глаза.

Кlemente снимает рубаху и вешает на спинку стула. Нати чувствует, как он ощупывает взглядом ее тело. «Но этот взгляд больше не приносит мне радости. Пока не раздражает, но уже не ласкает», — думает она.

— Как тебе нравится то, что случилось с Миле?

— А что такое?

Не меняя позы и продолжая помешивать в кастрюле, она чуть поворачивает к нему голову.

— А то, что приезжает новое руководство, — отвечает Кlemente. — Давно пора. Вот увидишь, все здесь устроится.

— Что устроится?

— Не притворяйся, ты же знаешь!

— Я? Нет, я не знаю, что тут у вас устроится. По мне, все бы устроилось, если бы уехать из этих проклятых мест... Хесус, правда, что-то говорил о Миле. Но я не поняла.

— Сиако здесь не проезжал?

Она чуть вздрагивает, выпрямляется и бросает на него быстрый взгляд, так, чтобы он не успел ничего заметить, а она могла бы увидеть выражение его лица.

— Проезжал утром, — безразличным тоном отвечает Нати, подавляя дрожь в голосе.

— И что говорил?

— Да ничего... То же самое, что Хесус.

— Странно... Он времени зря не теряет. Я его видел у Анастасио Риоса. Пугает старика, говорит, что теперь у того наверняка отберут землю. Плохо кончит этот Сиако. Я знаю, что он заезжает иногда сюда — он повсюду ездит. Только нам лучше подальше от него. Ни к чему нам это. Он занимается такими делами, за которые по головке не погладят.

— Какими делами? — стараясь ничем не выдать себя, оборачивается к нему Нати. Глаза ее испуганы, но он не

видит их, он смотрит на выпирающую под кофтой высокую тугую грудь, на округлые бедра, узкую гибкую талию, полные стройные ноги. Кладет руки ей на плечи и пытается привлечь к себе, но она отодвигается от него и повторяет: — Какими делами?

— А хотя бы тем, что сидит на своем участке и не хочет работать. И волов своих не дает на перевозку саженцев. Говорит, лучше зарежет их и на мясе заработает больше. Потом, ты же знаешь, он торгует продуктами. И петушиными боями продолжает тайком заниматься. К тому же болтает такие вещи...

Кlemente обнимает ее за талию и прижимает к себе. Нати закрывает глаза, но не от блаженства — она просто их крепко зажимуривает.

...Не помню точно, какого числа это случилось, когда те пираты — четверо, что ли, их было — обстреляли побережье и буровую вышку. Здесь, в Ла О, вроде нефть искали. Так вот, они подкрались в тумане и стали бить по вышке из автоматов и базук. Мы все вскочили сразу — пули-то шли поверху, потому что стреляли оттуда, со стороны моря. Главный ихний корабль стоял около Ла-Паса, у рифа, знаете, там риф есть такой небольшой, а от корабля пришел, значит, катер. С него-то и начали пальбу. Надо думать, что к берегу их провел кто-нибудь из здешних, из сбежавших, а то бы тут им нипочем не пройти. Ну мы тоже начали стрелять, и, когда прибыли войска, они уже удрали. Вреда наделали немного, но напугали изрядно. Первый-то выстрел был с корабля. Когда я его услышал, подумал — взрыв, что ли, какой. А уж когда второй — тут я всполошился: нет, думаю, мать честная, два взрыва подряд не может быть... Потом, слышу, всю стрельба пошла, я выскочил — и к народу. Перепугались все. Женщины, конечно, заголосили. Ну и дали мы им жару, этим то есть, которые приплыли!..

Трактор так и уехал бы, если бы не Пипе. Приставив ладонь к уху, он прислушался и закричал:

— Подожди, Хесус! Это не Аресио ли едет сюда на своем «газике»?

— Да не слушай его, Хесус,— вмешалась одна из женщин,— поезжай, Пипе же глухой.

Но вскоре над дорогой действительно показался столб пыли, а потом стало видно и «газик», который, подпрыгивая и вихляя, на полной скорости приближался к ним. Аресио махал из машины рукой, чтобы его подождали.

Подъехав к трактору, Аресио велел женщинам сойти с прицепа — надо поговорить и сообщить кое-какие новости. Но тут Пипе отвел его в сторону.

— Аресио,— сказал он,— здесь приезжали двое, и женщины говорят, что спрашивали тебя.

— Ну? А ты где был?

— Да я, понимаешь... Об этом я и хотел сказать тебе до собрания. Представь, какая неприятность. Никогда со мной этого не было... Вдруг заснул, а они приехали. Говорят, что заглянули в контору и уехали. Я ничего не слышал, а ты ведь знаешь, какой у меня слух...

— Опять проспал? Какие хоть они из себя?

— Говорю тебе — не видел я их.

— Значит, уже побывали здесь...— говорит Аресио,— а ты знаешь, кто это был? Новый директор, вот кто!

— Пресвятая дева Мария! Не может быть!

— То-то и оно.

— И ты ничего не знал?

— Нет.

— Как же так — новый директор? А Давид?

— Он уже не директор. А Миле арестован.

— Миле?

— Он самый.

— Да как же это?

— Такие-то вот дела.

— Скажи про кого другого... Но Миле? Обалдеть можно!

— Пошли,— коротко бросает Аресио.

Все уже собрались в столовой. Увидев Аресио, замолчали.

— Я задержу вас недолго. Хочу только сообщить, что к нам назначен новый директор. Сегодня он собирал нас и объявил, что предстоят большие перемены. Сказал, что к тем, кто хорошо работает, будет и отношение хорошее, а кто не хочет работать, тем здесь вообще не место. Сказал, что все мы должны приложить усилия и двинуть дело вперед. Он еще будет объезжать бригады. Так что нужно

показать, как мы работаем, нужно покончить с прогулами. Последнее время их становится все больше, и дальше терпеть это нельзя. Никому не хочется краснеть за бригаду и слушать все время нарекания из-за прогульщиков. Вот все, что я хотел сказать.

Рабочие, переговариваясь, выходят из столовой. Женщины снова забираются на свой прицеп. Кто-то из них шутит:

— Так, значит, ты директора подцепила, Мерседес? Тогда твое дело в шляпе.

Иногда я вижу все здесь как бы сквозь дымку воспоминаний. Хотя тут кое-что и изменилось, но многое осталось по-прежнему.

Сейчас объезжаем плантации. Саженцы, сваленные в кучи, сохнут под солнцем — не хватает рабочих рук для поливки и посадки. На моих глазах Яйо отослал воз с саженцами обратно в питомник. «С каждым днем прогулов все больше. Не думал я, что сегодня выйдет так мало народу», — сказал мне Яйо. Потом он стал объяснять, что причиной всему — новые нормы и твердая зарплата. Я доказывал, что дело не в нормах, а в недостатке сознательности, в том, что политическая работа в бригаде поставлена плохо. А он все сваливал на нормы, на то, что люди, мол, не хотят сажать по восемьсот деревьев за три песа шестьдесят сентаво в день. Поэтому одни работают на своих огородах, другие уходят в горы рубить лес или на побережье жечь уголь — там заработки выше. Я пытался настаивать на своем, но увидел, что он просто не хочет понять меня, и перевел разговор на другую тему. Спросил его, сколько человек в бригаде записалось в народную милицию. Но он запутал и этот вопрос: стал говорить об охранной службе в горах, о регулярных войсках, о добровольческих военных отрядах — наплел столько, что и сам уже не мог разобраться. Мы остановились и заговорили с рабочими, занятыми на посадках. «Работа тяжелая», — сказали они. А Яйо тут же вставил, что когда получали сдельно, то многие сажали по тысяче штук за смену, а кое-кто и по две.

Я подумал, что главное сейчас не количество саженцев. Мне пришла в голову одна мысль, и я жалею, что не обдумал тогда же все до конца, отвлекся на что-то дру-

гое. Хорхе проверил качество посадок и остался доволен. Потом мы немного поработали вместе со всеми, я и убедился, что выполнить норму, в общем, нетрудно.

Люди удивились, когда я стал работать рядом с ними, — по глазам было видно, что удивились. Потом мы собрали тех, кто имел отношение к делу Миле. Яйо представил меня, объявив, что я — новый директор. Мне показалось, что они чего-то испугались. Мы почти не разговаривали, когда все вместе возвращались в поселок. Я только задал несколько вопросов самому старому из них. Но он отвечал сбивчиво, все время боязливо поглядывая на меня. Язык у него от волнения заплетался, а слова будто застревали в горле. Может быть, говорил он так плохо потому, что был без зубов. Но и нервничал он тоже — все время жевал окурки сигары.

К поселку подъехали, когда уже начинало темнеть.

На дворе дождь. Пламя ночника, едва освещающее угол комнаты, становится все меньше, а потом, судорожно мигнув, гаснет совсем. Кlemente, похрапывая, спит. Нати встает с постели и, не зажигая света, проходит в кухню. Выражение ее лица какое-то отчужденное, замкнутое. За дверью глухая ночь. Нати разогревает кофе и, прислонившись к косяку, замирает у порога. Где-то в дальних соснах гудит ветер. Черное небо, черная земля. Тьма поглотила все: ни тропинок не видеть, ни дорог. Как и в ту ночь, много лет назад, когда Нати...

Она борется отчаянно, отбивается руками и ногами, плачет. А массивная туша все тяжелее наваливается на нее. Дряблые губы целуют ее глаза, нос, рот, мусолят уши, шею. Наконец ей удается оттолкнуть старика. Но тот, издавая какие-то отвратительные звуки — будто смеется и всхлипывает сразу, — опять подползает к ней. «Девочка, сладость моя, — бормочет он, сопя и брызгая слюной, — люби меня, ну поцелуй же скорее своего голубка, ну скорее же».

Нати задыхается. Из последних сил, упершись ногами в стену, она отталкивает его снова, и старик, не удержавшись, падает на пол и лежит, тяжело дыша, фыркая и что-то бессвязно бормоча. Одним прыжком Нати соскакивает с кровати и зажигает свет. Безобразно толстое тело

лежит, скорчившись, перед ней на полу: белая, как молоко, кожа свисает складками, ноги нелепо подогнуты, голова без шеи выступает прямо из жирной спины. С криком ужаса девочка подбегает к двери, пытается открыть задвижку. Ухватившись за край кровати, старик хочет подняться, но, когда слышит, что Нати отодвинула задвижку, он, так и не сумев встать, хватается за ногу и тащит к себе. Девочка чувствует, как все плывет у нее перед глазами, мешается в голове. И вдруг словно легкий электрический разряд пробегает по ее телу... А потом она лежала притихшая и обессиленная, чувствуя только боль в низу живота. И опять заплакала, приподнялась в кровати и снова увидела рядом обрюзгшее тело Ла О. Его огромная волосатая рука тянулась к ней. Нати в ужасе закрыла лицо, но в уши вползало гнусавое бормотанье старика: «Теперь ты моя. Кто сказал, что Алехандро Ла О уже ни на что не способен?» Нати с отвращением отпихнула его от себя и, пока он неуклюже ворочался на полу, успела выскочить из дома. Где-то вдалеке лаяли собаки, ее охватил безумный страх. С черного неба лил невидимый дождь. Тьма поглотила все: ни тропинок, ни дорог. Нати побрела под дождем, одна со своей болью. И дождь освежил ее кожу и словно смыл с нее грязь...

На дворе дождь, и Нати голая бродит под его струями. Потом возвращается в дом, резко встряхивает головой, как бы желая прогнать от себя воспоминания. Кусая руку, сдерживает рыдания, чтобы не разбудить Клементе и не отвечать на его расспросы.

Сосны тут у нас, когда темно и когда в них гуляет ветер, издают такой гул, такую музыку заводят, что волосы поднимаются дыбом. И привыкнуть к этому нельзя, потому что каждую ночь гудят они по-разному... Самое страшное у нас — это темнота и грозы. Грозы страшны тем, что убивают. Темнота хоть и не убивает, а все равно страшно. Правда, кое-кто умирал и от темноты. Да, да, просто от темноты, сеньор, от страха то есть. Не слышали? Люди рассказывают такое, что мурашки по коже бегают. Я вот, например, шла раз из Ла-Легуа в Монте-Гранде. А время к полуночи. И вдруг слышу — в соснах будто кто гвоздь

вбивает. Остановилась, затих и стук. Я пошла, и опять застучало. Не поверите, душа в пятки ушла! Тогда я, стало быть, прибавила шагу, а головы не поворачиваю — боюсь. Боже праведный, какого страха я тогда натерпелась, и не сказать! А случилось это возле сосняка, знаете, того самого, где, говорят, женщина по ночам поет и музыка играет такая приятная-приятная. Сама-то я, правда, не слышала. И слава тебе господи!

— Так меня уж столько раз спрашивали про это! А я не хочу ввязываться в историю. Сперва корреспондент спрашивал, потом дня через два или три Давид приехал и тоже все о Миле да о Миле. Полиция опять же допрашивала... А я никому не желаю неприятностей. Миле ничего мне плохого не сделал, наоборот, даже помогал. Ну уж если вам так хочется, могу еще рассказать, как все было. Я, видите ли, уже два года, как живу здесь. Сам-то не отсюда. А приехал потому, что брат мой, Хулиан, меня позвал — он давно здесь проживает и работает в лесничестве. Ну так вот, он написал мне, чтобы я приезжал, что, мол, жизнь тут неплохая: народу на лесопосадках всегда не хватает, платят прилично, а когда срочная работа, можно и подработать. Насчет сверхурочных заработков я это к слову, потому как через неделю после моего приезда их отменили. Ну так вот...

Лампа, подвешенная под потолком, раскачивается, и тени то собираются на столе, то разбегаются по углам.

— ...Я, понятно, сперва приехал один, потому что брат мне так посоветовал. Приехал я и сразу начал работать. А семью свою оставил на старом месте. Жена там устроилась в одном доме кухаркой, ну готовила им и все прочее. Сам-то я всю жизнь был мачетеро *, только вот под старость трудновато мне стало, ну я и подумал, что в лесничестве, наверно, полегче будет, и приехал сюда. Когда посадка саженцев закончилась — а, работал я исправно, все как надо выполнял, — Миле и говорит мне: если хочешь, мол, оставайся в лесхозе или в горах работай, дело найдется. Я и остался здесь. Только все тут живут с семьями, ну и я тоже захотел привезти сюда свою старуху с двумя внучатами нашими. Она и сама мне передава-

* Мачетеро — рубщик сахарного тростника.

ла, что не нравится ей ее работа. Сыновья-то мои, видите ли, отдельно живут: один в Гаване, другой в Камагуэе. А дочка померла — оставила нам двоих детишек и померла. Вот и растим мы их со старухой, один теперь уж большой, даже по хозяйству помогает. Ну и надумал я перевезти всех их к себе. А брат рассказал, что, когда он приехал сюда на работу, сразу попросил разрешения взять с собой и семью, иначе, мол, ни за что не останется. Миле тогда поговорил с директором, и брату разрешили построить домишко. Брат здесь и обосновался. Раз так, думаю, раз брату разрешили, то и я буду тоже просить. Приехал как-то от своей старухи — а она больно плохо выглядела, потому что из-за внучат к ней хозяева стали относиться хуже, — и пошел к Миле. Пришел и говорю, что хочу, мол, семью свою сюда привезти и что надо бы потолковать с Давидом насчет дома. А Миле, видите ли, отвечает, что это вообще-то уже запрещено, но что если я хочу, то он может уступить мне небольшой участок, который когда-то был его. За триста песо. Я, конечно, согласился и привез сюда своих... А теперь мне скажите, потеряю я, значит, и деньги свои, и землю? Только я полагаю, это будет несправедливо.

— Об этом мы еще поговорим, — отвечает Бруно. — Но вы-то знали, что земля эта не Миле, а государственная?

— Знать-то знал. Только теперь-то как же?

— Все будет в порядке, не расстраивайтесь, — говорит Бруно и обращается к самому молодому из присутствующих: — А вы что скажете о Миле?

Парень молчит. У потолка покачивается лампа, и тени на столе то сливаются в одно черное пятно, то разбегаются по сторонам.

За окнами темно и тихо, только ветер доносит с гор гул сосен.

— Работу совсем забросил, целыми днями где-то пропадаешь, домой являешься под утро, а я тут должна ждать в темноте, — жалуется Клаудиа. — Ты ведь знаешь, что я боюсь ночью одна... Просила в лавку заехать — не заехал.

Во дворе заскулила собака — Марипоса. Сяко не отвечает жене, сидит угрюмый, сосредоточенный. Приложив к уху транзисторный приемник, внимательно слушает.

— Если бы я не припрятала эту свечку, сейчас бы сидели в темноте, — продолжает Клаудиа.

Она высокого роста, сухая и костлявая, руки и ноги не по-женски крупные. Цвет лица напоминает пыль здешних дорог, резко выступающие скулы подчеркивают впалость блеклых щек. Платье висит на острых плечах, как на вешалке. А если бы кто-нибудь мог заглянуть в глубину ее глаз, то увидел бы, что надежды, страх и сомнения переплелись там, словно заросли бугенвиллеи.

— Что с тобой сделалось, Сиako? Ты даже не смотришь на меня, когда я с тобой разговариваю...

— Отстань! — бросает Сиako и снова прижимает приемник к уху.

— Ну почему ты стал такой, Сиako? Тебя просто не узнать.

— Да замолчи ты наконец, чертова баба! Дай послушать.

— Вчера заходила Росa и, как увидела твой приемник, сразу спрашивает, где это мы его купили. У нее племянница в Гаване, и она прямо с ума сходит — так ей хочется такой же вот приемник, а их нигде нет. А где ты его достал, Сиako?

— Проклятье! Можешь ты помолчать?! — Но когда до его сознания доходит, что сказала жена, он хватается за плечи: — Я же предупреждал: никому не показывай этот приемник! Ни-ко-му! Поняла? — кричит Сиako. — И какое твое собачье дело, где я его достал?

Он с раздражением выключает приемник, сует его под подушку и ложится в постель, отворачиваясь к стене. Клаудиа, потрясенная его неожиданной вспышкой, несколько минут потерянно бродит по комнате. Тень от ее длинной нескладной фигуры бестолково мечется по стенам, по неровному черепичному потолку. Наконец, задув свечу, она укладывается тоже. К вою Марипосы и угрюмому гулу сосен примешиваются ее сдавленные всхлипывания.

...Раньше я бы ни за что не пришла сюда ночью. А когда была маленькая, то вся холодела от страха, когда тут проходила. Сейчас уже не боюсь, конечно, потому что теперь я ни во что не верю. То есть верю, только не в эти сказки. А народ до сих пор про эту реку всякое рассказывает. Только сам посмотри. Видишь: пришли, и ничего не случилось... Нет, здесь не надо. Слышишь, не сейчас. Ну кому говорю — не трогай!.. Смотри вон на реку. Знаешь, когда светит луна, она вся блестит. Я совсем-совсем не боюсь. А Нати, говорят, как взглянет на нее, сразу начинает волноваться и дрожать — тетка мне рассказывала. Ты знаешь, где эта река впадает в море? У самого Ла О... Один раз Нати провожала меня здесь ночью — мы шли с поминок по Марсиалю, — и вот, когда проходили по этому месту, она вдруг как вся затрясется — ну точно лист на ветру. А глаза какие сделались! Говорят, она всегда нервничает, когда видит эту реку. Ведь правда же, Нати какая-то чудная? Ну не лезь же ты, кому сказала! Не надо сейчас! А почему у Нати глаза всегда как будто испуганные или как будто лихорадка у нее? Ой, ну не надо! Не здесь, не на реке, слышишь? Ну уж ладно, положи мне сюда руку, только тихонько... Ой, я боюсь.

— Так что вы скажете о Миле? — повторяет Бруно свой вопрос.

— Я? Со мной он всегда был обходительным. Несколь-

ко раз подвозил на своем «газике» и денег не брал. Например, когда у меня заболел сынишка и надо было отправить его в Минас, Миле отвез его, а когда я спросил, сколько должен ему, он сказал, что двадцать песо, но денег не взял. Я принес ему, а он говорит: «Да ладно, потом отдашь, когда мальчишка поправится, а то теперь тебе самому деньги нужны». И после сколько раз я хотел заплатить, а он не брал — ладно да ладно, говорит, потом отдашь.

— Но все-таки он брал деньги или не брал?

— У некоторых брал.

Бруно вскакивает с места. Смотрит на Яйо и крепко сжимает кулаки. На лбу у него бьется жилка, а глаза блестят, отражая свет лампы.

— Слушайте меня внимательно! Этот Миле — бессовестный жулик. — Жилка еще заметнее выступает на лбу Бруно. — Бесплатно отвозить больных к врачу и вообще перевозить рабочих, нуждающихся в этом, — обязанность бригадира, — говорит он прерывающимся от негодования голосом. — Как же вы молчали до сих пор?

— Мы думали, что так и полагается, — отвечает старик. — С меня он раз содрал пятнадцать песо за то, что отвез старуху в Минас.

— Это возмутительно, — говорит Бруно, садясь, и обращается к самому молодому: — Теперь ты скажи, что у тебя с ним было?

— Да почти то же, что и у Панчо. Я, понимаете, жениться хотел.

— Ну и что?

— Я, понимаете, жил здесь со стариками, ну и привел к себе деваху одну из Лас-Десеадас. Привел, значит, ее в наш дом, к старикам моим. А дом-то маленький, да и мать моя не ужилась со снохой. Ну я и подумал, что пора обзаводиться своим домом, и обратился к Миле. Он ответил, что поможет и что если у меня есть деньги, то он весной продаст мне небольшой участок. Запросил двести пятьдесят песо. У меня были кое-какие деньжата, остальные старик в долг дал. Вот так. А потом приехал этот корреспондент, поговорил с Панчо, и пошла свистопляска...

— Земли, которые он продал вам, принадлежат государству, — твердо говорит Бруно, глядя на обоих мужчин, не сводящих с него полных надежды глаз. — Надо подумать, как нам лучше решить это дело.

— Будет несправедливо, если теперь у нас отберут землю,— говорит Панчо, вертя беззубым ртом толстую сигару.— Революция объявила, что земля принадлежит крестьянам.

— Правильно. Но эти земли переданы государственно-му лесоводческому хозяйству, и пользовались вы ими незаконно,— спокойно разъясняет Бруно.— И те, кто до вас приобретал эту землю, владеют ею незаконно. Прежнее руководство совершило ошибку. Единственными законными владельцами земельных участков являются лишь те, кто обрабатывал их во время проведения аграрной реформы, кто имеет на них документы, выданные революционными властями.

— А как же мы теперь?

— Вы не беспокойтесь,— отвечает Бруно,— все устроится. Повторяю, не волнуйтесь, все будет сделано как полагается.

Бруно продолжает расспросы. Возмущение переполняет его.

— Как это могло произойти?! — восклицает он.— Нет, как это могло случиться?

Когда они вышли из конторы, луна уже поднялась над горизонтом. Заливая серебряным светом сосны, она растянула по поселку их длинные тени.

...Ехал я верхом что-нибудь часу в третьем ночи. А там, на дороге из Монте-Гранде, есть такое узкое место — овраг крутой, как ущелье. Подъезжаю я, значит, к этому оврагу, и вдруг лошадь моя испугалась, захрипела и ша-рахнулась в сторону. Ну я ее шпорами. И тут, смотрю, сверху что-то черное и круглое ползет навстречу. Когда разглядел, оказалось, старуха с зонтиком. Пешком идет. Не знаю, зачем ей нужен был зонтик. Лошадь никак не хотела идти вперед, тогда я спешился и повел ее под уздцы. И тут я догадался, что эта старуха-то — Томаса. «Томаса!» — кричу ей. А она как ни в чем не бывало спрашивает: «Куда это вы собрались?» Я отвечаю: «На работу, а вы-то что тут делаете в такой час?» Она говорит: «Иду роды принимать у одной сеньоры». А сама страшна! Уж так страшна, словно чудище морское или паук, ну просто наваждение какое-то. Немногих я видел страшнее ее. Думаю, потому и лошадь испугалась.

И поля, и все, что я вижу здесь, — будто из моих воспоминаний. Люди тоже. Они все такие же, как и в те времена. Словно и не изменились совсем. Может быть, изменились, но очень немного. Когда я взбирался на Сторожевую гору, мне все казалось, что я вернулся в прошлое.

Я спрашиваю себя, как это возможно, чтобы в наше время происходили такие вещи? Спрашиваю и не могу найти ответа. Когда мне сказали: «Дела там обстоят крайне плохо», я думал, что это преувеличение, думал, не может этого быть. Но вот оказалось, может... Достаточно посмотреть, как они живут, задать им несколько вопросов, узнать, о чем думают. Некоторые их ответы как громом поражают. Живут разобщенно. Только в двух домах я видел цементные полы, в остальных — земляные. Уборных нет. То, что они называют домами, это жалкие хижинки, а хижинами называют пару кольев, вбитых в землю. Ребятишки босые, раздетые, грязные, с вздутыми животами. И никого это не касается, будто ничего у нас в стране не произошло. А что рассказывал мне Яйю о «свидетелях Иеговы» и об «акватиках»? * Нужно видеть и слышать, как они отвечают: «Вы повелеваете, а мы повинемся», или: «Спорить с вами не стану — ни к чему это». Иногда вообще отмалчиваются, только голову вниз опускают. «Мы никому не делаем зла». «У каждого своя вера». Вера! А на самом деле что вытворяют! А впрочем, не они, они боятся. И всегда выказывают смирение, которого я не понимаю. «Если вы меня заставляете, что я могу? Значит, такова воля божья. Сопротивляться не стану, но и добровольно не пойду». Притворяются покорными. Думают, что надо притихнуть и переждать. Как же, дождутся они! Не понимают, что власть в наших руках. Они еще узнают, что такое революция! Яйю мне рассказывал: кое-кто из них умышленно пасет скот на молодых посадках, чтобы потравить их. На мой вопрос: «А какие меры принимаются против этого?» — Яйю ответил, что он доложил Давиду и что Давид в курсе дела. Только и всего. А когда у них самих спрашиваешь, почему не привязывают свой скот, смиренно отвечают: «Нет веревок». Правда, веревок пока не хватает. И проволоки нет, чтобы огородить загоны, — Яйю

* «Свидетели Иеговы», «акватика» — названия религиозных сект.

подтвердил это. Но мне хотелось сказать Яйю: «Чего здесь прежде всего не хватает, так это хозяина!» Но я сдержался. Сдержался потому, что сейчас не время горячиться. Но потом они узнают, что такое революция!

Газеты сюда не доходят. Есть несколько приемников, однако нет батареек. А если будут батарейки, слушать можно только передачи из-за границы, горы мешают принимать местные станции. Так чего же еще ожидать? К тому же места эти захолустные, транспорта не хватает. Яйю рассказывал, что если у него сломается машина, то в правление не попадешь — нужно ожидать попутного грузовика или подводы. Иногда бригады неделями не бывают в правлении. Яйю говорил, что и Миле работал в таких условиях. Неужели он не понимает, что из себя представляет Миле? Трудно доверять этому человеку. Ну ничего, они еще узнают, что такое революция!

Говорят, в этих сосновых лесах под землей много богатств скрыто. Арреглано Рамас несколько лет назад попал на одно такое место, хоть и не очень завидное. Ему будто бы покойник указал. Я в это не верю, но, если прихожу на похороны, всегда внимательно смотрю в могилу, мне все кажется, что и я тоже найду какие-нибудь залежи. Я во многое не верю, но и мне приходилось сталкиваться с непонятным и страшным. Сейчас расскажу. Как-то поздно вечером, часов в одиннадцать, спускался я с гор и вдруг вижу, бежит кто-то мне навстречу. Будто бы человек, и в то же время очень уж сильно сухой листвой шуршит. Я кинулся снова наверх, догадался, что он хочет со мной говорить.

— Но фамилии повторяются? — замечает Серхио.

— Это, наверно, не постоянные рабочие, а поденщики, — говорит Давид.

— Допустим. Но почему же в обоих списках против этих фамилий поставлены крестики? Выходит, что эти люди получили спецодежду и обувь в двух местах? Или же получили только в одном, а крестики поставлены в двух ведомостях. Тогда, значит, у кого-то эта одежда и обувь остались?! — запальчиво спрашивает Серхио. — Од-

нако, насколько мне известно, здесь этим никто особенно не богат.

Ответа нет. Серхио сердито швыряет на стол бумаги. Давид бледнеет, снимает очки и кончиком носового платка протирает запотевшие стекла. Кажется, бывший директор сейчас что-то скажет, но он молчит. Серхио подтаскивает свой стул к столу Давида, садится напротив него и смотрит в упор. Давид ежится под его презрительным взглядом; он видит, как у Серхио сжимаются губы, как на скулах начинают играть желваки, и ему кажется, что Серхио готов броситься на него. Дрожащими руками Давид надевает очки, мучительно думая над тем, что же ему ответить, и, не найдя никакого ответа, никакого оправдания, даже просто отговорки, опускает глаза. И словно эхо, повторяющее стук крови в голове Серхио, раздаются его слова:

— Вы безответственный человек! И бессовестный! Этому нет никакого оправдания!

Он зажигает сигарету, гасит спичку, помахав ею в воздухе, встает и, не взглянув на Давида, направляется к двери, а с порога бросает:

— Вы не поедете завтра в Монте-Гранде, как собирались. До приезда Бруно будете находиться здесь!

Почему, спрашиваете, эта местность так называется? А вот почему. Лас-Десеадас, то есть «Желанные», — это, говорят, были две сестры. Давно когда-то жили они здесь со своим отцом. Мать-то умерла при родах младшей — Ремедиос. А старшую звали Алехандрой. К тому времени, когда случилось то, о чем люди рассказывают, Ремедиос было четырнадцать лет, а Алехандре шестнадцать. И такие, говорят, красавицы были эти сестры, прямо загляденье. И у каждого, кто их видел, в голове всякие мысли возникали... Понимаете? Но только старик даже надежд никаких не оставлял — день и ночь смотрел за ними, глаз не спускал и, если кто пробовал делать какие-нибудь «заходы», сразу хватался за мачете. И еще, говорят, будто по ночам из их дома доносились крики и вопли. Но подойти поближе и посмотреть никто не решался — боялись старика. От дочек тоже ничего узнать было нельзя — отец-то, говорят, их на привязи держал, к дереву во дворе привязывал. Одной веревку вокруг шеи обматывал, а другой — вокруг щиколотки. И так, говорят, его дочки всем нравились! Только никто не осмеливался подойти к ним — старик злой был как черт и целый день возле дома кружил, а если куда уходил, дочерей брал с собой... У мужчин, говорят, прямо слюнки текли, когда они видели этих девушек — такие они были аппетитные. Раз как-то старика за что-то забрали и посадили в кутузку, ну он быстренько откупился — отдал несколько кур, поросенка — и вернул-

ся домой. И все у них продолжалось по-прежнему. Только однажды ночью дом их охватило пламя. Рассказывают, что когда увидели дым и огонь, то некоторые побежали туда, чтобы узнать, что случилось, ну и чтоб не дать огню на лес переброситься. Но дом, как по волшебству, весь сгорел в мгновение ока... Люди, когда прибежали, стали было растаскивать головешки, золу разгребать, чтобы, значит, старика с его дочками вытащить. Только куда там — от углей такой жар шел, что и подступиться нельзя было. Ну уж когда поостыло немножко, вытащили их всех троих, обгоревших. Тела-то сделались совсем малюсенькие, как детские все равно. Говорят, что врач, когда осмотрел их, сказал, что Ремедиос ждала ребенка. Алехандра тоже оказалась беременной. И еще говорят, что на том месте, где ихний дом сгорел, до сих пор можно увидеть черное пятно. Точно-то я, правда, не знаю, где это место находится, да думаю, что и никто не знает. Здесь у нас кругом попадают-ся черные пятна. Одни говорят, что это следы от того пожараща, другие — что в этих местах раньше уголь жгли. А толком никто не знает. Одно лишь точно известно, что Лас-Десеадас — это были две сестры.

«Газик» двигается дальше, а Яйо остается возле своего дома, размышляя о том, что ему сказал Бруно. Очертания сосен, стоящих вокруг поселка, едва различимы. Поднимается туман. словно дым, стелется он над дорогой, по которой Бруно и Хорхе едут дальше к Лас-Десеадас. Справа совсем рядом вздымаются горы, еще окутанные темнотой. Бруно, развалившись на сиденье, смотрит в другую сторону — на высокие сосны, контуры которых едва вырисовываются в тумане.

— Здесь должны водиться олени,— задумчиво говорит он.

— Водятся,— подтверждает Хорхе.

— Много?

— Попадают, только бьют их тут.

— И никто не охраняет?

— Раньше охота на них была запрещена и лесники следили за порядком. А потом приехал кто-то из местного начальства, попросил у Давида разрешения поохотиться. Давид разрешил, и теперь сюда ездят все кому не лень. Потому и лесники стали смотреть на это сквозь пальцы.

Бруно вытаскивает записную книжку и делает в ней пометку. Потом перелистывает ее, просматривая записи, сделанные во время объезда участков. «Газик» движется не спеша, слегка покачиваясь на неровностях дороги. «Все хочет знать,— думает Хорхе.— Во все вникает, все записывает. До самых мелочей докапывается!» А Бруно, убрав блокнот, глубоко вдыхает прохладный, насыщенный сосновым ароматом воздух и с сожалением думает о том, что скоро взойдет солнце, раскалит этот чудесный воздух, и он перемешается с густой пылью. Внизу сквозь легкую дымку тумана, словно вены земли, проступают замысловато переплетающиеся на холмах лесные дороги. Вдруг на одной из них промелькнула машина. Исчезла, но вскоре опять появилась, теперь уже на другом склоне.

— А это чей джип?

— Куэто. У него небольшой участок в Лас-Десеадас.

— И много здесь таких землевладельцев?

— Не очень. Этот был десятником на лесоразработках.

— А теперь чем занимается?

— Сеет кое-что да свиней откармливает.

— И наверняка продуктами спекулирует.

— Уверен. Целыми днями мотается по округе на своем джипе. На лесопосадках не работает.

— Вы не пытались привлечь его?

— Как не пытались. Только он не соглашается, говорит, что ему и так хорошо,— отвечает Хорхе.— Здешний народ его недолюбливает. Люди прямо говорят — последняя сволочь.

Джипа Куэто уже не видно: петляя между соснами, он скрылся за холмами.

— Далеко еще до Лас-Десеадас?

— Километров восемь будет.

Поднимается солнце, и капли росы в его лучах кажутся осколками хрустали, рассыпанными в траве. Бруно вдруг почему-то вспоминает лицо вчерашней девушки, туго обвязанное цветным платком; ее губы, с которых срывается веселый, звонкий смех, бронзовый загар и нежные мочки ушей, глаза цвета мокрой травы, вдруг так и заискрившиеся на солнце, когда она сняла сомbrero.

Бруно просовывает руку под рубашку и гладит плечо. Каждый раз, если утро прохладное, у него побаливает старая рана.

— Нати, проснись!

Этот голос заставляет ее вздрогнуть, и все тело сразу же охватывает какая-то слабость.

— Что? Что случилось? — испуганно спрашивает она, садясь в постели. Ее глаза с тревогой смотрят на мужа. Дрожащей рукой проводит она по лицу, покрытому испариной, и собирает сзади в пучок перепутавшиеся волосы.

— Ты кричала во сне.

— Правда?

— Даже разбудила меня, — говорит Кlemente хриплым сонным голосом, едва открывая слипающиеся глаза.

Нати молчит.

— Ладно, спи, — бормочет он, снова уткнувшись носом в подушку.

Широко раскрыв глаза, Нати озирается вокруг и никак не может прийти в себя. «Что же я кричала? Сейчас Кlemente ничего не сказал, потому что хочет спать, а завтра пойдут расспросы. Неужели он догадался? Что же я все-таки крикнула? Вот он уже ворочается. Как только проснется, обязательно начнет расспрашивать».

Кlemente поворачивается в ее сторону и перестает храпеть. Дышит неровно, как в полусне, или только делает вид, что спит. «Наверно, притворяется, а сам ждет, что я буду делать. Но что же он все-таки слышал?» Наконец снова раздается храп, тонкая струйка слюны стекает из полуоткрытого рта Кlemente на подушку. Его крепкое мускулистое тело, усыпанное веснушками, поблескивает в полутьме. «Нет, больше не могу. Не могу!» Нати отодвигается от мужа и, прикусив подушку, снова погружается в забытие. Она ощущает рядом тепло мужского тела, но вспоминает другие тела, другие глаза и руки. Руки Сиако ласково гладят ее... И другие руки, и боль... И опять Сиако, его упругая кожа, от прикосновения которой она чувствует облегчение, как от лекарства, как от дождя или речной воды. Временами она затихает и лежит спокойно, а потом вдруг в глазах вспыхивает какой-то огонек, лицо искажает гримаса, и она, сдерживая стон, чтобы не разбудить мужа, кусает подушку. И так до самого утра.

Еще задолго до того, как проснуться Кlemente, она уже на ногах: растапливает в кухне плиту, выбирая поленья посрее, чтобы видно было — это от дыма слезятся глаза... И со страхом ждет пробуждения мужа — будет расспрашивать...

Но Кlemente, проснувшись, не спросил ни о чем. Он молча выпил свой кофе, посмотрел на жену долгим, серьезным взглядом. И ушел.

Проводив мужа, она садится в дверях. Видит, как мимо проехал «газик», потом повозка с женщинами, направляющимися в питомник... Солнце уже высоко. И в голове Нати снова начинают тесниться смутные противоречивые мысли. Взгляд ее невольно ищет скатерть в белую и красную клетку. Она встает и задумчиво проводит по скатерти рукой. Сомнения гложут ее. Еще какое-то время Нати бесцельно бродит по кухне, а потом вдруг берет скатерть, быстро выходит во двор и развешивает ее на веревке, подставив рогатину, чтобы висела повыше и повиднее.

Долго смотрит она на стаю као, облепивших голые ветви сосен, и слушает их крики, беспокойные, как ее мысли.

Небольшой мостик, перекинутый через глубокое русло пересохшего ручья, четко вырисовывается в лучах восходящего солнца. Мостик узок и стар, но еще может выдерживать тяжелые повозки и грузовики. Покачиваясь на дощатом покрытии, «газик» осторожно проезжает по нему. За мостом пыльная разбитая дорога идет на подъем. Солнце бьет прямо в лицо. Бруно крепко зажмуривается и открывает глаза только тогда, когда чувствует, что дорога пошла под гору. Сосны кончились, теперь машина катит через густой эвкалиптовый лес. Тут не так жарко и почти нет пыли. К сожалению, они скоро миновали этот прохладный, душистый оазис, и «газик» вновь выезжает на пыльную дорогу, по сторонам которой тут и там разбросаны редкие сосны, и солнце снова мучительно слепит глаза. Бруно опять хотел было зажмуриться, как вдруг увидел справа внизу раскинувшийся между холмами питомник Лас-Десеадас. Отсюда, сверху, хорошо видны маленькие прямоугольники ярко-зеленых плантаций, резко выделяющиеся на фоне пыльно-серого пейзажа.

— Будто их масляной краской покрасили, — замечает Бруно.

— Их надо по несколько раз в день поливать, иначе солнце сожжет рассаду, — говорит в ответ Хорхе.

— Здесь, наверно, трудно с водой?

— Неважно. А когда и совсем туго. В этом питомнике есть водонапорная башня, но насос уже несколько меся-

цев сломан, и никак не могут его починить. Одной водочкой не обойдешься.

Чтобы попасть в поселок, нужно проехать по краю питомника. Дорога виляет между хозяйственными постройками и, вырвавшись из тесноты, уходит в горы, а «газик» сворачивает к центру поселка. На улице ни души. Выйдя из машины, Бруно и Хорхе направляются к конторе и заглядывают в дверь — никого. Возвратившись к «газику», растерянно осматриваются по сторонам. На дальнем конце питомника в россыпи сверкающих на солнце водяных брызг работают женщины. Хорхе проходит немного вперед и громко кричит:

— Аресио! Аресио-о-о!

Из задней двери кухни высовывается сморщенное, словно древесная кора, круглое лицо повара. Вытирая руки о грязный передник, он спрашивает:

— Чего вам?

— Где Аресио?

Повар делает знаки рукой, показывая, что плохо слышит, и подзывая Хорхе к себе.

— Аресио где?

— Как?

Хорхе, почти навалившись на него, кричит:

— Аресио, говорю, где?

— А-а! Не знаю.

— А Пипе?

— Как?

— Пипе! — кричит Хорхе ему в ухо.

— А-а-а! Он там, насос чинит.

Пипе сидит на корточках возле насоса. Он слышал шум автомобиля, слышал, как Хорхе звал Аресио, но слышал также и еще один голос... И сейчас, чувствуя за спиной приближающиеся шаги, не поднимается и даже не осмеливается оглянуться. Знает, что его сейчас окликнут, и ждет, охваченный непонятным ему самому страхом.

— Пипе, ты что, не слышишь?

От голоса Хорхе он весь внутренне сжимается, открывает рот, но, продолжая ощущать предательскую слабость во всем теле, никак не может ответить, потом поднимается и оборачивается к подошедшим, стараясь избегать взгляда Бруно. Смотрит только на Хорхе, который представляет ему Бруно:

— А это, Пипе, наш новый директор.

Пипе в смущении стаскивает с себя шляпу и неловко пожимает протянутую ему руку, опустив глаза, словно рассматривает валяющиеся на земле камешки. Он напряженно ждет, когда новый директор спросит о чем-нибудь, думает, как ответить ему, и совсем успокаивается, услышав незнакомый голос.

— Значит, насос ремонтируете? Дело! Сейчас он просто необходим.

В голосе Бруно нет ни резкости, ни раздражения, он доброжелателен, почти мягок.

— Наконец-то! Сколько уж месяцев он у вас сломан,— ворчит Хорхе.

— Это правда, да вот все времени не было,— пытается оправдаться Пипе, но тут же осознает, что говорит это человеку, который видел его спящим в рабочее время. Пытаясь выйти из неловкого положения, он начинает торопливо бормотать что-то уже совершенно бессвязное.

— Где Аресио? — спрашивает Хорхе, спасая Пипе от необходимости продолжать свой нелепый монолог.

— Он... Он на посадках, но... если вы хотите увидеть его, лучше подождать здесь. Он сказал, что скоро вернется. С первой подвой.

— Далеко это? — интересуется Бруно.

— Порядочно. Но он вот-вот должен подъехать,— отвечает Пипе и тут же добавляет: — Я, пожалуй, займусь насосом, может быть, сумею исправить его сегодня.

— Правильно, насос очень нужен,— повторяет Бруно, а сам смотрит вдаль, туда, где работают женщины, пытаясь отыскать среди них Мерседес. Но издали все они кажутся одинаковыми.

— По-моему, едва вы приехали, как здесь начались перемены,— говорит Хорхе.

— Пойдем посмотрим поселок,— предлагает Бруно.

Као кричат жалобно, словно это плачут души грешников... Еще хорошо, что я их не слышу ночью, а то бы... Целыми днями сидят на верхушках деревьев. И почти всегда выбирают сосны с обгорелыми стволами. Кричат и кричат, и нет на них управы. А когда опускаются на землю, ведут себя как разбойники: воруют все подряд. Даже из домов уносят в клювах разные вещи. Зловещие птицы вроде ворона. Невольно страх внушают. Для меня они все рав-

но что совы, даже хуже. И все же согласишься на них с уважением: больно хорошая мишень для ружья! Дед мой и Анастасио Риос рассказывали мне, откуда взялись эти као.

...Жили когда-то в лесу брат с сестрой. И никого у них не было родных с тех пор, как умер отец. Брат был очень хорошим парнем, только случилось с ним несчастье: влюбился в свою сестру. А она была вредной и злой — хуже грома небесного. Ненавидела брата и все старалась вредить ему. Говорят, будто раньше она сама была влюблена в брата и из-за этого даже убила отца. А потом, значит, совесть стала ее мучить, и уж так она измывалась над братом: и плевала в него, и ногтями царапала, и все такое прочее. Он не мог больше это терпеть и вот однажды позвал ее в лес, будто бы нашел много гуайавы. Когда они пришли на это место, он заманил ее на высоченную сосну для того, чтобы хутию* поймать. И когда оба были уже у самой верхушки, брат вдруг стал быстро спускаться, обрубая за собой топором все сучья. Спустился и убежал. Как сестра поняла, что осталась одна на этой сосне и уж больше ей не сойти на землю, перепугалась, начала кричать, визжать и плакать. А когда пришла ночь, тело ее все потемнело, и сделалась она черная-пречерная, как и душа ее. И все кричала, и кричала, и кричала без остановки. И превратилась в као, и по сей день кричит — зовет своего брата...

Еще не проснувшись как следует, Клаудиа слышит, как кто-то возится в комнате, только не поймет: то ли рядом с ней, то ли где-то подальше. Мыши? Сквозь неплотно закрытую ставню, щели в дощатой стене на пол падают солнечные лучи, в комнату сочится утренний свет. Клаудиа чувствует что-то мягкое прикосновение к ноге, осторожно протягивает руку и нащупывает острое волосатое колено Сиako. И просыпается окончательно, пытается разобраться в обрывках своего сна, в путанице лиц и слов. Таково ее обычное пробуждение. Она припоминает, как Сиako явился домой на рассвете и что ей наговорил. Клаудиа поворачивается к нему. Сиako лежит на спине, но одну руку держит под подушкой.

* Хутия — небольшой подвижный зверек, обитающий в лесах Южной Америки.

— Сиако, — зовет она.

Тот издает какой-то хрип, но не шевелится.

— Сиако, — повторяет жена.

— Чего тебе?

— У тебя уже прошло?

— Что прошло?

— А то, что было, когда ты вернулся... Почему ты так относишься ко мне?

— Дай мне спать!

— Ты что, опять на работу не пойдешь?

— Проклятье! Да оставь ты меня в покое!

Он поворачивается к жене спиной, снова нащупывает под подушкой приемник и затихает. Клаудиа тихо перелезает через него, встает с постели. Она одевается в полутемной комнате проворно и уверенно, словно на память знает, где какая вещь лежит. Это еще молодая женщина, но на лице ее печать горечи и увядания. С каждым днем она все больше опускается, будто испытывая удовольствие от собственной неряшливости. А ведь когда они познакомились с Сиако, она была интересной девушкой, с плотной ладной фигурой и хоть и застенчивым, но пылким взглядом. Она родилась и выросла в этих горах, здесь же и встретила Сиако...

— Сегодня вечером пойдешь со мной! — сказал он ей однажды после петушинных боев.

— Куда?

— Куда-нибудь.

— А родители?

— Наплевать, потом объясним...

Он завел ее в проход между клетками с петухами и несколько раз поцеловал. Она очень волновалась, когда собирала дома свой узелок.

С годами Клаудиа все меньше заботилась о своей внешности, особенно после смерти их первого и единственного сына, который прожил всего четыре месяца. С тех пор она так и не может справиться со своей безотчетной тоской, которая гложет ее дни и ночи. Не может позабыть того сладостного томления, охватившего ее, когда она почувствовала, что в ней зародилась новая жизнь. Томление это росло по мере того, как внутри нее, будто живая веточка, рос ее ребенок, он заполнил ее всю: сперва грудь налилась новыми соками, потом губы раскрылись, словно цветок, шепнули Сиако: «У нас будет ребенок». Никогда

она не сможет этого забыть. Хотя продолжает влачить жизнь, лишенную теперь для нее всякого смысла. Что-то делает по дому, почти не понимая зачем, а потом снова отдается тоске и одиночеству.

— Я выиграл на петушиных боях. Вот будем в поселке, куплю тебе туфли на высоких каблуках,— говорил ей Сиако.

— Ой, правда?

— И платье куплю.

— И в кино пойдем?

— И в кино. Все, что ты захочешь!

Волосы спадают ей на плечи блеклым черным покрывалом. Бедное заношенное платье свисает с костлявых плеч, как с вешалки. Она насыпает кофе в кофейник, разводит огонь и потом долго смотрит еще немного сонными и заплаканными глазами, как тоненькой струйкой стекает в чашку горячий напиток. Всю ночь она просидела без сна, прислушиваясь к тоскливым завываниям Марипосы, в крошечной темноте, сберегая последнюю в доме свечку для Сиако. А когда он наконец явился, она тоже не могла заснуть, все думала о том, как он переменялся к ней в последнее время. И не поела вечером — от огорчения пропал аппетит. Сейчас чувствует, как сводит желудок. Но есть не хочется, просто сосет под ложечкой...

— А на что же мы будем жить? — спросила она его тогда.

— У меня есть три бойцовых петуха,— ответил ей Сиако.— Пойдем со мной в Лас-Десеадас, я там открою петушинные бои. Будем разводить петухов и, может быть, устроим настоящую армию для боев. Понимаешь, тогда народу не надо будет ходить по воскресеньям так далеко, как теперь.

— Где мы жить-то будем?

— Там.

— Где там?

— Там же, в Лас-Десеадас. Построим домишко, земли там много, а народу мало. Я знаю почти всех, кто ходит сюда, в Ла-Хагуа, на петушинные бои. Понимаешь, земли у них сколько хочешь и никому не ведомо, чья она. Не волнуйся, я уже все разузнал...

Клаудиа выходит посмотреть, есть ли вода в бочке, и, возвратившись, замечает, что Сиако уже проснулся. Он

сидит на табурете у стола и наливает себе агуардьенте*. Не глядя на жену, угрюмо скребет ногтем клеенку и бормочет сквозь зубы ругательства.

— Если ты не возьмешься за ум, Сиако, мы плохо кончим, — говорит Клаудиа. — Не забывай, что петушинные бои теперь запрещены и вообще все стало по-другому.

— Плевать я хотел!

— Вот попомни мои слова, заберут тебя, тогда узнаешь.

— Э, черт! Что за наказание такое?! Никакого терпения нет! — Сиако с силой стучит кулаком по столу, и агуардьенте выплескивается из стакана. — Целыми днями зудит и зудит...

Клаудиа наливает кофе и спокойно говорит:

— Воды в доме нет.

Сиако нехотя выходит из дома, запрягает быков в волокушу и направляется к ручью, усевшись на бочку, выдолбленную из ствола пальмы. У изгороди оборачивается и кричит жене:

— Если заедет Куэто, передай ему тот мешок!

Возвратившись с водой, Сиако седлает свою кобылу и заглядывает в дом. Клаудиа снова плачет. Он смотрит на нее с нескрываемой ненавистью. С тех пор как он сошелся с Нати и связался еще с тем делом, жена для него стала чужой, едва ли не врагом.

— Ну, Сиако, скажи, что с тобой происходит, почему ты так смотришь на меня? Ты так переменился и что-то скрываешь...

— Завела! — Сиако со злостью швыряет сигару.

— Но я же твоя жена и хочу знать, — вытирая слезы, говорит Клаудиа, — почему ты против, чтобы к нам люди ходили?

— Ты дура! Чего они к нам лезут, какое кому дело, чем я занимаюсь. А ты больно много болтаешь. Учти, если про меня что-нибудь пронюхают, я собственными руками задую тебя!

Лицо Клаудии болезненно кривится. Она очень хорошо знает, что означают эти зловещие огоньки в его глазах, и все-таки приближается к нему и, ухватив его за рубашку, кричит:

* Агуардьенте — спиртной напиток из сока сахарного тростника.

— Ну убей меня, убей! Ты хочешь меня убить? Так убей! Что с тобой творится, Сиако?

— Замолчи! Отстань от меня! — Он резко хватает ее за руки. — Замолчишь ты или нет, скотина?!

Но она, уже не владея собой, кричит все громче:

— Что ты задумал, Сиако?! С кем связался?

От его толчка Клаудиа падает на пол и лежит без движения. Некоторое время Сиако очумело смотрит на нее, словно не понимая, что произошло, потом наклоняется и ощупывает ее голову, легонько похлопывает по щекам. Клаудиа постепенно приходит в себя, с трудом открывает глаза и снова закрывает. Из ее груди вырывается несколько глубоких вздохов. Сиако торопливо бормочет:

— Ну ладно, успокойся... Потом я тебе все объясню. Ну перестань, слышишь, Клаудиа...

Уж я-то знаю, какой был Педро Бульдозер, воевал вместе с ним. У него чутье особое было и схватывал все с ходу. По-настоящему умный был парень, а уж смелый, и не сказать! Ни в какую чертовщину нашу не верил. Когда услышит, бывало, что-нибудь из здешних поверий да примет, или весело рассмеется, или, наоборот, строго так поглядит — смотря что расскажут. Известно, как он умел смеяться и как становился серьезным. У нас тут, например, говорят, что на дороге из Ла-Легуа к плотине Эль-Кинсе бродит между эвкалиптами какой-то призрак. Будто бы старик, одетый во все белое. И кто бы ни проезжал там верхом, лошадь его непременно остановится, словно кто ее за ноги схватит. И нет никакой возможности заставить ее пройти через это место. Надо слезть и провести перед ней ножом, только тогда она опять пойдет. Наш проводник Сесар, которого потом Полковник повесил, предупредил об этом Педро Бульдозера. А он только рассмеялся и ответил, что как раз там-то мы и пойдем. Сесар сперва никак не хотел идти. Говорил, что старик пропускает через то место только лошадей со звездочкой на лбу и подкованных на все четыре копыта. А Педро стоит на своем: пойдем, и все. И что же вы думаете — прошли, и привидения не увидели, и с лошадьми ничего не случилось. Нет, брат, Педро Бульдозера нашими сказками не испугаешь! Куда там...

Взгляд Бруно сам собой обращается к дальнему концу питомника, где работают женщины. Ему хочется разглядеть ее, но с такого расстояния все фигуры кажутся одинаковыми... Дома в поселке закрыты, на дверях висят замки, только в одном, что стоит дальше всех от дороги, окно распахнуто настежь. Бруно подходит к нему и заглядывает внутрь. В углу свалены матрацы и москитные сетки, между рядами пустых кроватей — паутина.

— Давненько, кажется, сюда шефы не приезжали, — заключает Бруно.

— Да.

— Никогда не приезжали?

— Несколько месяцев назад должна была приехать группа военных, — вспоминает Хорхе, — только их почему-то направили в Монте-Гранде.

— Но ведь именно здесь хуже всего с рабочей силой! — говорит директор, снова глядя в сторону питомника.

— И здесь же самые подходящие земли.

— Тогда почему так получается?

— Спросите об этом у Давида... или у Аресио.

Они направляются к питомнику, решив, что Аресио им уже не дождаться. А он как раз в это время и подъехал. Хорхе первым делом спрашивает:

— Как идут посадки?

— Плохо.

— А в чем дело? — вмешивается Бруно.

— Рабочих не хватает, — отвечает Аресио. — Этот Сиакко подговаривает народ не ходить на работу в лесхоз, оставаться на своих огородах.

— Что за Сиакко?

— Так, один «мелкий производитель». Раньше занимался петушиными боями, а теперь вот болтается по округе, пугает народ, слухи всякие распускает.

— У него здесь своя земля?

— Да, он тут старожил, — продолжает Аресио, — ну и баламутит людей. Прямо не знаем, как с ним быть.

— Пока ничего делать не надо, — отвечает Бруно. — Иногда выгоднее дать врагу как следует высунуть голову, чтобы потом снести ее.

Бруно опять смотрит на далекую группку женщин, и ему кажется, что наконец он узнал Мерседес. Вон она, толенькая, похожая на мальчишку. Он вспоминает ее лицо,

освещенное солнцем, и яркие зеленые блики, как от мокрой травы, в ее глазах. Из-под платка выбивается прядь волос, Мерседес, озорно улыбаясь, смотрит на него. Он закрывает глаза и, поднеся сигарету ко рту, делает глубокую затяжку. Нет, не следует ему больше встречаться с этой девушкой.

Продолжая просматривать регистрационные книги, Серхио обнаруживает еще ряд нарушений. Но Давиду о них пока ничего не говорит. Он вообще больше не разговаривает с ним, только время от времени внимательно вглядывается в него. А Давид, чувствуя взгляд Серхио, молча кусает губы и без конца протирает очки — у него это стало просто манией. Он трет чистые стекла и все думает, что будет говорить Бруно, когда вернется, но даже ему самому собственные доводы кажутся неубедительными и фальшивыми; он понимает, что не сможет представить удовлетворительные объяснения, и его охватывает отчаяние.

Когда он, молчаливый и задумчивый, идет из своей квартиры в контору или обратно, рабочие переговариваются между собой:

— Гляди-ка, похудел-то как!

— И что с ним такое творится?

— Заявл, как позавчерашний салат.

— И не говорит ничего.

— А вчера и обедать не стал. Бледный такой.

— Подошел я к нему, а он вроде и не видит меня. Махнул только рукой — вот так — и пошел.

— Что за дьяволыщина?!

Поздно вечером, когда поселок уже спит, Серхио сидит один в конторе, перелистывая книги. В дверях появляется высокий плотный мужчина. Прислонившись к косяку, он ждет, когда Серхио оторвет глаза от работы.

— Что вы хотите? — спрашивает Серхио, наконец заметив посетителя.

— Да хотел бы узнать, когда новый директор вернется.

— Точно не знаю, но по любому вопросу можете обращаться ко мне.

— Нет, я хотел бы с ним...

И уходит. Серхио смотрит на удаляющуюся фигуру. Площадь перед конторой пустынна. Черное высокое небо усыпано звездами. Глухую тишину нарушают лишь затихающие на гравийной дорожке тяжелые шаги.

Сиako помогает ей подняться с пола и сесть на табурет. Клаудиа ждет, что муж скажет, как объяснит, ведь должен он объяснить. Но он сидит напротив нее, сторбившись, уперев локти в колени и обхватив ладонями голову, и наблюдает, как сквозняк метет по полу пыль.

«Никому и ни при каких обстоятельствах: ни жене, ни тени своей — ни слова! Отвечаешь жизнью!» — вспоминается ему. А она смотрит на него и думает: «Вот и еще что-то умерло в Сиako». Проводит рукой по глазам. Через открытую дверь видно, как ветер колышет эвкалипты, срывая листья и играя ими в воздухе. Сиako пожал плечами и сплонул на пол. Подперев голову руками, Клаудиа зажимуривается. Сиako растирает подошвой плевков. Так и сидят молча. Лишь изредка слышатся горестные вздохи женщины да шарканье подошвы Сиako по пыльному полу. Когда ему кажется, что жена немного успокоилась, он спрашивает:

— Ну как, тебе лучше?

Не произнеся ни слова, она кивает головой.

— Мне надо идти, — говорит Сиako.

В дверях он останавливается в нерешительности и продолжает:

— Успокойся. Ничего не случится, я тебе все вечером объясню. И не забудь, если заедет Куэто, дашь ему то, что я сказал.

Выйдя из дома, Сиako быстро вскакивает на лошадь и, прищипорив ее, вылетает за ворота. Марипоса с лаем бежит за ним. Клаудиа встает и подходит к двери. Ветер срывает листья с эвкалиптов, поднимает их в воздух вместе с пылью и, повертев вокруг дома, бросает на дорогу. Женщина долго смотрит туда, где исчез в клубах пыли Сиako. Вернувшаяся Марипоса лижет ее босые грязные ноги.

Если ты вместе с кем-то рисковал жизнью, можешь считать, что знаешь его хорошо. С одного взгляда понимаешь. Тут не нужно никаких жестов, не надо прикладывать палец к губам, чтобы молчал. Когда мы приезжали на какой-нибудь хутор и нельзя было, чтоб узнали, кто у нас командир, он, бывало, просто посмотрит на нас, и все. И мы сразу понимали, в чем дело, ведь, если столько времени вместе рискуешь жизнью, с первого взгляда понимаешь, чего от тебя хотят. И потом у них, у командиров, и

взгляд особый. А слова иной раз только мешают. Он-то настоящий командир. И теперь ему тоже не надо было подавать мне знак. Я и так, только посмотрев ему в глаза, сразу все понял, хотя и вырвалось у меня «не может быть». Ну потом я, конечно, сделал вид, что не узнал его, но удивился немало.

За столом женщины говорят о гороховой похлебке, которую сварил на обед глухой повар.

— У него не только со слухом плохо, а и со вкусом тоже. Горе, а не повар.

Когда входят мужчины, разговоры стихают, но все-таки кое-кто из женщин успевает пошутить:

— Ну, Мерседес, сейчас у тебя горох в горле застрянет.

— Гляди-ка, что это с ней?

— Боже мой, как бы обморок с девчонкой не случился!

Арсесо представляет свою бригаду Бруно.

— Это Мерседес, звеньевая. Одна из лучших наших работниц.

— Мы уже знакомы, — говорит Бруно, когда Мерседес, покраснев, протягивает ему руку.

После того как Арсесо представил директору всех обедающих, мужчины тоже усаживаются за стол. Бруно ест молча, неподвижно уставившись в алюминиевую миску: со стороны может показаться, что мысли его далеко отсюда. На самом же деле он внимательно прислушивается к разговорам. Он чувствует на себе пристальный взгляд, но поднимает голову только тогда, когда его миска пуста. С противоположного конца длинного стола на него, не мигая, смотрит пара зеленоватых, словно зачарованных глаз. Встретившись с его взглядом, девушка смущается.

Бруно, Хорхе и Арсесо поднимаются из-за стола и идут в контору.

— Слушайте, Арсесо, надо поговорить с людьми. Мы не можем больше мириться с прогулами, — говорит Бруно. — В каждом случае необходимо выяснять причину.

— Да уж говорили, — отвечает Арсесо. — А причина какая? На своих огородах работают.

— С огородами разберемся потом. А с прогулами необходимо покончить как можно скорее! — решительно говорит Бруно. — Надо потолковать с каждым и постараться убедить людей, чтобы потом никто не мог обвинить

нас, что мы не выслушали человека и допустили произвол. А сейчас поедem на лесопосадки:

Направляясь к питомнику, женщины, конечно, подшучивают над Мерседес.

— Нет, вы посмотрите, перед ним тихоня, а придем в питомник, она нам покажет.

— Да уж точно, при нем как ласковый ветерок, а сейчас как циклон на нас обрушится.

— А что? Она и укусить может, если что не по ней...

Мерседес смущенно отмахивается:

— Да будет вам! Не надоело еще...

Меняются времена, и меняются люди, и чем времена труднее, тем сильнее мы меняемся. Горячий когда-то был парень Педро Бульдозер. И когда приставали к нему со всякими россказнями, он говорил: «Я поверю только тому, что увижу своими глазами и руками пощупаю. И то не всегда». А сколько он всего знал! Ученый был! Да, да, сеньор, ученый. Его работа на бульдозере была только маскировкой, он сам нам рассказывал, когда заболел как-то. Я принес ему марафоны, чтобы он, значит, остыл немножко. Он сам попросил чего-нибудь кислого — внутри у него все горело.

Вот в ту ночь, хотя вообще-то он был не очень разговорчивым, захотелось ему с нами поговорить, и рассказал он про свою работу на бульдозере и про то, как потом бросил этот бульдозер посреди дороги, повесив табличку «Ушел в партизаны». Один только раз он так разговаривался. И очень взволновал меня его рассказ... Даже жутко стало, какие отчаянные дела они творили! Прямо как в книжках. Или в кино...

Ветер озорно треплет длинные волосы Нати, то закидывая их за плечи, то бросая в лицо. Мелкие завитки на висках бьются и дрожат, словно в испуге. Скатерть в белую и красную клетку надувается под ветром, как парус. Нати, придерживая волосы рукой, снова смотрит на стаю као, и все думает, и все не может ухватить ускользающую от нее мысль: какая-то тяжесть гнетет ее тело, замедляет бег крови. Она встает на цыпочки и высоко поднимает руки, поправляя развешенное белье. Налетевший порыв свежего утреннего ветра треплет юбку и ласково щекает полные стройные ноги. Белье на веревке полощется и хлопает. С гор доносятся смутные, тревожные запахи. Скатерть то взлетает вверх, то бессильно повисает на веревке, а потом снова мощно и строптиво взмывает к небу. Нати чувствует, как в ней растет желание, от которого по телу пробегает дрожь. «Никуда от этого не денешься», — объясняет она ветру, горным запахам, пронзительно кричащим као. Женщина смотрит вверх и видит над собой небо, такое же, каким она видела его не раз, когда укрывалась, бывало, с кем-нибудь в папоротниках у реки. И као пролетали над ней, и кричали, и хлопали крыльями... «Не могу освободиться от этого. Не могу!» — будто оправдывается она перед своими воспоминаниями, горячей кровью и кожей, по которой вновь пробегает жаркий озноб. Необоримая сила тянет ее к земле. Босыми ногами чувствует

она зовущее покалывание сухих стеблей и падает здесь же под веревкой на траву, широко разбросав руки и ноги. Открытыми, но невидящими глазами смотрит в небо и вспоминает, вспоминает.

...Девочка с черными испуганными глазенками. Она же хотела убежать, тогда от Ла О, но боялась. Боялась темноты и дождя. И лая собак. Да и некуда ей было бежать. Она даже не знала, живет ли еще ее тетка в поселке и жива ли она вообще. С тех пор как однажды под вечер ее привели в Ла-Фарруку и оставили там, никто больше не интересовался ею и никто не навещал... И вот теперь снова и снова слышится ей голос Ла О — никогда не забыть его одышки и приторно-липких слов: «Ну куда же ты уйдешь отсюда?» Беззубый, брызгающий слюной рот гнуса-вит ей в ухо: «Ты моя маленькая женщина. Для меня ты выросла. Если будешь послушной — не пожалеешь...» Жирные руки старика хватают ее за плечи и тянут к себе...

Он думал об этом с тех пор, как ее оставили у него в услужении, точнее, продали за сто песо. С нетерпением считал месяцы, ожидая, когда девочка подрастет. «Для меня ты росла, для радости моей», — сказал он ей потом.

После той страшной первой ночи Алехандро Ла О стал с ней совсем другим: всячески баловал ее, был нежным и ласковым. И то ли потому, что прежде Нати слова доброго не слышала, то ли потому, что в ней проснулась женщина, а может быть, от пережитого страха или просто в силу каких-то необъяснимых побуждений, которыми иногда руководствуются женщины, она уступила его домогательствам и согласилась приходить к нему в спальню. Но в его отсутствие, когда он уезжал в Гавану, она о нем и не думала...

Она вспоминает небольшую речку — зелено-голубую борозду посреди желтых пыльных холмов. Рабочие купали в ней лошадей. Как-то раз и Нати пошла туда. Потихоньку разделась в папоротниках, расплела косы и побежала к воде. Постояла на берегу, наблюдая, как река медленно несет свои воды среди кустарников и камней. Потрогала воду сначала рукой, потом ногой и вошла в реку. Она испытала подлинное наслаждение, ощущая свежесть реки, когда заходила все глубже. Осторожно ступая по каменистому дну, Нати погружалась в воду, которая дошла ей сначала до живота. Ее бронзовое тело отража-

лось в спокойном зелено-голубом потоке. Она шла все дальше и, когда вода достигла груди, окунулась. И это было словно очищение. Вынырнула и снова погрузилась с головой. Потом тихонько поплыла против течения, всем телом ощущая, как с нее смывается пот, стыд и отвращение. Она чувствовала себя совсем другой, обновленной. Перевернулась на спину, и поток медленно и осторожно понес ее. Она смотрела на небо сквозь нависшие над рекой ветви, слушала крики као и тонкий писк москитов. Окунувшись в последний раз, вышла на берег. Отжала волосы и долго лежала на влажной земле. На ее бронзовой коже сверкали бесчисленные капли, радужно отражая солнечные лучи.

...Вдруг она услышала шаги и, повернув голову, увидела одного из рабочих Ла О — Сесара, который привел к реке лошадь. Нати бросила в воду камень, и Сесар подошел к ней. Подошел и, увидев ее голую, остановился пораженный, в полной растерянности. Они ни слова не сказали друг другу, только он взглядом спросил: «Да?» — и она тоже взглядом ответила: «Да». Вверху в синей глубине неба над ними кружили и тревожно кричали черные као...

...Они и теперь кричат. Нати ладонью оттирает пот с лица и смотрит на скатерть в красную и белую клетку, которая трепещет и бьется по ветру между нею и небом, бессильно повисает на миг, а потом снова неудержимо рвется вверх...

Сесар спросил ее тогда:

— А кто был первый?

Всхлипнув от обиды, потому что неистовые поцелуи Сесара действительно впервые дали ей наслаждение, она ответила:

— Ты.

Она помнит, какое у него сделалось лицо.

— Я?

— Да, ты!

— Не морочь голову. Дурака нашла.

— Ты! Ты первый!

— С ума, что ли, сошла? Я не маленький! Говори, кто!

— Алехандро Ла О.

— Старик?

Нати заплакала. Испугавшись, что их могут услышать, Сесар пробормотал:

— Ну, будет, перестань. Слышишь, перестань.— Вскочил на коня и усакал. А она, лежа среди папоротников, слушала, прижав ухо к земле, удаляющийся стук копыт. Потом встала и снова пошла к воде.

С тех пор Нати частенько ходила в папоротники. Дошло до того, что однажды вечером Сесар и Рамон скрестили из-за нее мачете. Той же ночью пятнадцатилетняя Нати убежала из Ла-Фарруки в поселок. Тетка, оказалось, там давно уже не жила. «Уехала лет шесть назад», — сказали ей. До вечера бродила Нати по поселку, а потом решила попросить поесть в сельском кабачке «Лос-Ботес». Там и познакомилась с Кlemente...

Рабочие сидят против них полукругом. Один тянет вверх руку и басит:

— Я хочу сказать.

Выходит высокий крепкий круглолицый мужчина с редкой бородой. Смотрит на своих товарищей. Вокруг его глаз от того, что он вечно щурился от солнца, залегли мелкие морщинки. Оказавшись на виду у всех, он теряется, топчется на месте, бестолково крутит в руках шляпу. Наконец, собравшись с духом, говорит:

— Меня зовут Педро Монтано. Я ни разу не прогуливал. Я не говорю, что работаю больше других, но за что берусь, делаю как следует. И против нормы не возражаю. Я прямо вам скажу: никогда я не жил так спокойно, как теперь. Только вот посмотрите, — он показывает на разорванные на коленях штаны, — рабочей рубахи совсем нет, а порток, сами видите, почитай что тоже нет. Я их получил полтора года назад, а тут, если работать как надо, и на полгода не хватит. Опять же ботинки посмотрите. Я говорю не потому, что люблю жаловаться, только думаю, что если я работу выполняю, то имею право...

— А у других как с рабочей одеждой? — обращается к нему Бруно.

— За других не люблю говорить, — хлопает себя шляпой по коленке Монтано.

— Нет, давай уж говори, раз вышел. — Бруно внимательно всматривается в его выдубленное солнцем лицо, в упрямый прищур глаз.

— Ну что ж, скажу! Другие выменивают одежду на овощи. Я этим не занимаюсь, считаю, это не по-револю-

ционному. А по-революционному, когда об этих делах говорят открыто.

И снова, как всегда в минуты волнения, у Бруно начинает пульсировать жилка на виске. Он поднимает мокрые от пота брови и обводит взглядом присутствующих. Рабочие переглядываются между собой, о чем-то тихо переговариваются.

— Правильно я говорю или нет?! — спрашивает Монтано.

— Ты всех в одну кучу не вали! — кричит кто-то.

— Не все же так, — вторит ему другой.

— Правильно, не все, — соглашается Монтано. — Кое-кому выдали одежду совсем недавно.

— Как так? — обращается Бруно к Аресио.

— Я не выдавал, — торопливо отвечает тот.

— Кто выдавал спецодежду? — спрашивает Бруно рабочих.

— Миле выдавал, вот кто! — спокойно отвечает Монтано.

— Ах да, — подтверждает Аресио, нервно ломая пальцы, — несколько месяцев назад, когда шел сбор семян, Миле прислал нам список рабочих, которых просил временно отрядить к нему — у него «горел» план. Тогда он и выдал спецодежду.

— А как вы на это реагировали?

— А что я мог сделать, если он выдал?

— Я не про то! Ведь у вас самих постоянно не хватает рабочих рук! — сердится Бруно.

— Я понимаю... Но я спросил Давида, и он разрешил.

— Ладно. К этому мы еще вернемся.

— Правильно! — перекрывая шум, кричит кто-то из рабочих. — Я вот тоже в этих махинациях не участвую, поэтому и у меня ни штанов, ни ботинок нет.

— А у кого они есть, — говорит Монтано, — те ни на работы не ходят, ни на это собрание не пришли — сидят на своих участках.

— Это правда, что здесь спецодежду выменивают на продукты, как сказал Монтано? — громко спрашивает у присутствующих Бруно.

— Истинная правда! — кричит какой-то старик, поднявшись, чтобы Бруно его заметил. — Правда! — И, расталкивая соседей, выходит к столу. — У меня, понимаешь, не было обуви. И вот приезжает Куато и говорит, что до-

станет мне ботинки, если я ему дам маланги *. Ну я дал, и он, понимаешь, привез мне ботинки. А когда я дал ему еще несколько куриц — он привез мне штаны. Не новые, правда, но все-таки...

Шум среди рабочих нарастает.

— Ну хорошо, хорошо... — машет Бруно руками. — Давайте соблюдать тишину. Со спецодеждой тоже разберемся. Я затем и объезжаю бригады, чтобы выявить трудности и найти пути их преодоления. Постараемся организовать дело так, чтобы по возможности улучшить условия жизни рабочих. Здесь многое нужно менять. Не стану обещать вам золотые горы, я не чудотворец, но заверяю вас: многое здесь изменится. В наших силах повернуть все к лучшему. Не в моих и не Аресио, но в наших с вами общих силах. И жаль, что те, кто не выходит на работу, не могут услышать сейчас, что их ожидает. А вас я заверяю, что вопрос со спецодеждой мы решим. Будет у вас одежда, а кто не хочет трудиться, ничего не получит! Пока же наше собрание окончено — и давайте работать. Я тоже пойду с вами.

— Вот это я понимаю, это ясно сказано! — слышится голос из толпы.

— Только бы не тянули...

— Сделаем, — твердо говорит Бруно.

А в питомниках женщины все шутят над Мерседес. Она надвинула сомбреро на глаза и делает вид, что их шутки ее совершенно не задевают. Нагнувшись над рядами саженцев, девушка невозмутимо обрабатывает посадки. Но чуть ее сомбреро вспорхнет над головами женщин, словно птица, готовая запеть, кто-нибудь обязательно крикнет:

— Ну-ка брызните там на нее водой — пусть успокоится немного!

И снова смех разносится над питомником.

— Да не дразните вы ее, не видите, что ли, у нее и так горох в горле застрял.

— Теперь-то уж она не посмеется над нами.

Раньше Мерседес всегда шутила над подругами, когда они разговаривали на работе о женихах и о любви. И ни-

* Маланга — клубневая огородная культура.

кто из них не замечал, чтобы она засмотрелась на кого-нибудь из здешних парней. Подруги не раз спрашивали ее: «Или ты не такая, как все женщины?» Она только смеялась в ответ и посылала их к черту. «Мерседес, неужели ты никого еще не любила?» или «Мерседес, скажи, нравится тебе кто-нибудь?» Девушка молча пожимала плечами. А когда ей уж очень досаждали вопросами, отвечала: «Мне нравится тот, кого я еще не видела и не знаю, какой он. Знаю только, что из всех моих знакомых на него никто не похож». Женщины недоверчиво посмеивались, а старая Роса всякий раз вертела пальцем возле виска: ты, мол, нам мозги-то не вправляй. И кто-нибудь из подруг поддразнивал: «Ты-то его уже знаешь, да он небось на тебя никакого внимания...»

— Вот увидите, подружки, надоест она нам, теперь своими расспросами: «Кандида, как ты думаешь, когда он еще заедет сюда?» — подражает одна из работниц голосу Мерседес. — Люсиа...

— Как ты думаешь, когда он еще заедет сюда? — хором подхватывают женщины.

— Элена...

— Как ты думаешь, когда он еще заедет сюда?

— И начнет долбить, словно дятел... — заключает Роса.

Теперь уже их шутки не оставляют Мерседес равнодушной. Она со слезами на глазах смотрит на подруг, хочет что-то сказать, но побледневшие губы ее не слушаются. Прыгая через борозды, девушка бежит к общежитию. Обернувшись, кричит прерывающимся голосом:

— Может быть, хватит?

Женщины смущенно умолкают, виновато прячут глаза. А Роса укоризненно замечает:

— Ну что, довольны? Довели подругу до слез и рады. Нехорошо это.

Когда партизаны спустились с гор, у въезда в Лукас им встретился часовой — сидел с ружьем в будке. Они стрелять, а он от них бегом по шоссе и тоже стреляет. Тут на дороге ни с того ни с сего появляется Рондо верхом. Ну часовой с перепугу и пристрелил его. Тот самый Рондо, значит, который всегда говорил, что не хочет ввязываться ни в какие смуты — ему, мол, покой дороже всего. Вот так

оно и бывает: часовой-то скрылся, а Рондо остался лежать на дороге. А уж как он всегда боялся смерти!

До этого я никогда не видел барбудос. Выстрелы слышал часто, особенно по ночам. А видеть партизан не видел. Командира у них звали, кажется, Педро Бульдозер.

На границе участков Ла О и Лас-Десеадас раскинулась большая сосновая роща. Здесь собирают семена. Когда сбор кончается, в роще царит тишина и запустение. В глубине рощи деревья стоят очень густо, к краям — пореже. Сосны высоченные, и, какой бы слабый ветерок ни подул, вершины сразу же заводят свою протяжную песню.

В самом глухом уголке этой рощи потная, запыленная кобыла лениво щиплет голубые цветы, выглядывающие, словно кусочки неба, из сухой хвои. В нескольких шагах от нее лежит Сиако. Между верхушками сосен падают лучи солнца и пятнами ложатся на землю.

Сиако напряженно прислушивается, при каждом шорохе воровато озирается. Прошло уже несколько часов с тех пор, как он встретился с правленческим «газиком». Правда, ему, кажется, удалось уйти незамеченным: он резко пришпорил кобылу, рванул напрямик через поле под гору и летел до тех пор, пока не укрылся в зарослях у реки. «Но если меня заметили, наверняка что-нибудь заподозрят», — думает он, вынимая из кармана фляжку. Открыв ее, делает несколько глотков, потом тщательно облиывает губы, чтобы ни одна капля не пропала.

Донесится шум приближающихся шагов. Схватив кобылу под уздцы, Сиако замирает на месте, внимательно глядя между стволами туда, откуда слышны шаги.

— Сиако? Где ты, Сиако? — слышит он голос Куэто, а потом видит его лицо, хоть и трудно различить его среди сосновых стволов — оно такого же коричневого цвета и тоже испещрено морщинами и оспинами, будто из сосновой коры вырезал его неумелый мастер тупым ножом.

— Тут я! — отзывается Сиако. — Ты что запаздываешь? Все забрал, что я оставил тебе дома?

— Забрал. И уже все сделал...

— Ну и как?

— Что?

— Да то самое.

- Сила!
 - А Клаудиа?
 - А что Клаудиа?
 - Когда я уезжал, она очень нервничала.
 - Я ничего не заметил. Ты же знаешь, она меня не переваривает. Слова не сказала.
 - Сейчас чуть не напоролся на их «газик». Еле смылся. Не хочу даже говорить с этими... Их проповеди не для меня.
 - Как он сюда доберется?
 - Это его дело. А наше — подготовить все как следует здесь.
 - Боюсь, что плохо это для нас обернется.
 - Как сами сделаем, так и обернется.
 - Что-нибудь слышно оттуда?
 - Пока ничего.
 - Ну что, начнем?
 - А ты думаешь, здесь надежно?
 - Сколько он тут пролежит?
 - Недолго.
 - Учти, придется отсюда все убирать перед тем, как начнется сбор семян.
 - Ну, до тех пор все будет кончено.
- Они направляются к джипу Куэто. В задней части кузова лежит большой сверток, зашитый в брезент. Вдвоем они поднимают его и тащат в лес.
- А ты не думаешь, что его могут случайно найти? — спрашивает Куэто.
 - Нет, старик, мы притопчем как следует землю, а сверху засыплем хвоей — черта с два кто догадается.
 - Пойду принесу кирку и лопату.
 - Сяко наклоняется над свертком, ощупывает его и начинает разгребать основные иголки.

Перед началом работы договорились о соревновании.

— Не разбрасывайте мешочки, потом подсчитаем и определим победителя. И сажать на совесть, учтите — здесь агроном! — предупредил рабочих Бруно, показывая на Хорхе.

Рабочие ломают ветки, потом обрывают листья и на ветки нанизывают освобождающиеся целлофановые мешочки. Прошло уже пять часов, а никто и не думал кон-

чать. Работа спорилась. Остановились, когда уже стало темнеть.

— Никогда так здорово не работали, — заметил Аресио.

Бруно посмотрел на него, хотел сказать: «И не стыдно тебе», — но сдержался.

— Про спецовки не забудь, — говорили рабочие, прощаясь.

Все разошлись, на только что засаженном участке, кроме Бруно и Хорхе, остался еще Аресио и снова стал жаловаться на трудности с транспортом. Бруно ответил ему, что все проблемы будут решены в свое время, пусть потерпит немного.

— Закончим объезд, всем бригадам разошлем четкие инструкции, — подвел он итог дня.

Была уже ночь, когда Бруно и Хорхе садились в машину.

Эту историю мне рассказывал Пипе. Говорит, что случилась она с одним его знакомым из Монте-Гранде. Было это под рождество. Днем он резал поросят, а под вечер пошел в гости к одному родственнику. И вот на дороге, по которой, значит, он шел, видит впереди себя старуху, толстую-претолстую. Платье на ней замызанное и все в пестрых заплатках, ноги босые, а на голове желтый платок. Идет старуха, вроде не торопясь, и он, значит, захотел ее догнать, чтобы разглядеть поближе, уж больно чудной показалась она ему: будто все пальцы у нее на руках разного цвета. Но только, как ни старался он ее догнать, старуха все время оставалась на том же расстоянии от него, хотя шагу и не прибавляла. Он тогда припустил бегом. Да не тут-то было: старуха так на том расстоянии и осталась... Вот ведь как случается!

«Газик» пробирается между холмами. По сторонам смутно вырисовываются сосны. Скоро взойдет солнце. Над сухой травой белесыми полосами стелется туман.

— А вот там Ла О,— говорит Хорхе.

Но Бруно не слышит. Рассеянно глядя куда-то вдаль, он весь ушел в воспоминания. Закуривает.

Сосновая роща осталась позади, теперь лишь кое-где виднеются редкие деревья. Между ними, будто опутывая их, протянулись тонкие волокна тумана.

«...Когда летели в Майами, ей очень нравилось наблюдать через окошко, как самолет врывается в облака. И рассветы она очень любила. Однажды мы вдвоем пошли встречать рассвет на пляж. По дороге от отеля за нами увязался какой-то пес и тащился сзади до самого берега. Иногда он почему-то останавливался и начинал лаять. И каждый раз она испуганно прижималась ко мне, по-утреннему теплая. А ее губы чуть-чуть пахли вином и мятой...

Мир словно раскололся надвое. Тогда мы с ней были неразлучны, теперь мы несоединимы. Я не узнаю, когда она умрет. И она не узнает о моей смерти. А ведь думали прожить вместе до самой старости. Да, мечты — это одно, а в жизни все по-другому. Вот и живем теперь в разных мирах, идем разными дорогами и мечтаем каждый о своем. Пожалуй, и не узнаем друг друга, если встретимся...

А эта девчущка, Мерседес... Еще один мир. Сколько их может быть? Мы сами их создаем и сами разрушаем. И идем дальше, оставляя частицы себя в прошлом. Создаем самих себя и сами себя разрушаем. Не словами, а поступками. Хлопнешь дверью, свернешь за угол — и конец. Потом приходит что-то новое. Приходит и тоже уходит, исчезая в призрачной дымке прошлого. Остаются только воспоминания и ты сам. Но и себя ты иногда узнаешь только по чужим воспоминаниям — так мы меняемся с годами. Или по укоренившимся привычкам да по зарубкам, которые на нас оставляет жизнь...»

Бруно просовывает руку под рубашку и поглаживает шрам. Ему нравится дотрагиваться до этого следа, оставленного жизнью на его теле.

«Все, что потом случилось между нами, неприятно. Неприятно, но не печально. На что она надеялась, когда спросила меня, как же все-таки я решил?»

Солнце поднялось над горизонтом, зелень засверкала в его лучах. Трава, смоченная росой, кажется шелковистой и мягкой и напоминает глаза Мерседес, какими он их запомнил. И новое утро рождает в нем новые мечты и надежды.

Они опять въехали в густой лес. Сосны высоко взметнули в небо свои зеленые вершины. Лучи солнца лишь кое-где пробиваются сквозь кроны. А вверху, в замысловатом переплетении ветвей, безостановочно снуют и пересвистываются птицы. Многие из них деловито прыгают по

сучьям, но в воздухе их все-таки больше, отчего кажется, что птицы ни на минуту не присаживаются. От густых крон идет ровный и мощный гул.

— Ужас сколько птиц! — восхищается Бруно.

— Это томегины. Они уничтожают вредных насекомых. Очень полезные птицы, — объясняет Хорхе. — Благодаря им сохраняется экологическое равновесие. Одно время они здесь почти исчезли, но мы завезли их снова из района Майари.

На стволах некоторых наиболее крупных и крепких сосен видны кресты, нанесенные желтой краской.

— А это что за знаки? — интересуется Бруно.

— Метки, чтобы собирать семена именно от этих деревьев, — поясняет Хорхе. — Эта роща лучшая на территории нашего хозяйства. Сосны естественной посадки. Остатки огромных девственных лесов, покрывавших когда-то эту зону. Раньше их вырубала для своих производственных нужд компания, владевшая здесь рудниками. Сейчас мы сохраняем их на семена.

— А как же рудники обходятся без крепежного материала?

— Завозят из Кабо, — отвечает Хорхе и, показывая вперед, говорит: — Как выедем из этой рощи и поднимемся вон на ту гору, начнутся земли Ла О.

На вершине гряды они останавливаются и смотрят вдаль. Сквозь прозрачный утренний воздух отсюда видно море и несколько небольших суденышек невдалеке от берега. Они кажутся совсем малюсенькими, словно игрушечные.

— Вот там поселок, — показывает Хорхе, — а дальше, справа, — Байаха, но это уже не наше хозяйство.

Поселок с такого расстояния выглядит как на макете. Гряды холмов по мере приближения к морю становятся все более пологими. Горы, мощно возвышающиеся сзади, сползая к берегу, постепенно сглаживаются. Голубовато-изумрудная лента реки причудливо вьется меж низких холмов, резко выделяясь среди пыльно-желтого однообразия остального пейзажа. Она похожа на огромную толстую змею, притаившуюся между огромными камнями. Склоны холмов изрезаны каменистыми оврагами, где даже трава не находит достаточно влаги — в оврагах этих не видно ни единого зеленого пятнышка. Побережье тоже усеяно голыми камнями и выступающими из воды рифами.

— Это и есть Ла О,— говорит Хорхе.— Трудный участок.

— Почему?

— Здесь предусматриваются самые большие работы. Почти на четырех тысячах кабальерий *. Земли очень разные: от горно-тропических почв до почти бесплодных. Были здесь сложности и другого рода. Побережье использовалось контрреволюцией для нелегального выезда из страны. Последняя группа, перед тем как удрать, убила здешнего бригадира.

— А почему местность называется Ла О? — спрашивает Бруно.— Очень странное название.

— По имени одного человека. Здесь все принадлежало ему,— отвечает Хорхе.

* Кабальерия — мера площади, равная приблизительно 13,7 гектара.

А какой он был из себя, Педро Бульдозер? Какой? Ну скажи! Ты же любишь о нем болтать!. Что? Нечего сказать? Потому что врешь все. «Здоровенный был». Ха! А сам его никогда не видел. Трепач ты, вот и все. А я видел. Был он невысокого роста, но плотный такой и сильный... Ученый был парень. Ужас какой начитанный. И ходил очень быстро. Когда собрался уйти в горы, к партизанам, на бульдозере оставил записку. Языком треплешь, а сам ничего не видел. И толком не знаешь, болтаешь, что в голову взбредет: может, кто и поверит. А я сам видел эту записку и даже руками трогал. Правда, разговаривать с Бульдозером мне не пришлось, но издалека видел его не раз. Вот так-то. И не болтай зря!

По глазам видно, что Клаудиа очень расстроена. Сяко залпом выпивает полстакана агуардьенте. Морщится и косится на жену. Клаудиа, закрыв лицо руками, начинает плакать. Он нехотя подходит к ней и кладет руку на плечо.

— За что ты меня мучаешь? — спрашивает она сквозь слезы. — Прожили вместе столько лет, и всегда все было хорошо. Что же теперь-то случилось? Помнишь, как мы познакомились? Я все вспоминаю, какой ты был тогда. Я ждала тебя за кустами, помнишь? Ну что случилось с тобой?

— Ничего...

— Ты так переменялся. И раньше-то был не особенно ласков, а сейчас и вовсе...

Сиako проводит рукой по ее волосам и бормочет:

— Ну ладно, успокойся. Не сердись.

— Иной раз ты обходишься со мной как с чужой, — говорит она, — а временами и сам кажешься мне чужим.

— Придумываешь ты это, Клаудиа...

— Ты всегда был скрытным; чего-то не договаривал о себе, а теперь и вовсе. Ну скажи мне, что с тобой?

— Да ничего особенного. Кажется тебе все это.

— Нет, не кажется. Я же вижу, как ты иногда на меня смотришь — с ненавистью. — Голос Клаудии срывается.

— Ладно, успокойся. На вот, выпей воды.

— Нет, ты очень переменялся, Сиako. Я все вспоминаю, какой ты был, когда мы познакомились. Помнишь, как я ждала тебя за кустами?.. Ты возвращался с петушиных боев охрипший от крика. А я ждала тебя и каждый раз приносила немножко рома, который потихоньку отливала у отца, и давала его тебе в кофейной чашке. Помнишь, как ты взял меня с собой в город? Мы ходили в кино и весь вечер развлекались. Может быть, я постарела? Ну скажи хоть что-нибудь, Сиako!

Но Сиako молчит, только крепче сдавливает ей плечо. Лицо у Клаудии хмурое и печальное. И она все говорит, говорит...

— Ты всегда был немножко странный, но все-таки не такой, как сейчас. Помнишь, когда мы отстроили этот дом, вечерами часто сидели вдвоем у порога или, взявшись за руки, шли прогуляться. Ты помнишь, Сиako? Как будто и не было ничего этого. Все теперь по-другому. Ну скажи мне, Сиako. Скажи хоть что-нибудь...

А то вот еще рассказывают об огненных язычках. Будто, когда нет ни луны ни звезд и небо делается пепельного цвета, нередко можно увидеть блуждающие огоньки. Они цепляются за верхушки сосен, за крыши старых домов, за срубы пересохших колодцев, бывает, попадают и в руслах сухих ручьев. Люди говорят, что это души покойников, привязанных к земле чьими-нибудь проклятиями. И рассказывают, будто огоньки эти струятся, развеваются, как

волосы у женщины на ветру, словно какой злой дух их перебирает, а как прочтешь молитву либо ножик с ножнами крестом сложишь, тут они, огоньки-то эти, сразу и тухнут...

Гряды холмов. Голые скалы. Плоскогорья, покрытые пылью. Ни единой тени, кроме тени «газика», медленно ползущего в клубах пыли. Кое-где пересохшие колодцы. Мостик через русло безводного ручья, и опять пыль, пыль, пыль.

— Вот такие-то дела!.. — задумчиво произносит Бруно.

— И главное, что многие этого еще не понимают, — отзывается Хорхе.

Земля раскалена, изуродована оврагами, трещинами, канавами, похожими на окопы. Изредка в тени камня — жалкий кустик травы. Там и сям из земли торчат каменные глыбы. Пыльные вихри отвлекают Бруно от воспоминаний...

— И много народу уехало отсюда? — спрашивает он.

— Порядочно.

Редкие одинокие домики. Люди с печально-равнодушными глазами, дети, от одного вида которых бросает в дрожь. Убогие дощатые хижины, на крышах — слой пыли. Грязные собаки с лаем бегут за машиной. Сухие кроны деревьев, похожие на корни...

— Эти люди, видимо, тоже самовольно селились на землях лесхоза, — замечает Бруно.

— Как и в других местах. Но здесь положение особенно серьезное. И никаких мер практически не принималось. Давид только говорил, что надо усилить среди населения политико-воспитательную работу.

— И усилили?

— Какое там усилили!

— Выселять их отсюда сейчас никак нельзя, — вслух размышляет Бруно, — хотя, с другой стороны, нельзя и согласиться с незаконным заселением земель. Черт знает что! И никому до этого не было дела!

Худосочные кустики сиротливо торчат из расщелин. Лишь у горизонта видны сине-зеленые вершины сосен. Выступы коренных пород: кварцитов, песчаников, глинистых сланцев — поверхностный слой уничтожен эрозией. Беспощадное солнце. Мелкой изморосью оседает поднятая

машиной пыль. Разъедает глаза. На губах привкус глины. Бесплодное, безжизненное раскаленное пространство. Камни и редкие белесые травинки...

— Как, вы говорите, звали того товарища, которого здесь убили? — спрашивает Бруно.

— Феликс Лопес. Замечательный был парень!

Земля цвета соломы с зеленоватыми прожилками трещин. Разрушающиеся скалы, перетираемые ветром в пыль. Кое-где начинают проглядывать бледно-зеленые пятна — сюда долетает с моря бриз. Справа, уже совсем близко, вьется густо заросшая долина, будто зеленая река среди однообразной пустыни, приятно ласкающая взгляд. Показывается большое деревянное строение.

— Это дом Алехандро Ла О, — поясняет Хорхе, — сейчас в нем живет лесничий. А рядом склад.

— И все это принадлежало одному человеку?

— Сукин сын он был, а не человек.

Теперь они едут к морю. Оно уже рядом. Дорога вилкает среди хаотического нагромождения каменных глыб. Они повсюду: плоские, заостренные, бугристые, гладкие. Одни из них рассыпаются, израненные глубокими трещинами, другие высоко вздыбились над землей, словно остовы диких доисторических животных, застигнутых врасплох и засушенных солнцем, третьи шагнули в море и возвышаются рядом с причудливыми изгибами коралловых рифов.

Вот оно, море! У берега — подвижная зеленовато-бирюзовая полоса. Дальше целая гамма оттенков синевы, постепенно переходящей в спокойную бледно-опаловую ширь до самого горизонта. Над водой с криками носятся чайки. Планируют на широко распластанных крыльях, почти замирая над гребнями волн, потом двумя-тремя взмахами резко взмывают ввысь. Лазурь, испещренная золотистыми бликами. Солнца столько, что можно ослепнуть. Бруно и Хорхе смотрят на море. А сзади, вдалеке, бесплодная пустыня обрывается, упираясь в темно-зеленую стену лесов.

«Мы должны показать всем, что такое революция!» — думает Бруно.

Говорят, много лет назад у нас здесь сразу пропала цлая семья. То есть не совсем семья, а шестеро сестер-старух. Все они были незамужние, и, говорят даже, ни одна из них так и не узнала мужчины. Очень набожные были старушки и почти все время проводили дома в молитвах, а если выходили куда, то все с зонтиками. У одной, значит, зонтик был желтый, у другой — красный, у третьей — белый, у четвертой — розовый, у пятой — зеленый, а у шестой — оранжевый. Говорят, что они хоть и старенькие были, но всегда веселые ходили и главное все время вместе. И еще рассказывают, что можно было подумать, будто они близнецы, а на самом деле они были погодками. А случилось с ними вот что. Как-то раз в пятницу на страстной неделе отправились старушки в церковь в Байаху. Они, видишь ли, когда были молодыми и их родители были живы, то каждое воскресенье ездили в городскую церковь в коляске отца, а состарившись, стали ходить пешком, и только на страстной неделе, чтобы запастись освященной ветвью гуано. Они, стало быть, не верили в то, что тут у нас каждому известно. Ну, например, не верили, что если в этот день искупаешься в реке до восхода солнца, то весь год голова не будет болеть, или что если до восхода солнца срежешь палку и сожжешь ее, то на весь год защитишь себя от грома. Куда там! Совсем наоборот: старухи уверяли, что нельзя в страстную пятницу срезать палку, потому что из нее вытечет Христова кровь. И в то не верили,

что, если в этот день собрать свежий навоз и сжечь его, дом твой не сгорит от молнии. Ни в какие эти приметы они не верили, верили только в освященную ветку гуано и в молитвы.

Ну так вот. Пошли они, стало быть, в ту святую пятницу в церковь, и тут вдруг поднялся такой сильный ветер — прямо ураган. Никогда прежде такого не было. Сосны, говорят, пополам сгибались — верхушками до земли дотрагивались, а эвкалипты ломались, как зубочистки. Наверно, ветер-то специально был послан, чтобы унести старушек на небо, потому что именно так оно и произошло. Подхватило, стало быть, ветром старушек за зонтики, и полетели они вверх гуськом, как и по земле ходили. Долетели до большого облака и скрылись в нем. А через какое-то время зонтики ихние упали на дорогу в том же порядке, какой у хозяек был заведен: розовый, красный, потом желтый, за ним зеленый и под конец белый и оранжевый. Говорят, что старушки нарочно бросили свои зонтики на землю — на тот случай, если еще кто-нибудь захочет улететь на небо. Очень они добрые были. Только никто не захотел брать эти зонтики, даже дотрагиваться до них боялись. Сами посудите: кому охота ни с того ни с сего на небо отправляться? Так, говорят, и сгнили зонтики на дороге...

Обратно возвращались не горной дорогой, а через Бай-аху. Оттуда проехали в районный центр, чтобы задать кое-какие вопросы Миле...

— Черт возьми! — возмущался по возвращении Бруно, рассказывая Серхио о Миле. — Нет, надо было видеть его лицо! Ведь знает, что попался, что по уши сидит в грязи, а как прикидывается. Если вот встретишься с таким, и подумаешь — честный, порядочный человек, которого незаслуженно обидели. А на самом деле все, что он говорит, — бессовестная ложь. Пытается изобразить из себя жертву. В глазах благородное негодование. Вот уж поистине: по глазам сирота — по делам разбойник. Не удивительно, что он смог обмануть столько людей!

— О Давиде ничего не рассказал? — спрашивает Серхио.

— Нет, а что такое?

Серхио доложил о вскрытых им злоупотреблениях.

Бруно хмурится, на виске у него снова начинает биться жилка. Он вынимает записную книжку и, внимательно листая ее, что-то отыскивает. Забывшись, он беззвучно шевелит губами. Серхио ждет.

— Теперь я кое-что начинаю понимать, — произносит наконец Бруно.

— Что будем с ним делать? — спрашивает Серхио.

— Немедленно звони в ДОП, чтобы забирали и его в компанию к Миле. Чертова лиса!

Серхио рассказывает Бруно о том, что здесь произошло в его отсутствие. Тот слушает, делает пометки в записной книжке и устало щурит глаза. Потом коротко информирует Серхио о своей поездке. Серхио слушает внимательно, изредка лишь прерывая товарища удивленными восклицаниями: «Какое варварство!» или «Неужели это действительно могло быть?» Потом Бруно переходит к своим планам. О них он говорит с довольной улыбкой. Его глаза с покрасневшими от пыли и усталости веками светятся задором... Они обсуждают, спорят. И под конец Серхио заражается энтузиазмом Бруно.

— Конечно, будет нелегко, — говорит Бруно. — Но это надо сделать. Не сразу, разумеется. Начнем действовать с осторожностью... Но твердо!

— Да, забыл тебе сказать. — Серхио ударяет себя ладонью по лбу. — Тут один рабочий разыскивал тебя. Со мной не стал разговаривать. Говорит, что хотел бы видеть лично тебя.

— Негр? Высокий такой?

— Точно.

— А-а, Пабло! — догадывается Бруно.

— Знакомы, что ли? — с удивлением и любопытством спрашивает Серхио.

— Чем он здесь занимается? — вопросом отвечает Бруно.

— Работает, кажется, в механической мастерской.

— Пабло... — задумчиво повторяет Бруно, словно уходя в воспоминания. — Я видел его, когда приехал... Мне с ним тоже надо бы поговорить.

— Позвать?

— Нет, потом. Сейчас я продиктую тебе наше первое распоряжение. Изложи его как полагается и разошли по всем бригадам. Есть тут какая-нибудь подборка прежних приказов?

— Что ты! Ничего похожего.

— Тогда начинаем наше наступление. Распоряжение номер один...

Я хорошо помню, как он начал диктовать мне свое первое распоряжение. Лицо его помню. Не знаю, почему оно мне врезалось в память именно таким, серьезным и торжественным. И еще раз я видел у него такое лицо, когда потом мы обсуждали «микропланы». Он диктовал свое первое распоряжение прямо-таки вдохновенно. Не помню точно: то ли в его лице я заметил какую-то взволнованность, то ли голос его показался мне необычным. Кажется, все-таки голос, когда он отчеканил: «Тогда начинаем наше наступление! Распоряжение номер один».

«Простите, товарищи, может быть, я не так говорю», — скажет Серхио годы спустя толпе людей, которые придут на то место в лесу, к той самой сосне...

Бруно строг и серьезен, чуть бледнее обычного. Некоторое время сидит задумавшись, потом встает и торжественно начинает:

— «Пункт первый. С момента подписания настоящей инструкции бригаде Ла О и соответственно входящим в ее зону землям присвоить имя Феликса Лопеса.

Второй. Выпас домашнего скота в лесах запрещается повсеместно, и прежде всего на плантациях молодых посадок. Если незаконные действия виновный будет объяснять отсутствием веревки для привязи, скот у него временно отберут и будут содержать в загоне бригады.

Третий. Охота запрещается на всей территории государственного лесоводческого хозяйства.

Четвертый. Запрещается частная торговля скотом и продуктами питания. Виновные в спекуляции будут передаваться в руки властей.

Пятый. Все бригадиры в семидневный срок обязаны представить правлению список всего, в чем нуждаются их бригады: спецодежды и обуви, оборудования, снаряжения, инструментов и так далее.

Шестой. Все бригадиры еженедельно представляют в правление отчеты о проделанной работе и о количестве участвовавших в ней людей.

Пункты первый, второй, третий и четвертый объявить на общих собраниях с участием всех рабочих и лиц, проживающих на территории бригады».

— Ну как? — спрашивает Бруно, закончив диктовать. Серхио одобрительно улыбается.

— Тогда подредактируй и как можно быстрее отправь в бригады. И еще вот что — сделай себе пометку: нужно обратиться в Академию наук за помощью, чтобы она провела работу по изучению фауны на территории нашего хозяйства и рекомендовала нам необходимые меры по ее сохранению. А товарищей из университета попросим провести здесь социологические исследования. Как ты думаешь, надо?

Серхио опять только улыбается.

— А вот теперь зови Пабло...

Сосны, сосны, куда ни глянь — кругом сосны. А как жалобно стонут по ночам, словно люди. Не люблю я ходить ночью на хутор Медиа Луна. Иду, потому что надо, но прямо скажу — не нравится мне эта дорога. Дело в том, что повидал я на ней немало мертвецов. И воронье глумилось над телами добрых людей. Раз как-то свернул я, значит, на эту дорогу, гляжу — стервятник клюет лицо сына Фермина. Заметил меня — взлетел, а у самого из клюва свисает человеческий глаз. Полковник-Вешатель любил выбрасывать трупы на эту дорогу. Ему, видишь ли, наоборот, нравилась дорога на Медиа Луна. А я не люблю ее, даже теперь, когда и Полковника-то давно нет в живых...

Клементе приходит с работы поздно вечером. Скатерть в белую и красную клетку расстелена на столе. При слабом свете коптилки Клементе молча кладет на нее хлеб, ставит стакан с водой и дымящиеся тарелки. Поев, углом скатерти вытирает рот.

— Все здесь теперь будет по-новому... — говорит он.

Натти сидит напротив и, делая вид, что слушает мужа, вспоминает, как они познакомились в кабачке «Лос-Ботес». К тому времени она проработала там уже достаточно, но привыкнуть к новой работе так и не смогла. Неприятности начались с первого вечера.

...Ужин уже кончился, прислуга снимала скатерти со

столов, наступило время вечерней выпивки. Кроме Нати, в кабачке работали еще несколько женщин, совершенно измученных бессонными ночами и пьянками. Появление в «Лос-Ботес» новенькой вызвало сенсацию среди клиентов, а потом взбаламутило и весь поселок.

В первый же вечер пьяные мужчины устроили в кабачке настоящий скандал из-за нее. Они бесцеремонно хватали ее за талию, за руки, и каждый тянул к себе. Она сразу сказала, что не пойдет ни с кем. В ответ любвеобильные клиенты разломали в кабачке проигрыватель и обстреляли пивными бутылками стойку. Тут вмешался хромой Кундо, хозяин заведения. Он ловко захлопнул металлические двери, вытолкнул на улицу других служанок, а Нати «укрыл» в подсобном помещении, где себе в награду и овладел ею. Но потом, вспомнив о нанесенном ему ущербе, жестоко избил ее завернутой в полотенце вешалкой. Бил по животу, по груди, по спине, стараясь не оставлять заметных следов.

— Ты не должна вести себя так с клиентами, — поучал он, — ты здесь для того, чтобы угождать им за столом... и после. А если пристают сразу несколько человек, смотри на меня, я тебе укажу, кого выбрать. И не вздумай еще раз разыгрывать из себя недотрогу, понятно?

На следующий вечер, пожалуй, все мужское население Байахи побывало в «Лос-Ботес», чтобы посмотреть на новую служанку, на ее роскошные бедра и вызывающие формы, так соблазнительно колыхавшиеся при каждом движении.

Но восторг посетителей принес ей ненависть остальных женщин, работавших в кабачке. А дня через три она и сама почувствовала, как ее тяготят новые обязанности. Здесь все было иначе, чем в Ла-Фарруке. Там, лежа среди папоротников в ожидании дружка, она чувствовала себя всемогущей. Он смущенно подходил к ней, робкий, почти испуганный. И она оставалась с ним, если сама того хотела, сама выбирала и сама отказывалась...

Лишь однажды какой-то рабочий, встретивший Нати на дороге в сосняке, насильно овладел ею... После того как он ушел, она долго лежала в траве — плакала от обиды, может быть, даже более вострой, чем в ту первую ночь с Ла О. Крепко закрыв глаза, в бессильной ярости до крови кусала губы. Она уже привыкла уходить со свиданий победительницей, а тут ее бросили распластанной на земле.

И не было рядом реки, которая очищает и лечит, кругом лишь сухая трава да пыль... Бабка Антоньика всегда говорила, что вода все лечит и все очищает. «Вода от бога, потому что только она приходит к нам с неба. Еще, правда, гром, но тот от дьявола — он убивает».

Она с трудом поднялась на ноги, посмотрела на равнодушное небо, огляделась по сторонам и вдруг заметила в траве вмятину — след ее тела, униженного и опозоренного. Она вскрикнула и бросилась прочь... словно от разверстой могилы.

— Новый директор ясно сказал... — продолжает Кlemente.

— О чем?

— Я же тебе только что объяснил — о спецодежде.

— Ах, ты про это...

Нати суетливо поднимается и разливает кофе. Кlemente достает из нагрудного кармана рубашки, висящей на стуле, большую сигару и, закуривая ее, внимательно смотрит на жену.

«...Кlemente тронул мне душу своими глазами. Он так застенчиво посмотрел тогда на меня, и этот взгляд остался во мне. Не статью он покори́л меня, не лицом, а глазами. В «Лос-Ботес» все смотрели на меня, будто приказывали: «Ну пошли, что ли». А когда вошел Кlemente и, не здороваясь ни с кем, сел за крайний столик, я сразу заметила, что взгляд у него совсем не такой, как у других. Он смотрел, словно спрашивал: «Могу я надеяться?» Я бегала с подносом между столиками и чувствовала на себе нахальные и требовательные взгляды, словно раздевавшие меня, а тут вдруг спиной ощутила совсем другой взгляд — мягкий и ласковый. Это смотрел на меня Кlemente. Я сейчас же обернулась и подошла к нему, хотя он еще не успел или не осмелился позвать меня.

— Что вам подать?

— Мог бы я поужинать?

— Ужин у нас уже кончился. Сейчас продаются только напитки, но я пойду посмотрю, не осталось ли чего на кухне.

Через несколько минут я принесла ему картофельную запеканку с яйцом.

— Повар уже ушел. Я сама приготовила. Больше на кухне ничего не было. — И вдруг неожиданно для самой себя я сказала: — Хочешь, я поужинаю с тобой?

Кlemente кивнул, и я села за его столик. Хромой Кундо бросал на меня из-за стойки сердитые взгляды. Но я не обращала на них внимания — я наслаждалась нежностью, льющейся из глаз Кlemente... А сейчас, через двенадцать лет, я так же сижу рядом с ним, слушаю, вспоминая и смотрю в его глаза, но они меня больше не ласкают. Не раздражают пока, но и не ласкают!»

— Новый директор наведет тут порядок, — говорит Кlemente, — насчет спецовок твердо обещал. Сразу видно — слов на ветер не бросает. А тем, кто не хочет работать и занимается спекуляцией, придется туго. Сказал, что против них будут приняты меры.

— Да?..

— Твердо сказал...

— А какие меры? — вдруг заинтересовалась Нати.

Кlemente пожимает плечами.

«...Хромой Кундо так свирепо смотрел на меня, что я даже испугалась. Кlemente заметил это.

— Нати! — крикнул хромой. — Слышишь, Нати!

Я подошла к стойке. Кlemente продолжал смотреть на меня и видел, как Кундо, разговаривая со мной, схватил меня за запястье, но я вырвалась и снова подбежала к столу Кlemente.

— Что с тобой? — спросил он.

— Ничего.

— Как это ничего, если ты вся дрожишь?

— Он не хочет, чтобы я сидела с тобой. Когда ты уйдешь, он изобьет меня...

Я, наверно, выглядела очень испуганной, потому что Кlemente взял мои руки в свои — они у меня были совсем холодные — и спросил:

— Хочешь остаться со мной?

— Значит, хочу, если сижу здесь.

— Раз так, я заберу тебя с собой.

Я хотела ответить, что боюсь, но потом одумалась, закусив губу и, опустив голову, промолчала.

— Пойдешь, что ли?

— Пойду, а то он убьет меня.

— Ну так уж и убьет.

— Не веришь? Изобьет почем зря. Душу вышибет своими сапожищами. И еще старик меня будет разыскивать.

— Отец?

— Да нет, это я так... — И тут я расплакалась.

— Будет тебе, перестань... Только, понимаешь, какое дело, вести-то мне тебя некуда.

— Я куда хочешь пойду. Вызови меня отсюда, а потом хоть брось на улице. Но если ты оставишь меня здесь, он убьет меня. С тобой-то он, может, побоится связываться.

— Понимаешь, дело-то какое. Я на шахте работал, да вот уволили. Теперь иду в горы, думаю на выжиге угля подработать.

— Возьми и меня с собой.

— Да не для женщин эта работа, только мешать будешь.

— Не помешаю, все, что скажешь, буду делать наравне с мужчинами.

— Опять же не один я иду — племянник со мной.

— Ну и что? Варить вам буду, за кострищем присматривать.

Тогда КLEMENTE, ни слова больше не говоря, встал и бросил на стол деньги. Правую руку положил на рукоятку своего мачете, а левой крепко взял меня за локоть. Не сводя взгляда с хромого Кундо, которого трясло от бешенства, пока он наблюдал за нами из-за стойки, КLEMENTE вывел меня на улицу. Хромой не шелохнулся.

— Сегодня я здорово устал. Новый директор работал вместе с нами. Кончили, когда уже темнеть стало, — рассказывает КLEMENTE. — Пойду спать.

«Если бы я встретила тогда Сиако, а не КLEMENTE», — думает Нати, снимая со стола скатерть в красную и белую клетку и аккуратно складывая ее.

Точно. Он так и говорит, что собака зарезала ножом человека. Жил тут, понимаешь, один мужик и такой жадный был до денег — страсть. Но денег-то у него и не было. У нас здесь многие с ума по деньгам сходят. Есть, конечно, и такие, что говорят: за хорошую женщину не жалко двадцать быков отдать, но он был не из таких. За деньги, считал он, можно купить и двадцать быков, и женщин со всем, что у них есть. Рассказывают, что он только и думал о кладах, о зарытом золоте да о горшках с драгоценностями. Теперь-то он уже помер, но еще до смерти ни с того ни с сего вдруг стал чураться денег, как черт ладана. Фе-

липе его звали. А оказывается, вот что с ним случилось. Один его приятель узнал о могиле, где зарыт был клад. Старик какой-то будто перед смертью рассказал ему об этом. И еще, значит, покойник будто бы предупредил, что за кладом надо идти вдвоем, а уйти с ним должен только один. Поэтому приятель-то и говорит Фелипе, что я, мол, тебя взять с собой не могу, я не хочу там остаться, и тогда придется остаться тебе, а Фелипе ему: есть у меня одна мыслишка, если ты возьмешь с собой человека, то тебе его придется убить, чтобы одному остаться. Только ведь покойник не сказал, что должны идти два человека, а просто «вдвоем». Можно, значит, взять с собой собаку и идти с ней. Клад выкопать, а собаку потом убить. Приятель согласился. А Фелипе любопытно посмотреть, как тот будет клад откапывать. Решил он за ним подглядывать и видит: приходит приятель с собакой на кладбище и начинает раскапывать могилу. Раскопал, клад вытащил и вынимает нож, чтобы, значит, собаку убить. Только тут она сама на него как прыгнет — и хват за руку, нож-то у него и выпал. А собака, не будь дура, берет нож в пасть и давая своего хозяина резать. Прыгает вокруг него и режет, пока тот в яму не свалился. Говорят, собака сразу из черной сделалась вся белая. Потом выпустила из пасти нож, схватила клад и деру с кладбища. С этих самых пор, говорят, Фелипе и слышать больше не хотел про клады.

.. А жил будто бы этот Фелипе тут, на склоне Монте-Гранде...

Глубокая ночь. Небо укутано облаками, только кое-где их рваные края серебрятся лунным светом. Сиако и Куэто молча продвигаются от дерева к дереву. Иногда останавливаются, прячась за стволами, всматриваются, прислушиваются и снова неслышно идут дальше. Пробираясь сквозь заросли кустарника, вздрагивают от каждого звука. Затаив дыхание гадают: то ли под их ногами треснула ветка, то ли еще кто притаился рядом. И тогда идут совсем тихо, втянув головы в плечи и осторожно раздвигая ветви.

Вот и последнее дерево, низко склонившееся к воде. Сквозь листья чуть различим поблескивающий в черной воде буюк, вокруг которого от невидимых волн то вскипает, то исчезает пенный ореол. Сиако снимает ботинки, за-

ворачивает штанины выше колен и входит в воду. Наклоняется, что-то ищет. Ничего не найдя, возвращается на берег.

— Вчера не было,— говорит он.

— А ты уверен, что сегодня будет? — спрашивает его Куэто.

— Должна быть.

— Опоздает небось.

— Откуда мне знать. Это зависит от многих причин,— говорит Сиако.

Оба присаживаются на камни возле развесистого дерева, меж ветвями которого виден буй. Куэто напряженно всматривается в темноту, пытается различить горизонт, но видит — и то лишь в короткие мгновения, когда вдруг сквозь тучи просочится жидкий лунный свет,— белый гребень пены у отмели метрах в пятидесяти от берега.

— Как ты думаешь, они уже знают? — спрашивает он.

— О чем?

— О переменах у нас.

— Откуда им знать!

— Ну, там небось все известно.

— Это тебе не смена министров.

— Курить хочется,— вдруг вздыхает Куэто.

— Нельзя,— отрезает Сиако.

— А когда нельзя, мне еще сильнее хочется.

Сиако вытаскивает флягу, открывает ее и протягивает Куэто.

— Не буду,— говорит тот.— В сон клонит. Если б кофе — другое дело.

Сиако подносит горлышко ко рту, запрокидывает голову и, судорожно двигая кадыком, пьет. Морщится, вытирает рот рукавом и говорит:

— Вода в море очень холодная...

— Слушай, ты надежное место выбрал? — спрашивает Куэто.

— Будь спокоен.

— Время вот только неудачное.

— Это да.

И опять оба всматриваются в невидимый торизонт. Напрягая зрение, долго сидят молча. Вдруг едва различимую белую линию пены у отмели пересекает что-то черное.

— Смотри! — вздрагивает Куэто, который уже несколько минут вглядывался в смутное черное пятно.

Оба бросаются на землю и тихо лежат на прибрежных камнях, прижавшись друг к другу. Темное пятно, покачиваясь на волнах, приближается к бую. Выглянувшая на миг луна вырывает из темноты три человеческих силуэта в резиновой лодке.

— Трое,— шепчет Куэто, сжимая своей холодной рукой плечо Сиako.

— Тсс-с...

— Рене!.. Рене! — доносится до них короткий, едва слышный зов. Куэто нетерпеливо дергается, и теперь Сиako крепко сжимает ему плечо.

— Рене!.. Рене! — явственнее доносится незнакомый голос. И опять слышен только плеск воды у рифов. Лодка, кажется, начинает удаляться, но голос еще можно различить:

— Рене... Рене...

Сиako встает на колени и негромко, но четко произносит:

— Педро Венадо!

Куэто, притаившись за скалой, видит, как три винтовых ствола нацелились из лодки туда, откуда Сиako подал голос.

— Педро Венадо... Педро Венадо! — чуть громче повторяет Сиako.

В неясном свете луны три фигуры в лодке похожи на призраков. Двое прыгают в воду и приближаются к Сиako, третий ведет лодку к берегу. Куэто тоже выходит из своего укрытия. Винтовки сразу нацеливаются на него.

— Армандо! — узнает Сиako.

Один из троих, самый высокий, кладет руку на плечо Сиako и спрашивает:

— Не слышал нас, что ли?

— Слышал, — отвечает тот.

— Почему же не отвечал? Думаешь, приятно подойти к самому берегу, болтаться тут и каждую секунду ждать, что вот-вот взорвется ракета или вспыхнет прожектор! Ты это учти! И осторожность свою придержи для других слушав.

Лицо Сиako перекашивается в злой гримасе, Куэто стоит рядом и от пережитого волнения глупо улыбается.

— А вы тоже не слышали? — обращается к нему высокий.

— Я, понимаюте... я...

— Да, да, вы!

— Слышал, только...

— Что «только»? За шкуру свою дрожите! Если беретесь за такое дело, надо иметь мужество. Понятно?

Даже в темноте видно, как испуганно вытянулось лицо Куэто.

Двое прибывших быстро разгрузили лодку, сложив под деревом несколько брезентовых сумок и металлический ящик. После этого выпустили из лодки воздух.

— Все трое остаетесь? — спрашивает Сиако.

— Пока трое. Но я и один из них должны скоро возвратиться. Может быть, даже сегодня.

— Сегодня уже невозможно, — говорит Сиако.

— А завтра?

— Посмотрим.

— Никаких «посмотрим»! Это необходимо! А в чем дело?

— Мне передали, что прибудет один.

— Сказали, один, а прибыли трое, — резко перебивает высокий. — И приплыли сюда не прятаться, а дело делать! Понял?

— Понял, только видишь ли...

— Ладно. Сейчас лучше перейти куда-нибудь в более безопасное место! Подготовил?

— Да.

— О'кей.

— Пошли! — командует высокий.

Все пятеро быстро входят в лес. Шагают, спугивая с земли тучи moskitov. Чтобы не потеряться в темноте, держатся друг за друга. Сиако впереди. Заросли так густы, что сквозь них почти ничего не видно. Мокрая обувь путников скользит и цепляется за переплетения корней; не падают они только потому, что крепко держат друг друга за руки. Каждый несет свою долю клади. Тяжелый груз, темнота и густые заросли до предела затрудняют движение. Чем дальше они углубляются в лес, тем удушливее становится густой влажный воздух, наполненный запахом мускуса, мокрого дерева, плесени и прелой листвы. Куэто то и дело запускает свободную руку в карман, где лежат сигареты, — знает, что курить нельзя, но пальцы сами собой тянутся к пачке, вертят, мнут ее. Вдруг он чувствует, как чья-то рука ткнулась ему в живот.

— Жевательная резинка,— говорит сосед и передает Куэто небольшой пакетик.— Далеко еще?

— Место, кажется, неплохое,— доносится из темноты голос высокого.

— Теперь уже близко,— отвечает Сиako.

Упругие ветви бьют по лицу, по груди, острые сучья рвут одежду. Люди движутся как при замедленной съемке, плавно поднимая и опуская ноги. Свист ветра в верхушках деревьев, треск ломаемых веток и звон москитов все больше заглушают гул далекого уже моря.

— Завтра поведешь нас обратно,— говорит высокий.— Что бы ни случилось!

— Здесь! — останавливается Сиako.

Среди деревьев виднеется что-то вроде шалаша: на четырех вбитых в землю рогатинах настлана крыша из лиан и ветвей. Куэто кашляет и платком вытирает лицо. Щеки у него горят, он проводит по лицу рукой — нет ли крови. Приплывшие на лодке переодеваются, двое из них начинают закапывать мешки, Куэто им помогает.

— Когда завтра придешь? — спрашивает высокий у Сиako.

— Трудно сказать, здесь многое изменилось.

— А именно?

Сиako садится на землю и ощупывает исцарапанное лицо. Высокий на корточках подсаживается к нему. Глухим, хриплым голосом Сиako что-то рассказывает, и чем дольше он говорит, тем чаще собеседник прерывает его тревожными вопросами. Порой он кажется ошеломленным.

— Это может нарушить наши планы.— Высокий подходит к одному из своих спутников, который закапывает мешки.— Слышишь, Роби, надо срочно передать сообщение! Тут черт те что творится!

Развращенный человек был Алисио Артеага. Не такой злой, как другие, но вконец распущенный. Дом его здесь сторожил один ублюдок, Томасито. Так, полукровка. Алисио потом увез его с собой в Майами, когда бежал от революции. Я тоже одно время работал в том доме, да только не по мне было то, что там творилось. Хозяйство не интересовало Алисио, наезжал он сюда редко, и то не по делу, а совсем за другим — для гулянок. Привозил, значит, дня на два своих друзей и подружек, и такое там они вытворяли — ужас! Как-то раз Томасито попросил меня помочь ему. Ну я и зашел. Поверите, прямо с ума можно сойти, что там делалось. Гляжу — голые женщины. Трое их было, и все в чем мать родила, только чулки черные надеты. Еще молодую свинью в том доме держали. Томасито брил ее наголо, а перед тем, как приехать гостям, мыл, духами душил и все такое. Ленточку розовую на шею повязывал и выпускал ее в зал вместе с черным кабаном, тоже обритым, вымытым и надушенным. А гости с собой собак привозили. Их тоже — собак-то, значит, — духами брызгали. И все вместе такое там вытворяли! Дом изнутри был очень красиво отделан. В зале шикарный бар, а посредине громадная круглая кровать. И везде зеркала — даже на потолке зеркала были — вот убей, не вру. Как-то

раз пьяный Томасито и мне предложил поразвлечься, но я сказал, что не люблю заниматься такими делами на людях. А однажды у них во время пьянки загорелись шторы на окнах в зале. Да, да! Хотя дом и стоял на отшибе, в горах, а на окнах все равно были шторы. И лампочек множество. Специально держали две машины на нефти — для электричества. Мы, кто тут жил поблизости, просили, чтобы хозяин разрешил протянуть провод и к нашим домам — хоть два-три вечера в месяц, когда он приезжает, тоже посидеть со светом. Не разрешил! Нехороший был человек Алисио. Ну так вот, как-то раз, говорю, загорелись у них шторы. Я в ту пору помогал Томасито: надо было резать поросят, кур и прочее. А тут как раз и загорелось, и мы, конечно, бросились тушить. Боже праведный! Они там голые все и прямо как одурелые какие-то. До того не в себе были, что стали огонь ромом заливать. Прямо ужас, какой испорченный человек был этот Алисио Артеага, но все-таки не самый злой. Что правда, то правда.

Темные полосы ночи еще лежат на небе, постепенно теснимые розовым светом утра, растекающимся из-за гор. Бруно задумчиво смотрит из окна на горы, за которыми пока что прячется солнце. Услышав шаги, оборачивается и видит Пабло.

— Вот это чудо — встретить тебя здесь! — кричит он, поднимаясь и крепко обнимая вошедшего. — Я заметил тебя, как только приехал, но решил не показывать виду.

— И правильно сделал, — перебивает Пабло. — Я тоже тебя сразу узнал.

Несколько мгновений они разглядывают друг друга, как старые товарищи после долгой разлуки.

— А я думал, что ты в Гаване, — говорит Бруно, вглядываясь в лицо Пабло. — Последний раз мы виделись, помоему, в Манагуа. Как живешь-то?

— Да ничего. Уволился, женился и приехал сюда, я ведь родом отсюда.

— И давно здесь? — спрашивает Бруно, жестом приглашая Пабло садиться.

— Да нет, года еще нет, — говорит Пабло. — Но представляешь, как я удивился, когда увидел тебя! И еще больше, когда узнал, что ты — наш новый директор. Ведь

ты сказал тогда в Манагуа, что будешь работать в министерстве внешней торговли.

— Я и работал там, в договорном управлении,— рассказывает Бруно.— А теперь перевели сюда. Посвятили, конечно, в трудности. Только вот после объезда бригад вижу, что трудностей здесь гораздо больше, чем мне говорили и чем даже я мог предполагать. Ты будешь очень нужен мне здесь, Пабло! Как время летит, а? И как мы изменились!

— Только внешне, капитан, внутри я все тот же.

— Нет, и внутри мы переменились,— говорит Бруно и устало прикрывает глаза.

Он вдруг отчетливо вспомнил, как разглядывал себя в зеркале, возвратившись тогда в свой дом... Лауры уже не было, и дом без нее казался пустынным и чужим. И сам себе он тоже казался чужим: изжелта-бледное лицо, уши чудно торчат из-под гривы давно не стриженных волос, огрубевшая кожа, жидкая бородка. Он снял заскорузлую от пота, грязи и крови рубашку и внимательно осмотрел глубокий шрам на плече. Будто и сейчас он ещё стоит в той ванной, впервые за столько месяцев вновь увидев себя в зеркале. Он уже тогда почувствовал, что стал другим не только внешне...

Бруно на миг открывает глаза и видит лицо Пабло, увы, тоже сильно изменившееся. В памяти проносятся картины их жизни в горах, та жуткая ночь в пещере Лазаря, отход через луга, их новый лагерь. И опять он вспоминает Лауру. Он вернулся, а ее уже нет: Дом пуст, хотя в нем и живет его сестра. И никому не заполнить эту пустоту...

— Ты мне очень будешь нужен здесь, Пабло!

— Приказывайте, капитан! — по-военному отвечает тот.

Бруно кладет ему на плечо руку и говорит:

— Завтра я еду в Гавану. Сейчас пойдем поговорим с Серхио, он остается тут за меня. А ты завтра поедешь с Хорхе, поможешь ему провести собрания в бригадах. Внимательно присматривайся ко всему, потом доложишь мне. Понял?

— Да, капитан.

— И не называй меня капитаном.

— Вы для меня навсегда останетесь капитаном, а я вашим сержантом.

— Ладно, но зови меня все-таки Бруно.

— Тогда уж лучше директором.

— Может быть, и так,— соглашается Бруно.— Но странно все-таки звучит — директор. Правда?

Оба улыбаются.

— И воевать здесь нам будет не легче, чем тогда,— уже серьезным тоном произносит Бруно.— Ты знаешь, я собираюсь привезти сюда из Гаваны еще и Кондумио с Луисом.

— Не может быть! — восторженно кричит Пабло.— Ну тогда наведем порядок!

В эти затерянные среди леса домики вечерами, непрощенная, приходит тоска. В потемках еще теснее становятся и без того маленькие комнаты. Клаудиа потерянно бродит из угла в угол. Ее узкое костлявое лицо освещено лишь хмурым блеском глаз. Из леса долетает дыхание холодного воздуха и бесконечный заунывный гул. Тень женщины мечется по стенам, искажаясь, ломается на потолке. Клаудиа шагает из угла в угол, словно плененная птица, всюду натыкаясь на неумолимые прутья клетки. Разобранная постель пуста. Посмотрев с тоской на кровать, подходит к двери. «Сиако опять задерживается». Смотрит на низкие облака, луну, окруженную белым туманным ореолом. Где-то далеко-далеко беззвучно вспыхивают молнии, выхватывая из тьмы вершины гор, и тут же гаснут. Временами налетают порывы ветра, и сосны жалобно стонут. Марипоса, беспокойно снующая у ее ног, тоже начинает подвывать и лаять на облака, на далекие сполохи зарниц. В такие ночи, когда Клаудиа жила еще в родительском доме, бабушка, бывало, заводила свои рассказы о привидениях и оборотнях, о зарытыхкладах. Она даже знала места, где привидения творят свои злые дела, где в темных лесах оживают сказки, где наяву совершаются чудеса или леденящие кровь преступления, а колдовство и волшебство — обычные вещи. И дрожь пробегала по коже от ее рассказов и от плача ветра в сосновых ветвях. «Дождь собирается, а Сиако все нет...» Бабушка рассказывала свои истории и сама не знала, правда это или вымысел. Начинала она обычно в шутовском тоне, будто насмеялась над тем, что говорит, и над теми, кто ее слушает. Но по мере того как продолжался рассказ, голос ее

становился все тише и таинственнее, пока наконец не прерывался протяжным и жутким, словно плач сосен, вздохом...

А стены комнаты, в которой едва приметно пляшет язычок коптилки, подступают все ближе и ближе. «Среди тех, кто играет на петушиных боях, нет ни одного хорошего человека», — предупреждала ее бабушка, и она плакала. Но ей было радостно с ним. Даже его грубые шутки насчет ее маленьких грудей, костлявого лица, одежды, ног или коричневой кожи — все нравилось ей. Она чувствовала, как жаркая кровь приливает к щекам, когда он был в хорошем настроении и шутил. Она ждала его в зарослях бутенвиллеи. Он приходил, брал ее за руку, уводил в самую чащу, там крепко обнимал и целовал, до крови кусая губы... А когда они возвращались в темноте по едва различимой в лунном свете дороге, ей было немножко страшно. Сиако без умолку рассказывал всякие истории из городской жизни, о том, как он бывал в Гаване.

Дома сестры, завидев ее, начинали шуткушиться и хихикать. От зависти, конечно. Им было завидно, что у Клаудии появился жених, носивший гуайабери* и дорогую шляпу и побывавший в Гаване. Очень радостно ей было тогда, хотя бабушка и ворчала: «Среди тех, кто играет на петушиных боях, нет ни одного хорошего человека...»

А темнота все сжимается и сжимается вокруг нее. И часы тянутся бесконечно. «Сиако опять задерживается». Тоска в потемках просто невыносима — бережит душу, сжимает горло и вдруг прорывается глухими рыданиями. Едва сдерживая их, Клаудия ложится в постель. Кружится голова. А в голове кружатся воспоминания...

Они с Сиако в городе. Вдвоем. На ней новые туфли и платье — это он ей купил. Вот они идут в кино. Кругом огни. Они горят всю ночь — и когда Сиако ласкает ее в номере гостиницы, огни прыгают в его глазах, и когда они идут по улице, а она вертит во все стороны головой — прежде она не видела столько огней. Потом они строили дом — вот этот самый. Сколько хлопот было с ним. Возводили его по досочке. Она все время помогала мужу. И вот наконец однажды в воскресенье дом был закончен. Сиако как раз выиграл на петушиных боях. Собрались друзья, родствен-

* Гуайабери — длинная полотняная сорочка навыпуск с красивой отделкой.

ники. Даже бабушка пришла. Подойдя к Клаудии на кухне, где та жарила поросенка, сказала: «И все-таки помни мои слова: среди тех, кто играет на петушиных боях, нет ни одного хорошего человека». На этот раз Клаудиа, разумеется, не стала плакать, а улыбнулась, улыбнулась оттого, что чувствовала, как внутри ее рождается что-то новое и растет, растет, как веточка, поднимаясь сначала к груди, которая наливается новыми соками, а потом и к губам, которые, раскрывшись прекрасным цветком, прошептали: «У меня будет ребенок». Она вспоминает, какое лицо сделалось при этом известии у бабушки, потом у матери, потом у Сиако. Все они сейчас проносятся перед ее глазами, устремленными вверх, их лица, озаренные неровным пламенем коптилки, дрожат, расплываются на потолке. Клаудиа прислушивается к шуму ветра, прилетевшего с гор и раскачавшего сосны, которые вместе с ним затянули тоскливую, бесконечную песню. «А Сиако опять задержался». Старший сын был бы сейчас уже большой, настоящий мужчина. Но случилось иначе. И вот она одна. Одна. Лучше умереть, чем так жить. И снова в ее ушах звучит голос Сиако: «Замолчи! Да замолчишь ты наконец?!» — а потом: «Ну ладно, успокойся...» И слова старухи гадалки: «Бог даст тебе детей, чтобы были они тебе утешением в трудной жизни». Бог! Где ты, бог? Где вы, мои дети? Конечно, с ними все было бы по-другому. Если бы выжили. Если бы не погибли, как преждевременно увядшие листья. «Я тебе покажу! На куски изрублю!» Меня, Сиако? Меня изрубить? Раздается удар грома, и Клаудиа начинает трясти.

Да, да, полураздетые солдаты — и все с медалями. Не веришь, спроси у Томасы. В Слепом бору есть одна поляна. В самой середине. Очень странная поляна. Я сам ее видел, своими глазами. Никто не знает, почему там ничего не растет. Голая, как арена в цирке, который приезжал к нам в деревню из Монтальво. В самой глубине бора она, значит, и находится. Да и ты, наверно, бывал на этой поляне. Так вот, говорят, что иной раз лунной ночью появляются там золоченые кресла, а в них сидят солдаты и все, как один, спят. Приходят они, видишь ли, чтобы поговорить между собой, поспорить, обсудить кое-какие вопросы, но как сядут, так сразу и засыпают. Одеты в форму, рва-

ную-прерваную, а на лохмотьях галуны и медали. Но увидеть их там можно, только подкравшись совсем тихо, потому что, чуть шум какой, они, значит, сразу просыпаются — и поминай как звали. Ходил я туда раза два или три, но без шума никак невозможно: то ветка какая-нибудь треснет, то сучок обломится — и все пропало. А может, это просто брехня бабки Томасы, повитухи. Ты же ее знаешь...

Мерседес, словно ветерок, пролетает через двор. Она бежит босиком, длинные светлые волосы развеваются за спиной. Остановившись в дверях курятника, берет банку и пригоршнями бросает корм. Роса весело поблескивает на ее голых икрах. Высокая трава окропила ее ноги, вымочила край юбки.

Закрыв дверь, Мерседес поднимает вверх руки и блаженно потягивается, вдыхая прохладный утренний воздух. Срывает былинку, сует ее в рот и, захватив ведро, отправляется доить корову. Небо покрыто густыми низкими облаками. Над гребнями гор едва занимается какой-то тревожный необычный рассвет. Из коровника девушка идет, напевая и слегка напрягаясь от тяжести полного подойника. Отдав его матери, бежит переодеваться. Волосы собирает в пучок, накидывает платок и туго завязывает его под подбородком. На платок надевает сомбреро и смотрится в осколок зеркала, висящий на стене. Показав себе язык, стремглав летит на кухню, выпивает залпом стакан молока и наскоро целует мать.

— Застанет тебя ливень, Мерседес. И на тракторе не успеете добраться. Не ездила бы.

— Застанет не застанет — все равно поеду. — Мерседес еще раз целует мать. — Потопа не будет, а вымокну, так не я же одна.

— Послушай, Мерседес...

Но Мерседес уже спешит к калитке: снаружи слышен рокот трактора. На прицепе полно женщин, одна из них протягивает Мерседес руку, и та со смехом взлетает вверх.

После того случая, когда Мерседес рассердилась на подруг, они уже не решаются подшучивать над ней. Только посматривают да молча улыбаются. «Лучше бы уж говорили, — думает Мерседес. — Все равно ясно, что у них на уме...» Слышатся первые удары грома. Мерседес усажи-

вается на пол прицепа. «А вообще-то, чего хорошего целоваться?» — мелькает у нее в голове.

Кто-то из женщин кричит:

— Хесус, поторапливайся, не то промокнем до нитки!

Поглаживая подарпанную щеку, Сиako смотрит на небо, уже наполовину закрытое огромной черной тучей. Под ней, едва различимые с земли, кружат коршуны. Вокруг все притихло. Неподвижный воздух словно насыщен электричеством. Ни один лист не шелохнется. Все предвещает близкую грозу. Кобыла беспокойно перебирает ногами, кусает удила и нервно прядает ушами, то и дело встряхивая головой, нетерпеливо машет хвостом. Поставив ногу в стремя, Сиako оборачивается и говорит Куэто:

— Ты-то, может быть, и доберешься, а я наверняка застряну.

— Гроза, видать, собирается нешуточная, — отзывается Куэто. — Туго им придется.

Его джип трогается. Минуту Сиako наблюдает за ним, а потом резко вонзает шпоры в бока кобылы. От неожиданности та дергается, скользит по сырой траве и падает.

Клаудиа вздрагивает. Яркий голубоватый свет освещает всю комнату. Марипоса, повизгивая, прыгает в постель к хозяйке. Женщина осеняет дверь крестным знамением, и тут же, где-то совсем рядом, раздается страшный грохот, будто раскололась земля. Дрожащими руками Клаудиа вынимает из-под подушки освятенную ветку гуано и ею снова крестит дверь. Задыхаясь от страха, она подходит к порогу. Марипоса трусливо жмет к ее ногам. Шерсть на спине собаки поднялась дыбом. «А Сиako все нет».

До самого утра Клаудиа так и не сомкнула глаз. Лицо ее осунулось, скулы остро торчат под бледной кожей. Она медленно проводит ладонью по глазам и вглядывается в пустынную дорогу, уползающую в серый рассвет. Никого. Притихший в тягостном ожидании лес, низкое, словно угрожающее небо. «Сиako, наверно, уже не вернется сегодня».

Бруно стоит в дверях конторы и наблюдает за игрой ослепительных молний над грядой гор. Прессовывает руку под рубашку, гладит шрам.

— Гроза вот-вот начнется, — к нему подходит Пабло. — Болят?

— Мой барометр, — криво улыбается Бруно.

Он усаживается в «газик», но в это время из конторы выходит Серхио.

— Ты что, в такую погоду поедешь?

— Надо, — отвечает Бруно, снова поглаживая шрам.

— Сколько пробудешь в Гаване?

— Постараюсь как можно меньше. Ну счастливо!

Машина поднимается на насыпь, далеко впереди над вершинами хребта вспыхивают и гаснут молнии.

Нати разливает кофе. Клементе, стиснув челюсти, внимательно наблюдает за ней. «Почему по утрам он всегда так смотрит на меня? Или я снова во сне разговаривала?» — думает она.

И правда, с тех пор как они встали, муж не сводит с нее глаз. Ничего не говорит, только смотрит. И уходит, так и не сказав ни слова.

Издалека долетают раскаты грома. Нати наклоняется над очагом и раздувает огонь. Вдруг нестерпимо ярким светом близкая молния озаряет все вокруг. И, как бы следуя этому сигналу, на землю обрушиваются новые молнии, грохочет гром. Нати поспешно отыскивает освященный коровий помет и зажигает его, чтобы уберечь дом от грозы. Кухня и комната наполняются едким дымом. Присев на стул, она задумчиво рассматривает скатерть в белую и красную клетку, потом снимает ее со стола и кладет на кровать. Вот уже два дня, как Сиакто не приезжает к ней. Что могло случиться?

Через открытую дверь видна сиротливо висящая во дворе веревка... Нати поднимается и медленно начинает раздеваться, складывая одежду на кровать рядом со скатертью. Сбросив с себя все, подходит к двери. Воздух наполнен запахом мокрой травы. Зябко поводя плечами, Нати собирает волосы на затылке в большой пучок. «Как только начнется ливень, — думает она, — выйду во двор. Дождь омоет меня, и волосы будут лучше виться, станут мягкими, пышными...»

ЧАСТЬ II

Гавана очень красивая, будто вся из стекла, и поэтому кажется голубой. Я и раньше так думал, хотя до этого ни разу там не был. Все сорок лет провел среди этих вот гор и дальше Байахи не ездил. А тут на праздник 26 июля поехал в Гавану. Господи боже мой! Прямо чудо какое-то, никогда раньше не видел я таких ярких красок. Так жене и говорю: Гавана вся будто раскрашена. Ночью, правда, на небе там не так много звезд, как здесь, у нас. А что от звезд толку-то? Зато там огни везде: в витринах, в окнах, на улицах, даже от земли отражаются. И все разноцветные. Понимаешь, прошел у них там, к примеру, дождь, да и не дождь, а так просто побрызгало немного, и пожалуйста — мостовые стали как зеркало, только черное, и в них отражаются огни всех цветов: и красные, и желтые, и зеленые... А фары автомобилей так и чиркают огнями по мостовой. Очень красивая Гавана. Будто вся из стекла. А кажется голубой... Я про нее все время жене рассказываю...

Сорванные с деревьев листья стремительно кружатся над дорогой. Пробиваясь сквозь этот вихрь, «газик» ползет вперед. Молнии сверкают так часто, что сливаются в одну длинную вспышку, гром сплошным гулом катится над землей. Первые капли дождя, редкие и крупные, с силой ударяют по пересохшей дороге, поднимая фонтанчики пыли. В воздухе сразу же запахло мокрой землей и зеленью.

Запах такой густой, что кажется, будто земле вспороли живот. Потом ветер и дождь сразу стихают, и красные пятна влажной глины мгновенно бледнеют — пыль и раскаленная земля жадно впитывают воду.

— Хорошо, если удастся проехать, — говорит Хорхе.

Вдруг неестественно голубая вспышка освещает дорогу, и тут же воздух раскалывает удар грома. Справа, не-вдалеке, загорается эвкалипт. Охваченный пламенем, он словно тянется к серому, низко нависшему небу. Хорхе останавливает машину и вместе с Пабло бежит к горящему дереву. Быстро работая мачете, они вырубают вокруг сухую траву и кустарник. И тут будто языки пламени прорвали тучу, дружно ударили по земле частые и тугие струи дождя. Эвкалипт обволакивают густые клубы дыма. Хорхе и Пабло, спасаясь от дождя, бегут к машине. Из окна ее видно, как дым вокруг горящего дерева светлеет, смешиваясь с паром, а само оно, еще раскаленное, светится золотым огнем. Хорхе нажимает на педаль акселератора, трогая машину, а Пабло никак не может оторвать взгляд от огненно-золотистого эвкалипта, резко выделяющегося на мокро-зеленом фоне остальных деревьев.

— Поторапливайся! — то ли себя, то ли машину подгоняет Хорхе.

Проливной дождь дробно стучит по брезентовой крыше «газика». Дорога теперь окрашивается в темно-красный цвет, вода растекается по ней, превращая пыль в жидкое месиво.

— Проскочим? — тревожно спрашивает Пабло.

— Может, и проскочим, — бросает Хорхе, напряженно всматриваясь в дорогу.

Порывистый ветер раскачивает, гнет эвкалипты, образуя в сплошной стене дождя крутые водовороты. «Газик» скользит и буксует в грязи, его то и дело заносит в сторону. Наклонившись вперед, Хорхе пытается разглядеть изгибы дороги сквозь слой воды на ветровом стекле.

— Сколько времени нам понадобится на каждую бригаду? — спрашивает Пабло.

— День.

— Думаешь, хватит?

— А что там делать? Проведем собрание, и все.

— Это правильно, но мы должны еще поговорить с теми, кого не будет на собрании, кто не выходит на работу. До них ведь тоже надо довести распоряжение.

— Новый директор человек, видно, вьедливый. А когда смотрит на тебя — всего, кажется, насквозь видит. Вы с ним раньше знакомы были?

— Да...

— А по горам как лазит! — присвистнул Хорхе. — Тут на днях так меня вымотал! Мы с ним на Сторожевую поднимались. Похоже, пришлось ему по горам полазить.

— Кто на Кубе в наше время не лазит по горам! — улыбаясь, отвечает Пабло.

Временами стук дождя по крыше заглушает голоса. Колеса «газика» все чаще пробуксовывают в грязи. Небо то и дело прорезают молнии, яркими вспышками отражаясь в лужах. Одной рукой Хорхе крепко вцепился в руль, другой все время протирает ветровое стекло, запотевшее от духоты в кабине. Теперь оба напряженно молчат, лишь изредка обмениваясь быстрыми взглядами. Только подъехав к реке, они с облегчением вздыхают: вода, хотя и поднялась высоко, моста еще не залила.

— Кажется, проскочили! — вырывается у Хорхе.

До них доносится непрерывный нарастающий гул. Поток, готовый выпрыгнуть из берегов, бурлит и пенится в бешеных круговоротах. Пройдя узкие створы моста, он растекается шире, и тогда вода немного успокаивается, хотя долго еще продолжает вздрагивать, будто кожа живого существа после недавних ужасов. На ее поверхности пляшут обломанные ветви и корни деревьев, рыжие клочки пены, перемешанные с листьями. Но вот снова накатывает мощный вал, в котором, словно спичка, вертится ствол большого дерева. Раскрутив дерево посильнее, вода с силой ударяет им о мост.

— Какого лешего мы ждем? — кричит Пабло.

«Газик» медленно вползает на мост.

— Очень люблю смотреть на наводнение, — говорит Хорхе, — хоть и знаю, что оно несет с собой, а люблю.

Шины скользят по мокрым доскам моста. Хорхе, с трудом удерживая руль, выводит наконец машину на другой берег, в густую дорожную грязь.

Местность холмистая, дорога то идет в гору, то спускается в неглубокие долины. Временами кажется, что дождь стихает, однако, чуть передохнув, он начинает хлестать с новой силой.

* — Ну как тебе распоряжение директора? — спрашивает Пабло.

— Я его еще не видел. Если можешь, прочти сейчас.

Когда Пабло заканчивает чтение, Хорхе приглаживает рукой волосы и задумчиво говорит:

— Это коснется всех. А кое-кого не просто коснется, но и крепко ударит. Да, этот парень круто берет.

Пабло не отвечает.

Сквозь брезентовый верх в машину начинает просачиваться вода. А дождь льет и льет, подхлестываемый вспышками молний. Колеса «газика» проваливаются в глубокую лужу и, разбрызгивая грязь, вращаются с бешеной скоростью. Но машина остается на месте. Пабло выходит, осматривает машину.

— Мать честная! — удрученно произносит он.

Хорхе резко жоддает газу, машина дергается, кажется, вот-вот выскочит, но вновь расслабленно скатывается вниз, и колеса почти до самого верха утопают в грязи. И чем больше газует Хорхе, тем глубже зарываются колеса, разбрасывая во все стороны фонтаны жидкой глины. Из-под капота поднимается синеватый дымок. Ничего не поделаешь: вооружившись мачете, Хорхе и Пабло вылезают под дождь и начинают рубить ветви придорожных кустов.

— Чертовы дороги! И чем только занимается Таньо на своем бульдозере! — возмущается Хорхе.

Пипе чудом остался в живых. Когда увидите его, загляните ему в рот, посмотрите, какой у него впереди зуб маленький. Понятно, ни ему, ни Альберто не нравится, когда об этом напоминают. К тому же и Сикста уже умерла...

Сперва у нее, стало быть, родился Альфредо, потом Альберто. Он, выходит, вторым был, а потом-то все и началось. Говорят, что Сикста третьего носила, но ребенок родился мертвым. Потом еще два раза детей ждала. Рождались они и тут же помирали. А когда в четвертый раз забеременела, Томаса, говорят, и сказала ей: «Ты что же своего Альберто не лечишь?» Сикста ей в ответ: «А чего его лечить-то? Мальчишка, сама видишь, ничем не болел». — «Ну так вот, — говорит ей Томаса, — не будешь лечить, и четвертого не родишь. Потому что этот парнишка — Альберто, стало быть, — у тебя абику*». Так, значит,

* Абику — в старинных негритянских легендах — братоубийца.

сказала ей Томаса. И еще добавила: «Когда ты в те разы была беременной, он смотрел на твой живот и приговаривал, чтобы ребенок живым не родился. Так и выходило». Тут, говорят, Сикста побледнела и спрашивает: «Что же теперь делать, а, Томаса?» А та ей в ответ, что пускай, дескать, Сикста не беспокоится, она, то есть Томаса, все сама устроит: побрызгает, стало быть, Альберто святой водой, и тогда Сикста благополучно родит. Но когда Томаса все сделала как надобно было, вдруг опять приходит к Сиксте и говорит, что дело плохо оборачивается, что мальчишка-то уж больно нехороший абику. «Что значит нехороший абику?» — спрашивает Сикста. А Томаса не отвечает, только твердит: «Одно может тебя спасти — если ребенок родится с зубами. Если же нет, то Альберто опять сглазит его, потому что он совсем плохой абику» — и пообещала следить за этим делом и принимать нужные меры до самых родов. Когда пришло время рожать, повитухой была, конечно, Томаса. И первое, что она сделала, когда приняла ребенка, — открыла ему рот. Да как закричит: «Выживет, выживет!» Потому что у Пипе было два зуба. Но через несколько дней он заболел, горячий весь сделался, как огонь. Сикста опять побежала за Томасой. А та говорит, что это Альберто хочет его убить. Но пока зубки у Пипе не выпадут, опасности, мол, нет. А коли выпадут, тогда ничего не сделаешь — умрет! И вот через день выбегает Сикста с криками на улицу, вся в слезах, опять зовет Томасу — у Пипе выпал один зуб. Тут даже Томаса перепугалась, позвала Карлоту — другую старую негритянку, тоже известную на всю округу. Пока они шептались между собой, Сикста упала без чувств: мало того, что жар у ребенка не пропадал, — второй зуб стал у него шататься. Тут старухи надумали связать Альберто и увести с глаз долой. Три дня стоял он привязанный к большой сосне здесь, на склоне. А у Пипе жар сразу прошел и зуб не выпал... Альберто и сейчас живет там же, в Монте-Гранде, а Пипе в Лас-Десеадас. Когда увидите его, посмотрите, какой маленький зуб у него впереди. Так и не выпал... Понятно, я говорю это только вам. Пипе и Альберто очень не нравятся такие разговоры.

Заметив, что Марипоса начинает волноваться, Клаудиа выглядывает за дверь и сквозь завесу дождя видит приближающегося Сиако. Несмотря на ливень, он словно и не

торопится. Кобыла, до самого живота заляпанная грязью, идет, припадая на переднюю ногу. Только поравнявшись с дверью, Сиако спрыгивает с лошади и ласково шлепает ее ладонью по хребту. Взглянув на Клаудиу и ничего не сказав, берет кобылу под уздцы и отводит под навес. Клаудиа тоже молча наблюдает за ним. Сиако не спеша снимает седло: наклоняется и внимательно осматривает переднюю ногу животного, слегка поглаживая ее рукой. Кобыла нервно шевелит ушами и приседает на задние ноги. Закончив осмотр, Сиако нежно треплет лошадь по морде, хлопает ее еще раз по спине и наконец направляется к дому. Но смотрит не на Клаудиу, а на лужицы в следах, оставленных копытами. И, только проходя мимо жены, которая посторонилась, пропуская его, бросает:

— Ну и гроза!

Клаудиа не отвечает, разглядывая царапины на его лице, разорванную рубашку и забрызганные грязью брюки. Сиако стаскивает сомбреро и зажмуривается — вода с полей шляпы окатывает ему лицо. А женщина по-прежнему стоит в дверях, не решаясь ни обратиться к нему, ни заглянуть в его холодные, непроницаемые глаза. Подойдя к кровати, он торопливо снимает рубашку и отжимает ее на пол. В том месте, где рубашка разорвана, — от груди до плеча протянулся кровавый рубец. Широко раскрытыми, испуганными глазами Клаудиа смотрит на кровь, но спросить боится, чувствуя, что муж не в настроении. Сиако озабоченно морщит лоб, по которому, словно густое масло, медленно стекают капли воды, берет бутылку и долгими глотками пьет из горлышка. Оторвав бутылку ото рта, встряхивается всем телом, как курица после дождя. Мутные, глубоко сидящие глаза его оживают. Взяв Клаудиу за плечи, он спрашивает:

— Что так смотришь?

— Опять я всю ночь просидела одна.

Сиако проводит рукой по ее шее.

— В последнее время все у меня не задается, — говорит он мягко. — Думал вернуться пораньше, да вот поехал с Куэто к его приятелю сыграть партию-другую в домино, и, как назло, сломалась машина. Пока чинили, началась гроза. Всю ночь провозились. А утром, когда уж обратно ехал, кобыла поскользнулась и свалилась в овраг. Чуть

ногу не сломала. Я все время думал о тебе — знаю ведь, как ты грозы боишься..

Клаудиа дотрагивается до свежей царапины на его груди:

— А это откуда?

— Это когда кобыла упала. Весь испарапался, — отвечает Сиако. — Вот посмотри: и тут, и вот тут.

Клаудиа содрогается от жалости.

У него, рассказывают, на ступнях дырки остались от сапожных гвоздей величиной с песету; как хбтите, а я всегда считала, что первая наша беда — это пыль, вторая — грязь, и третья — ночи. Но самое страшное — грозы. Людей убивает почем зря, кого хочешь и где хочешь. И спрятаться от них невозможно...

Говорят, Пипе в тот раз лежал на кровати, а одну ногу спустил на пол. И вот в ту самую ногу, которая лежала на кровати, его и ударило. Так шарахнуло, даже ботинок сорвало. Молния вроде бы ударила в задний угол дома, попала в спинку кровати, а потом в него. Вот и судите сами, как тут у нас живется. Я всегда говорю, что, если молния кому-то, к примеру, предназначена, она все равно его найдет, где бы он ни притаился. Тут, конечно, что можно сделать? Можно быстро сесть на стул, поджать под себя ноги и тысячу раз повторить «Иисус Христос». Но и это тоже не всегда помогает...

Бруно торопится. Ему не терпится рассказать в министерстве о том, с чем он столкнулся на новом месте, и обсудить свои планы. Мысли его бегут быстрее, чем машина по мокрому асфальту дороги.

Шоссе то же самое... За серой стеной дождя мелькают деревья, телеграфные столбы, а между ними, поднимаясь и опускаясь, летят провода... Люди, их лица, отдельные сцены всплывают в его памяти. Одни события предстают перед его мысленным взором совершенно ясно, другие словно через какую-то пелену.

Шоссе то же самое... И не столбы это, и не деревья мелькают вдоль дороги, а люди, выстроившись по пыльным обочинам, радостно приветствуют их, размахивая

флагами и сомбреро. Яркое январское утро... Их небольшой отряд проезжал тогда по этим местам. В голове колонны на джипе ехал он, Бруно, с Луисом, Кондумио и Фроиланом. У Луиса еще не зажила рана на лице. Сзади шла полицейская машина, захваченная отрядом на шахте, синий «лендровер» и грузовики, реквизированные на лесопилке...

Щетки стеклоочистителя, словно маятники, ходят взад-вперед перед глазами. Дождь все усиливается. Бруно немного сбавляет скорость. Поля уже почти неразличимы сквозь густую водяную завесу, а Бруно видит яркое солнце, радостные лица людей, стоящих у кюветов. Над головами, как победные факелы, весело полощутся флаги. «Бывают в жизни минуты, когда все обретает свой истинный смысл, таким был тот день», — думает Бруно. У одиноких домиков при дороге мужчины и женщины останавливали их, обнимали, щупали бороды. Подняв вверх руки, люди приветствовали победу. Многие забирались на грузовики, чтобы вместе с ними ворваться в город. Им выдавали оружие. Но вот уже грузовики набиты битком, и лишнего оружия тоже больше нет. Мужчины прихватывают свое: кто револьвер, а кто охотничье ружье или старую винтовку. Чем ближе город, тем труднее становится ехать. У Кондумио на коленях небольшой приемник. «...Внимание! Продолжаем сообщения о событиях в столице. Во главе республики встал его превосходительство доктор Пьедра, председатель верховного суда. Генерал Кантильо взял на себя командование армией, а полковник Ледон — полицией...»

— То есть как это?! — возмущенно воскликнул Кондумио.

— Гады! — отозвался Луис.

У Бруно передернулось лицо. Жилка на виске так жаростно пульсировала, что казалось, вот-вот прорвет кожу.

— Полный вперед! — скомандовал он. — Никаких остановок! Надо как можно быстрее добраться до Гаваны.

— Думаешь, придется драться? — спросил Фроилан.

— Не знаю. Только в Гавану, во что бы то ни стало!

А по сторонам дороги праздничная толпа. Люди приветливо махали руками: «Революция! — кричали. — Да здравствует революция!» Машины отряда двигались по людной дороге с зажженными фарами, беспрестанно сигналя. В головном джипе все молчали. Но вот Кондумио

поймал другую станцию: «...Говорит «Радио Ребельде» *! Говорит «Радио Ребельде»! Передаем приказ верховного командования. Наши войска ни в коем случае не должны прекращать огонь, продолжая операции против неприятеля на всех фронтах. Прекращение огня разрешается лишь для приема парламентариев противника, согласного на безоговорочную капитуляцию. В столице, судя по сообщениям, произошел государственный переворот. Нам неизвестны его обстоятельства, поэтому военные действия должны продолжаться до тех пор, пока от нас не поступит иного распоряжения. Приказ о прекращении боевых действий будет отдан только в том случае, если военные части, поднявшие восстание в столице, прекратят борьбу и отдадут себя в руки революционного командования...»

Отряд приближался к городу. Теперь никто уже не обращал внимания на просьбы жителей взять их с собой. Остановку сделали лишь на окраине, когда Бруно заметил в толпе двух бородатых парней, узнав в них бойцов из отряда Максимо.

— Как дела? — крикнул он.

— Город уже наш, — ответил один из бойцов, — гарнизон сдался без единого выстрела.

— А Максимо где?

— Ищет полковника...

Когда Бруно въезжает на городскую улицу, дождь прекращается, но по обочинам шоссе еще бегут ручейки. В окне машины мелькают мокрые новые скамейки в пустынном парке. Очередь у автобусной остановки на углу возле кино... А часы на церкви, как и тогда, показывают половину четвертого. «Будто время остановилось, а ведь на самом деле сколько событий произошло за эти годы! — думает Бруно. — Как все переменилось!..»

Припомнилась ему одна старушка. Она стояла на краю тротуара, размахивая белым платком, и со слезами на глазах кричала: «Сыночки! Сыночки родные мои!» Так и осталась она в памяти с белым платочком возле бензоколонки, возле вот этой самой, где теперь красуется вывеска ИКП **.

* Радиостанция повстанческой армии Фиделя Кастро.

** Кубинский институт нефти.

...Говорят, что и дождя-то почти не было, только гром громыхнул. А Нано, значит, ехал верхом. Вдруг всего его охватило пламя, и он так и вылетел из седла. Лошадь тут же на дороге повалилась — кишки наружу. А Нано тоже, говорят, лежал словно мертвый. Ну, кто видел все это, подбежали к нему, подхватили — и скорей в город. Врачи никак не хотели верить, что все оно так и было, как им рассказывали, пока их самих не привели на то место и не показали убитую лошадь. Только тут и поверили. Поверили, но все равно очень удивлялись. Они, видишь ли, определили, что молния ударила Нано в голову, прошла, значит, по всем костям до ног и через шпоры попала в живот лошади. После этого Нано долго еще был как чокнутый. Теперь поправился. Сюда частенько заходит. Очень ему нравится рассказывать об этом случае. Когда придется встретиться с ним, попросите, чтобы он показал пять черных пятнышек, которые остались у него на коже от той молнии.

С того дня дождь всегда напоминает ему о Нати.

На улице льет как из ведра. Струи дождя, подхваченные порывами ветра, окатывают стены дома. Да, с тех самых пор, как только начинается дождь, он сразу вспоминает Нати. Тогда тоже был такой же ливень, и он смотрел на нее, лежавшую на мокрой земле под проливным дождем.

Сяко просовывает руку под подушку, ласково ощупывая приемник и пистолет. Он думает о Нати и еще о том,

как там у этих троих идут дела. Смотрит на Клаудию, раздувающую в печке огонь. От углей разлетаются искры, в сыром воздухе ползут белые струйки дыма. Пока Клаудия дует, пламя подскакивает высоко вверх, а потом, капризно извиваясь, снова прячется в углях. Сиако смотрит, как неровный свет уродует ее и без того некрасивое костлявое лицо, и думает о Нати, о той Нати... тогда на траве: ее лицо, сперва сведенное гримасой страха, потом стало мягким, словно влажная земля.

— Завтрак сейчас будет готов, — говорит Клаудия.

Сиако прислушивается к барабанной дробі дождя по крыше, по дощатым стенам... И тогда был такой же ливень. Гроза застала его недалеко от ранчо Клементе, и он решил укрыться в их доме. До того дня Нати для Сиако была просто женой Клементе. А теперь, как только начинается дождь... Он слышал, будто она свела с ума не одного мужчину. Много о ней всякого рассказывали. Но к нему она всегда относилась с холодком и держала его на расстоянии. А теперь у него озноб пробегает по коже при одной мысли о ней, и все тело будто иголками покалывает.

...Он прищипорил кобылу и, влетев на вершину холма, увидел внизу неказистый, почти вросший в землю домик, который словно сжался, пытаясь укрыться от дождя. И тут же сквозь шум ветра и ливня до него донесся смех. Может быть, смех, а может быть, и песня — за шумом было не разобрать. Но то, что он увидел, когда подъехал ближе, заставило его резко остановиться: возле дома прохаживалась совершенно голая женщина. Он ошеломленно смотрел на нее, не веря своим глазам. А придя в себя, быстро соскочил на землю и, привязав кобылу к дереву, крадучись пошел к дому. Пригибаясь и стараясь не шлепнуть ветками, он пробрался через заросли кустарника и очутился совсем рядом с женщиной. Это была Нати. Она не видела его и даже не подозревала, что кто-то в такую непогоду может подсматривать за ней. Струйки воды сверкали, стекая по ее коже, а мокрые распущенные волосы падали на плечи и спину. Нати смеялась. А может быть, пела или плакала... Он совершенно позабыл о дожде, в груди его пылал огонь, жар разлился по всему телу. Словно замороженный, он неотрывно следил за каждым жестом женщины, за тем, как она двигалась, медленно и напряженно. Не владея собой, Сиако с шумом вылез из кустов. Увидев его, Нати вскрикнула, прикрыла грудь рука-

ми и, присев, замерла, испуганно вращая большими влажными глазами.

— Ради бога, Сиако... Не надо. Уйди отсюда, Сиако! Уйди ради бога!

А он, зачарованный, смотрел на нее, на ее мокрую, блестящую кожу, на ручейки волос, стекающие по плечам и спине.

— Не надо, Сиако... Прошу тебя, ради всего святого. Не надо... Уйди!

Ничего не соображая, Сиако сделал еще один шаг к ней. Нати хотела броситься бежать, но ноги не слушались ее, она поскользнулась и упала. Он смотрел на нее, лежавшую совсем рядом на мокрой земле, и на какой-то миг ему показалось, что женщина ждет его. Только на миг. Нати тотчас вскочила, снова скрестила на груди руки и сжалась в комок. Он опять шагнул к ней, и опять, а она, не сводя с него глаз, влажных от дождя и слез, все отступала. Теперь Нати не говорила ни слова, только смотрела на него. И он молчал, срывая с себя одежду. И лишь потом, уже в кустарнике, она разразилась рыданиями.

— Сиако, ведь Кlemente может прийти... Уйди, Сиако,— бормотала она сквозь слезы.

Но Сиако закрыл ей рот своим. Рыдания стихли. Он почувствовал, как губы ее становятся мягче, податливее, широко раскрытые глаза не моргая смотрели на него. Руки ее вдруг крепко сжали его спину, и она опустила веки. По ее лицу стекали струйки дождя. Потом, через много месяцев, Нати сказала ему: «Это твоя кожа была всему виной. Она у тебя такая теплая, а я тогда замерзла. И до сих пор мне больше всего нравится твоя кожа. Посмотри, какого она у тебя цвета!словно вялый табак. И теплая...»

Сиако ласково гладит под подушкой пистолет и смотрит на Клаудиу, склонившуюся над очагом. Запах подгоревшего масла разносится по комнате. Дождь стихает.

...Говорят, что настоящие лешие маленького роста, горбатые, и пупок у них торчит наружу. Они бродят, значит, с сигарой в зубах по лесным дорогам и подстерегают женщин. И никто, говорят, их не может догнать, потому что ступни у них повернуты назад; тебе кажется, что ты его догоняешь, а на самом деле он убегает все дальше...

Ветер стряхивает капли с обвисших под дождем ветвей. От леса идут сладковатые испарения. Это запах земли и мокрых прошлогодних листьев, устилающих ее мягким ковром.

Когда Хорхе и Пабло подъезжают к Лас-Десеадас, женщины снова работают в питомнике. Увидев «газик», Мерседес вся преобразается, глаза ее радостно вспыхивают. И угасают.

После дождя поселок кажется совсем иным. Ливень прибил пыль и дочиства вымыл воздух. Вокруг все играет первозданно свежими красками. Возле столовой мокрые еще куры деловито ковыряются в грязи, отыскивая сбитых дождем насекомых.

Приехавшие знакомят Аресию с распоряжением директора, говорят, что его нужно довести до сведения каждого местного жителя и как можно скорее созвать общее собрание.

— Работы из-за дождя прекратились, — говорит Аресию. — Народ разбрелся по домам. Остались только те, кто занят здесь, в питомнике.

— Надо как-то известить людей и собрание провести сегодня же.

— Раз надо, сделаем, — отвечает бригадир и тут же распоряжается: Хесус на своем тракторе привезет народ из Ла-Сехи, Армандо и Пипе пройдут по всем хуторам, а сам он соберет тех, кто живет в Эль-Деррумбадеро.

— Ты знаешь, где дом Сиако? — обращается он к Хорхе.

— Да.

— Ну так по дороге заедешь и скажешь ему о собрании. Значит, в шесть?

Марипоса с лаем выбегает на дорогу. Кобыла, слышав из своего стойла шум мотора, беспокойно перебирает ногами.

— В чем дело? — спрашивает Клаудиа, выглядывая из двери. — Случилось что-нибудь?

— Ничего не случилось, — отвечает ей Хорхе. — Просто сегодня в поселке общее собрание, и мы заехали предупредить вас об этом. Сиако дома?

— Скажи им, что я не могу пойти на собрание. У меня приступ астмы, — шепчет Сиако обернувшейся к нему жене и, засунув руку под подушку, где лежит пистолет,

притворяется спящим. Клаудиа удивленно смотрит на него, но все же снова высовывается из двери и кричит:

— Он заболел!

— Тогда мы должны зачитать ему распоряжение директора, — говорит Хорхе, подходя к порогу. — Приказано объявить всем жителям.

Услышав это, Сиако быстро садится на кровати и кладет на колени подушку, спрятав под нее руку с пистолетом.

— Раз надо — проходите, — приглашает Клаудиа.

Пока Хорхе читал распоряжение, ни один мускул не дрогнул на лице Сиако. Иногда только казалось, что ему не хватает воздуха и поэтому по лицу его разливается бледность.

— Все будет выполнено, как тут написано, — глухо говорит он, дослушав до конца.

Когда шум мотора затихает вдали, Клаудиа оборачивается к мужу, хочет что-то сказать. Но, заметив в его руках пистолет, так и остается с раскрытым ртом. Ей хочется спросить, зачем Сиако пистолет и откуда он у него, но она боится узнать правду, хочется заплакать — и плакать тоже боится. Лицо мужа сумрачно и непроницаемо, в глазах недобрые огоньки. Клаудиа знает, что они означают...

Сиако поднимается с постели, берет бутылку и, налив полный стакан, двумя глотками опорожняет его. Сплювывает на пол и что-то бормочет. Клаудиа тяжело опускается на табурет. Она настолько поражена, что никак не может прийти в себя. Остановившимися глазами бессмысленно смотрит перед собой...

Отъехав от дома Сиако, Пабло говорит:

— Видел, лошадь-то по брюхо в грязи и сам весь испарапан?

— Это один из тех, за кем Аресибо должен присматривать, — отвечает Хорхе. — Раньше он был здесь самым заядлым игроком на петушиных боях, а теперь спекулирует продуктами и, похоже, еще какими-то темными делами занимается.

— Как его звать? — спрашивает Пабло.

— Сиако.

— Сиако? Сиако... Сиако... — будто пытаясь что-то вспомнить, повторяет Пабло.

Когда Бруно въезжает в Гавану, улицы ее уже залиты желтоватым солнечным светом. Он направляется прямо в министерство — прежде всего необходимо встретиться с министром. Потом объезжает множество организаций: в одной надо что-то попросить, в другой — посоветоваться. И всюду, где бы он ни проезжал, его подстерегают воспоминания. Вот здесь, у выхода из «Эль-Энканто» *, Лаура однажды ожидала его. В руках у нее были яркие пакеты с покупками. Она медленно шла в потоке людей и машин, в лимонно-желтом платье, озаренная желтоватыми лучами солнца. И улыбка ее тоже была светлой и мягкой, как солнце. Она любила улыбаться. И строить планы: дом в Альта-Абанае, садик, качели для детей... Процветающая контора мужа и счет в банке... Теперь «Эль-Энканто» больше нет... Чуть дальше — парк, колоннада и новые воспоминания...

...Куски извести сыплются ему на голову. Сраженный пулей, падает Рене, потом Роберто и Роке. Полицейские стреляют с крыш и из автомобилей, а он, Бруно, стремглав летит по улице, и пули с визгом проносятся рядом, ударяясь в стены домов, в асфальт под ногами. И тогда он бежит, петляя, прячась за колоннами, и успевает заскочить в какой-то небольшой домик. Теперь этого домика тоже нет — на его месте стоянка автомобилей...

Машина медленно движется по городу. Бруно смотрит на знакомые места, улицы, дома, бережно хранящие горькую память о тех днях. «Пока стоят эти камни, будет живо и прошлое», — проносится в его голове. Он проезжает мимо высоких оград и ворот, мимо домов — домов тех, кого он считал своими друзьями и кто в трудную минуту не захотел ему помочь, побоялся укрыть его у себя. И сейчас в его ушах звучат слова, столько раз слышанные им в те тяжелые дни: «Не могу, Бруно, поверь, я остаюсь твоим другом и если бы мог, то, конечно...» или: «У меня, понимаешь, жена, дети... Если бы их не было, я бы, конечно... Поверь, я остаюсь твоим другом!» А потом, когда революция победила, на многих из тех домов, двери которых трусливо захлопывались перед ним, были вывешены черно-красные флаги **. И на руках, запиравших эти двери, тоже красова-

* «Эль-Энканто» — большой универсальный магазин в Гаване, сожженный контрреволюционерами в 1961 году.

** Черно-красный флаг — флаг Движения 26 июля, революционной организации, возглавлявшейся Фиделем Кастро; названа так

лись потом черно-красные повязки. Единственным человеком, который помог ему тогда, был один инженер. Его теперь уже нет здесь, после победы революции он уехал с Кубы. Незадолго до своего отъезда он сказал Бруно, что всегда был за революцию, но не за такую: «Это коммунизм, а я не сторонник коммунизма».

Наконец Бруно останавливает машину и быстро поднимается по ступенькам каменной лестницы с металлическими перилами. Довольный сегодняшним днем, весело насвистывая, он вынимает из кармана ключи. В ящиках на террасе засохла герань...

Беседа с министром вдохновила его. Команданте * сразу понял, в какой ситуации оказался Бруно, и одобрил все его начинания и планы. «Если тебе удастся реализовать их, это будет замечательно», — сказал он на прощанье. Немножко взволнованный, как всякий, кто после долгого отсутствия возвращается домой, Бруно открывает дверь и входит в прихожую. И сразу его охватывает другое чувство — отчужденности, что ли. Словно это и не твой дом, и никогда ты не жил здесь. Но ведь жил! И всплывают в мозгу обрывки воспоминаний. Только теперь прошлое кажется настолько далеким и неправдоподобным, что будто бы ты и не жил здесь, а только играл роль в какой-то полузабытой пьесе. Потрогаешь руками вещи — вроде те же самые и все-таки...

Подобное чувство он испытал и в тот раз... Когда вернулся, Лауры уже не было, встретила его сестра. Собственно, он уже знал, что Лаура уехала, но ему так хотелось увидеть ее! Не для того, чтобы броситься к ней и обнять, как в первые годы супружества, когда он возвращался с работы; ему хотелось увидеть ее для того, чтобы сказать: «Теперь ты убедилась, что нас не переловили, как крыс? Ты уверяла, что ничего у нас не получится, а вот получилось! Теперь ты понимаешь, что это вовсе не было безумным бредом?» А может быть, и не говорить ей ничего — к чему слова? Пусть бы она просто увидела, как ты возвращаешься домой — под ее пристальным, но чуть растерянным взглядом стаскиваешь с себя гимнастерку, затвер-

в честь 26 июля 1953 года, когда первый отряд Фиделя Кастро атаковал казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба.

* Команданте — майор — это звание в послереволюционный период имели лишь особо отличившиеся участники революционных сражений.

девушку от пота, грязи и крови. И еще: какое станет у нее лицо, когда она заметит шрам? Да, лучше ничего не говорить, пусть она просто заглянет тебе в глаза и прочтет в них все, что ты пережил. Только для этого тебе и хотелось тогда застать ее здесь, в этом доме...

Как бы ни были неприятны для нас воспоминания, от них никуда не денешься, если возвращаешься домой после долгого отсутствия. Бесконечной вереницей проплывают перед твоими глазами неясные образы, вещи вокруг кажутся бутафорией к пьесе, в которой ты тоже играл когда-то. Вечерний костюм... Сколько лет ты уже не надевал его? Галстук, пижама... Ты уже давно стал другим, а вещи все те же и все так же крепко связаны с воспоминаниями. Шагая по жизни, мы что-то утрачиваем в себе, что-то обретаем вновь, вещи же остаются бесстрастными свидетелями этих перемен. Ты сам знаешь: многое из того, что ты когда-то считал вечным, умерло для тебя, но появилось новое, о котором ты прежде и не подозревал и которого не понимал. Как не можешь понять теперь многое в своем прошлом. Теперь ты знаешь, что все в жизни может перемениться из-за того, что сгоряча хлопнешь дверью, или повернешь за угол, или услышишь вдруг слова, которых лучше бы не слышать, заметишь равнодушие и презрение в глазах, всегда смотревших на тебя с пониманием и преданностью, или губы, которые ты любил и самозабвенно целовал, прокричат тебе:

— Идиот, думаешь, если ты стал революционером, правительство Батисты сразу и падет? Выбирай: или я, или революция! И не воображай, что тебе удастся что-либо изменить!

— И революция и ты, Лаура!

— Ты для чего женился на мне? Для того, чтобы забегать иногда домой и говорить: «За мной следят, мне нельзя оставаться»?! Пойми, Бруно, если ты вовремя одумаешься, тебе ничто не грозит. Я поговорю с папой, ты же знаешь, у него связи. Но учти, если снова уйдешь — мы разведемся. Я выходила замуж не для того, чтобы жить без мужа!

Мы идем дальше, что-то утрачивая, но и что-то обретая вновь. Иногда жизнь меняется круто и бесповоротно, когда увидишь, например, лучшего друга, сраженного пулей на твоих глазах, или узнаешь, что другого замучили в тюрьме до смерти. Или после такого вот разговора с люби-

мой. Ведь эти глаза, потемневшие от ненависти, еще недавно смотрели на тебя кротко и ласково, эти руки, истерически и злобно извивающиеся перед твоим лицом, ласкали тебя. И ты сам должен выбирать и решать. И рисковать...

Мы постоянно что-то утрачиваем в себе и что-то обретаем, а вещи остаются теми же — реквизит, не тронутый временем. Они остаются, чтобы напомнить нам о том, какими мы были когда-то. Прошлое улетучивается, как дым, остаются только воспоминания. И лишь по ним можно представить, каким ты был. Да еще по отдельным привычкам и рубцам, которые оставляет жизнь. Или вот по вещам, когда после долгого отсутствия снова видишь их...

Воспоминания Бруно не печальны. Хотя и приятными их назвать нельзя. После разговора с команданте Фермином настроение у него приподнятое. Министр обещал ему помочь. Пришлет людей из Гаваны... Все решено самым лучшим образом, и Бруно доволен. Улыбаясь, он подходит к телефону.

Я всегда пытался представить себе Гавану: какая она? Никогда там не был, только воображал. Видел, конечно, картинки в газетах или журналах. Открытки, фотографии разные. Но когда посмотрел на нее своими глазами — совсем другое дело. Потому что на картинках одно, а в жизни все не таким оказалось. Главное, красок сколько там всяких! У нас здесь кругом только зеленое, синее, желтое. А там нет, там машины самых разных цветов и знаешь, как сверкают. Как зеркала! И вообще, куда ни помотришь, все пестро. Ночью у нас, к примеру, как? Кругом темь. А там нет, там всегда светло, день или ночь — все как день, прямо хоть спать не ложись. Когда я потом сюда вернулся, никак не мог привыкнуть. Смотрю, и вроде все какое-то не такое. Будто лучше все стало. Это, правда, уже по другой причине: очки мне в Гаване прописали. Я здесь, выходит, все время не то видел и не так, только не догадывался. А там кругом вывески всякие, объявления. Ну я чувствую, что ничего не могу разобрать. Тогда меня и послали к доктору, то есть к докторше одной. Она мне эти очки-то и прописала. Как я приехал потом сюда, смотрю, и все мне кажется не таким, как раньше. Вот что такое Гавана! Теперь я, выходит, все вижу, как и остальные, как от бога положено... А пахнет там, между прочим, морем.

Сиako не может больше выносить молчаливый вопросительный взгляд Клаудии и уходит под навес к лошади. Настояем целебных трав промывает ей больную ногу. Кобыла хрипит, приседает, болезненно дергается. Он гладит ее шею, похлопывает по хребту, и животное затихает, косясь на хозяина влажным покорным глазом. Потрепав ласково ее по морде, Сиako ставит кобылу на место, а сам, прислонившись к воротам, беспокойно вглядывается в дорогу. Куэто не едет. «Они там, наверно, с ума сходят. Что теперь обо мне подумают? Но я, видит бог, не могу ехать. Нечего и думать, да и кобыла не дотянет. А вот что с Куэто, почему он-то не показывается? Ну и они тоже хороши — им, видите ли, надо немедленно отсюда уехать. А зачем приезжали? В неудачное время вы сюда прибыли, сеньоры, вот что я вам скажу».

Два дня Сиako не выходит за ворота. Бессмысленно слоняется возле дома или молча лежит, вытянувшись на постели, и все думает: «Сию здесь, какмышь вмышеловке». В который раз соскакивает с кровати, бежит к воротам и неотрывно смотрит на уползающую в гору дорогу... Там, на гребне, она обрывается, будто голубое лезвие неба обрубает ее, а дальше — пустота. Чувства Сиako обострены до предела, нервы напряжены, он весь тревожное ожидание. Чуть только Марипоса насторожит уши или беспокойно тявкнет, его словно в грудь кто толкает — быстрее бежит к воротам и впивается взглядом в дорогу. Никого! Кое-где в колеях еще поблескивают лужи, а ветер уже вздымает облачка пыли. Сиako снова возвращается в дом. Каждый раз, когда он входит, Клаудиа, как назло, оказывается прямо перед ним. Не говорит ничего и не спрашивает, только смотрит. С той минуты, когда Клаудиа увидела у него пистолет, в ее взгляде он читает настойчивый вопрос — требование объясниться. Иногда с протяжным вздохом она отворачивается, но тут же взгляд ее снова останавливается на нем, и снова в глазах все тот же немой вопрос. Сиako, стараясь не смотреть на жену, растягивается на кровати и лежит, прислушиваясь к каждому шороху. А услышав что-нибудь подозрительное, спрыгивает с кровати и торопится к воротам. Марипоса с радостным лаем несется за ним. Прислонившись к столбу, он до боли в глазах смотрит туда, где на гребне хребта небо обрубает дорогу.

Его прозвали Летягой. Он, понимаешь, сделал себе крылья из пальмовых листьев и мог летать на них. С детства он был худеньким и поэтому по деревьям лазил, как белка-летяга. Лучший сборщик семян был тут у нас. Забраться на сосну ему ничего не стоило. Соберет, бывало, с одной сосны все шишки и прыг на другую — ну прямо как птица. Никто не мог сравниться с ним в этом деле. А закончит работу, надевает, значит, свои крылья — он их с собой всегда носил — и как ни в чем не бывало опускается на землю. Никогда с ним ничего не случалось. А случилось потом оттого, что его раззадорили. Подшутили то есть над ним...

Послышался шум мотора, и все торопятся к воротам. Увидев Луиса, Пабло бросается к нему с объятиями. Хорхе удивленно смотрит на них и думает: «Что за черт, откуда им знать друг друга?»

— Вот, знакомьтесь, — товарищ Луис, — представляет Бруно. — Он приехал помочь нам в политико-воспитательной работе. Как прошли собрания в бригадах?

— В общем неплохо, — отвечает Хорхе.

— Хотя не совсем гладко, — добавляет Пабло.

— Народ что говорит? — интересуется Бруно.

— Что скот пасется на лесопосадках потому, что веревки нет, — рассказывает Пабло.

— Ты разъяснил им?

— Разъяснил.

— Убедил?

— Как тебе сказать... Не совсем.

— Завтра, самое позднее послезавтра, получим веревку. Я, между прочим, захватил накладные на ту веревку, которая отпускатась раньше, и никак не могу понять, куда она подевалась. Придется спросить у Давида и у Миле. Ты как думаешь, Серхио?

— Сволочи они, вот что я думаю! — кусая губы, отвечает тот.

— Пожалуй, только когда говорили о выпасах, были трения, — продолжает агроном.

— Народ весь собрали?

— Почти весь.

— А у тех, кто не явился, побывали?

— Мы поручили бригадирам объехать остальных, — объясняет Пабло. — Сами только заехали к этому... к Сиако. — Он вопросительно смотрит на Хорхе. — Сиако, да?

— Сиако, Сиако, — подтверждает Хорхе. — Бруно его уже видел.

— Ладно, подготовьте мне отчет об этих собраниях, — говорит директор.

— Да, не все прошло гладко, — повторяет Пабло.

— Скоро, товарищи, нам пришлют оборудование, как только пустим станции, сразу наладим радиосвязь с бригадами. Можно будет в любое время связаться с ними и более эффективно контролировать работу. Кроме того, в некоторые бригады проведем свет. Будет у нас и еще кое-что, но пока ничего говорить людям не надо. Вообще следует взять за правило: никогда ничего не обещать, если сами не уверены, что сможем выполнить свои обещания. Если мы будем только обещать, то потеряем авторитет, а наш авторитет — это авторитет революции, — говорит Бруно. — Я вот с ног сбил в Гаване, пообещал людям спецодежду, а она, оказывается, зарезервирована за рубщиками сахарного тростника. Не торопитесь с обещаниями. И об электростанциях не надо говорить, пока оборудование не привезут.

— А как же все-таки с одеждой? — спрашивает Серхио.

— Добился. Дадут нам одежду, только следует хорошенько обдумать, как мы будем ее распределять.

— Я уже уточнил списки,— говорит Серхио.

— Надо взяться за политическую работу,— продолжает Бруно.— Для этого и приехал товарищ Луис.— Он задумчиво смотрит в окно на синюю в сумерках цепь далеких гор.— Первое, что надо сделать,— это разобраться как следует во всех местных проблемах. Как нынешних, так и тех, что достались нам от прошлого. Узнать, какими были здешние землевладельцы, как они относились к людям. Изучить социальную структуру населения и решить массу других вопросов. Решить, кто нам нужен, а кого следует заменить. Работа здесь была запущена, и мы вынуждены, как говорится, начинать с нуля. Но прежде всего нужно разобраться в людях, живущих на территории хозяйства. Понятно, этого не сделаешь за один день. И хочу предупредить, что работа предстоит трудная. Тяжелая будет работа. А теперь пойдемте ужинать.

— Питание в столовых надо улучшить,— вставляет Хорхе.— Рабочие жалуются. И не без оснований.

— Это мы поправим, только не надо забывать о более важных вещах,— говорит Бруно.— А питание можно немного улучшить уже теперь. Просто надо потребовать от поваров, чтобы готовили с большим старанием и лучше использовали продукты, которые есть.

Опустился вечер. Бруно вглядывается в посеревшее небо, в протянувшиеся по нему желтые, фиолетовые и оранжевые полосы. На еще светлом горизонте вырисовываются зубчатые пики гор и черные силуэты сосен.

Подшутили, значит, над ним. А Летяга, правда, умел летать на своих крыльях из пальмовых листьев. Что ты на меня так смотришь? Точно летал — вот убей меня бог! А что беда с ним случилась, так это вовсе не значит, что он не мог летать. Ты знаешь, неподалеку от Сторожевой горы растет одна сосна, здоровенная такая, высокая и очень старая. Она, говорят, уже тогда стояла, когда тут индейцы жили. И главное, никто ее почему-то не срубил — одна она такая старая здесь и осталась. Кое-кто считает, будто потому ее не срубили, что она с самого начала была выше всех других деревьев, и вроде бы ею пользовались как приметой на местности. Ее верхушку можно увидеть от самой Байахи и с моря. Даже из города можно увидеть, а он ведь далеко! А другие утверждают, что сос-

ну эту оставили вместо наблюдательной вышки: с нее будто бы смотрели, не подходят ли к берегу пираты. Понятно, из-за такой ее высоты и молнии не раз в нее попадали. А ствол толстенный — вдвоем не обхватишь, и чешуя на коре — с ладони! Даже если внизу нет ветра, вершина ее все равно качается — от высоты. И поэтому, говорят, если кто даже и сумеет на ту сосну забраться, то у него сразу закружится голова, так сильно раскачивается верхушка. И вот, значит, этот самый Летьага...

Со стороны дороги доносится шум. Мариноса возбужденно мечется по двору, с лаем бросается на изгородь. На гребне холма на фоне светлого неба резко вырисовывается черный силуэт джипа. Сиако, вытянув шею, всматривается в приближающуюся машину, а Клаудиа — в него. Смотрит она пристально, с любопытством и укором: с тех пор как Сиако переменялся к ней, с тех пор как она увидела у него пистолет, Клаудиа находится в каком-то оцепенении, словно ждет чего-то страшного и неотвратимого. Уставится на мужа своими печальными, неподвижными глазами и смотрит, смотрит, пытаясь поймать его ускользающий взгляд, прочесть в нем разгадку. И все чаще взор ее затуманивается; Клаудиа вспоминает прошлое, давние свои сны, несбывшиеся надежды, девичьи грезы и мечты о детях, которых у нее теперь уже не будет, всегда живших в ее воображении с тех пор, как она вечерами стала ждать Сиако в зарослях бугенвиллеи.

Куэто вылезает из джипа и подходит к Сиако, он вежливо кивает и Клаудии, но она не отвечает на его приветствие. Она неподвижно сидит на табурете и словно не видит ни джипа, ни Куэто, ни Сиако — сейчас она далеко-далеко, в том мире, что существует лишь в ее воображении, в глубине ее обращенного в прошлое взгляда, в воспоминаниях о былых мечтах и надеждах.

Куэто и Сиако направляются к навесу. Проходя мимо Клаудии, Куэто снова здоровается с ней, но и на этот раз она не отвечает. Остановившись, Куэто удивленно вглядывается в ее лицо, потом шепотом спрашивает Сиако:

— Что с ней?

— Дурит баба. Просто терпенья нет.

— А что с тобой случилось?

— Кобыла повредила ногу. Из дому не мог выехать. Тебя ждал.

— Как же нам теперь быть?

— Я думаю, в неподходящее время они прибыли... — отвечает Сиако. — Но так или иначе — надо ехать к ним, рассказать, что тут происходит.

— Опасно сейчас ехать, — возражает Куэто.

— Опасно не опасно, а надо.

— Как ты думаешь, за нами следят?

— Не знаю.

— Я уверен, что следят.

— Все равно надо ехать, — решительно заявляет Сиако. — У них уже должны быть инструкции. И только они могут помочь нам выбраться отсюда, если наша затея провалится.

— Думаешь, помогут? — спрашивает Куэто. — Ты серьезно так думаешь? Ты веришь в это?

— Они же должны возвращаться. Ну вот и мы уедем с ними. Не знаю, как ты, а я все равно уеду. Не могу больше терпеть то, что здесь творится.

— Я тоже. Ты и правда думаешь, что они возьмут нас с собой?

— Пусть попробуют не взять! Тогда и сами никуда не уедут, — твердо заявляет Сиако, ощупывая царапины на лице. — Ну теперь пора.

— Ты с ума сошел, Сиако!

— Это почему же?

— Если кто-нибудь нас увидит в джипе, сразу догадается... Надо действовать осторожнее.

— Тогда поедем вечером? — предлагает Сиако.

— Нет, лучше днем, — мнется Куэто.

— Ну хватит! Днём или вечером, но ехать надо. Это ты понимаешь?

— Тогда я сперва проеду по поселку, в питомники загляну, посмотрю, что там делается. Заодно проверю, не следят ли за нами. А ты через какое-то время выходи на дорогу к Эль-Деррумбадеро.

— Ладно, — бросает Сиако и снова проводит рукой по своим царапинам.

— Только знаешь что, — говорит Куэто, — я проеду по дороге мимо тебя, а ты внимательно посмотри, нет ли кого сзади. Потом я вернусь и заберу тебя. Идет?

— Договорились, — отвечает Сиако и входит в дом.

Клаудиа с тем же отрешенным видом сидит все в той же позе. Будто каменная — не шелохнется. Потом поднимает на него глаза, и от ее взгляда Сиако передергивает. Он берет стоящую на столе бутылку и пьет из горлышка. Потом отливает агуардъенте из бутылки во флягу. И вдруг Клаудиа, не меняя позы и не шевелясь, тоненьким голосом затягивает старинную деревенскую песенку, которую частенько напевала бабушка, а она слушала ее, ожидая в кустарнике Сиако. Она монотонно повторяет один и тот же незамысловатый мотив. Сиако в раздражении кричит:

— Прекрати свое дурацкое пение! Сейчас не до песен!

Но она не отвечает, не шевелится; неподвижно уставившись перед собой, тянет и тянет тоскливую, нескончаемую мелодию, от которой Сиако становится не по себе. Он хватается за бутылку. Потом вытаскивает из-под подушки приемник и пистолет, надевает рубашку и выходит. В дверях снова бросает взгляд на жену, которая по-прежнему молча смотрит на него, и думает: «Нет, сейчас ей никак нельзя доверять. Черт знает что она может отмочить». Он еще раз оборачивается и смотрит на Клаудиу, застывшую на своем табурете. Сиако уверен, что она даже не заметила, как он вышел. Глаза ее блестят, как две масляные капли на плоской доске лица.

...Вот эта-то громадная сосна и не давала Лetyаге покоя. Народ все поддразнивал да поддразнивал его. И наконец он решил. Со всей округи жители собрались, чтобы посмотреть. Начал он, как всегда, — сперва, значит, на небольшую сосенку взобрался, с нее — повыше, а потом и до самой высокой дошел. Снизу ему кричат, подбадривают, потому что видно — за нелегкое дело взялся парень. В какой-то момент он было остановился: ни вперед, ни назад — наверно, смолой его к стволу приклеило. Ну потом, посмотрим, полез дальше. И чем выше забирался, тем сосна выше казалась, будто росла она чуть не до самого неба. А Лetyага делался все меньше и меньше. Потом и совсем его не видно стало. Люди кричат, давай, мол, прыгай на своих крыльях, а его все нет и нет. Час ждали, другой — нет Лetyаги! Надо было бы кому-нибудь подняться на сосну-то да посмотреть, что там с ним случилось, только кто же полезет? С тех пор Лetyагу больше не видели...

После ужина все снова идут в контору. Бруно вытаскивает из портфеля папку, достает из нее несколько копий одного документа и передает товарищам. Пока они читают, он молча наблюдает за ними. Взгляд его останавливается на Луисе. Широкий рубец, пересекающий его левую щеку, очень выпуклый, словно рана нанесена изнутри. Глядя на этот рубец, Бруно вспоминает лесную засаду, где Луис был ранен: пуля задела подбородок и вышла почти у самого уха, разорвав щеку наискось. Незаметно просунув руку под рубашку, Бруно ощупывает свой шрам и думает: «Как же должно быть больно Луису, если мое плечо в ненастные дни ноет так, будто рана снова открылась». Он снова вспоминает ту засаду. Вынимает из пачки сигарету и стучит ею по спичечному коробку, стараясь сдерживать себя, чтобы не сказать того, чего пока говорить нельзя.

Он переводит взгляд на Серхио, который читает очень внимательно, будто хочет запомнить отдельные места.

— Вот это размах! — восклицает Хорхе и кладет бумаги на стол. — Грандиозно!

Пабло и Луис смотрят на Бруно, а тот, слегка улыбаясь, глядит на взволнованное лицо Хорхе. Закончив читать, Серхио откидывается на спинку стула и оборачивается к Бруно. Он никак не может найти нужные слова и от этого кажется растерянным. Так ничего и не сказав, кладет бумаги на стол и закуривает.

— Знаете, — задумчиво произносит Хорхе, — когда мы все это сделаем, никто и не поверит, с чего нам пришлось начинать. И не вспомнит никто, как мы тут жили.

— Ну, кто-нибудь да вспомнит, — возражает Бруно. — Кто-нибудь обязательно расскажет потом людям, и как мы начинали, и какие перемены здесь произошли, чтобы те, кто придет после нас, знали бы об этом.

— Планы, конечно, захватывающие, — замечает Серхио, — только быстро нам их не осуществить.

— Конечно, действовать надо постепенно, — соглашается Бруно. — Кое-что в них на первых порах даже может вызвать волнения в народе. Тем более что ряд обстоятельств усложняет наши задачи. Вот почему я и хотел, чтобы вы ознакомились с комплексным планом. Мы будем выполнять его по этапам. Но чтобы лучше понимать смысл и значение отдельных мероприятий, надо знать о целом.

— Только я думаю, что для осуществления всех этих планов у здешнего населения не хватает главного — политической сознательности, — говорит Хорхе. — Ее уровень очень низок.

— Поэтому прежде всего мы стараемся поднять эту сознательность, — отвечает Бруно. — Население здесь, естественно, живет и думает по старинке, считает, что иной жизни и быть не может. Надо на деле показать людям, что можно жить иначе. Показать, а потом уже агитировать. Помимо общей, нам придется развернуть индивидуальную разъяснительную работу, чтобы довести до сознания каждого значение и смысл наших мероприятий.

— Но здесь все живут сами по себе, — говорит Хорхе. — И мне, например, представляется сомнительным, чтобы люди одобрили микроплан, касающийся коллективных подсобных хозяйств.

— Как же иначе мы можем решить вопрос о тех крестьянах, которые незаконно используют государственные земли под личные посевы и огороды? — спрашивает Бруно. — Согласиться с таким положением мы не можем, это дезориентировало бы остальных.

— Понятно, но вы увидите, какой скандал здесь разразится из-за этой земли, — говорит Хорхе. — Когда нормы устанавливали, и то сколько шума было! Люди тут, знаете какие! Думаю, что нелегко будет с ними выполнить то, что в плане записано.

— Слушай, Хорхе, если надо выполнить, выполним! — твердо говорит Бруно. — Я верю в народ. Надо больше бывать с людьми: работать с ними в поле, вместе делить трудности, относиться к ним с уважением и самим не ронять честь революционера. Надо завоевать у них доверие и авторитет. И тогда они пойдут за нами, пойдут за революцией, поймут и поддержат наши планы. Но хватит общих разговоров, давайте о деле. За каждым из вас я думаю закрепить определенный участок работы. Разумеется, действовать надо сообща, но каждый будет отвечать за какое-то одно дело. А главное, не терять времени. Его и так уже потеряно достаточно!

Вовсю гогочат ранние петухи. А пятеро все сидят в правлении, обсуждают подробности предстоящей работы. Первым поднимается Хорхе, он выходит из конторы и останавливается. Небо уже не черное, а серое. Луны за облаками не видно. «Да, поднимется здесь буча из-за этих

коллективных хозяйств», — думает он. Зажигает сигарету и медленно идет по гравиевой дорожке к общежитию. Поселок тих и темен, только в кабинете Бруно ярко освещены окна. Над землей стелется жидкий голубоватый туман.

А возле Бабьего ручья ночами из-под земли пробиваются два огня, красные такие и размером с гроб. Появляются они всегда по пятницам. Говорят, будто это два кума, которые тут жили, а потом поспорили из-за чего-то и зарубили друг друга мачете. Один огонь, говорят, поднимается с этой стороны ручья, а другой — с той, и начинают сближаться, а от них вспышки навстречу друг другу сверкают, как мачете. Ну, сойдутся они, и пошла промеж них кутерьма — дерутся, значит. И чем дольше дерутся, тем огонь-то все слабее и слабее становится, пока совсем не погаснет...

Луны за облаками не видно. Влажный, пронизывающий ветер несет с собой запах земли и смолы. Его резкие порывы топорщат на косогоре сухую траву, раскачивают ветви сосен. Сиако, воровато озираясь и напрягая слух, пробирается через сосняк. Здесь так темно, что невозможно различить дорогу, которая, извиваясь и петляя, спускается к Эль-Деррумбадеро. По обеим сторонам сплошные заросли марабу, не очень высокие и колючие, но вполне пригодные, чтобы укрыться в их тени. Осторожно, стараясь не поцарапаться, Сиако держится ближе к кустам. И все-таки какая-то ветка, вскинутая порывом ветра, хлопчет его по лицу. Он невольно подается назад, едва успев закрыть глаза. Острый шип, вонзившись в висок, раздирает кожу почти до глаза. Превозмогая боль, Сиако становится на четвереньки, ползет дальше. Потом, присев на корточки, ждет. Проходит полчаса, а Куэто все нет. Достав из кармана брюк плоскую флягу, Сиако отпивает несколько глотков. Одиночество угнетает его. Он напряженно прислушивается, пытается уловить желанный шум мотора, но кругом только назойливый писк комаров, вьющихся над его головой, кваканье лягушек и шум ветра, гуляющего в кронах деревьев. Теряя терпение, Сиако снова подносит флягу ко рту и, допив остатки, рукавом вытирает губы и мотает головой. На душе тоскливо и тревожно. С тех пор как ему зачитали распоряжение нового директора, он

понял, что прежней жизни пришел конец. И теперь ему все время кажется, что кто-то преследует его, следит за каждым его шагом. Он думает о лошади, без которой ему не отъехать далеко от дома, думает о Нати, о людях, высадившихся на побережье, которые давно ждут его в лесу, думает о Клаудии, о Куэто, которого все нет. Растянувшись на кровати, он часто и с раздражением думал о нем. «Прямо как петля затягивается вокруг шеи», — не раз проносилось в голове у Сиако в эти бессонные ночи. Ему и сейчас не хочется спать, он чувствует только, как набрякли веки и как угнетает его эта тяжелая усталость, напряжение последних дней. «Вдруг Куэто плюнет на все и не придет? А может, за ним уже следят?.. Что будет, если нас тут накроют?» От этих вопросов, проносящихся в мозгу, все внутри у него холодеет. Сунув руку за пазуху, он ощущивает пистолет: прикосновение металла успокаивает, придает уверенности.

Иногда вдруг послышится, будто чьи-то шаги шуршат по сухой траве за кустами. Тогда Сиако замирает, пристально вглядываясь в темноту, и крепче сжимает в руке пистолет, положив палец на спусковой крючок. Но шорохи растворяются в других звуках ночи, и снова тянется монотонное, бесконечное ожидание. Прошел час. Сиако решает, что дальше ждать бесполезно. Но тут с дороги доносится шум мотора, и вскоре в темноте вырисовывается контур джипа. Машина проходит мимо, и сейчас же задним ходом возвращается к месту, где укрылся Сиако.

— Я уж думал, что ты не приедешь, — ворчит он, забираясь на сиденье. — Заметил что-нибудь подозрительное?

— Нет, ничего. Все спокойно. Никто за мной не следил.

— Ну, этого мы еще не знаем. Я, пока ждал тебя, вроде слышал чьи-то шаги, — перебивает его Сиако. — Возьмутся следить, так постараются сделать это незаметно. Я все-таки думаю, что нас с тобой в покое не оставят.

— Каррамба! Хватит тебе. Еще и вправду накликаешь беду, — поеживается Куэто.

— Трусишь?

— А ты не пугай.

Поднимаясь по склону, они видят, как далеко-далеко, у самого горизонта извилистые, словно вены, вспыхивают молнии, грома не слышно.

— Что они нам скажут? — словно сам себя спрашивает Куэто.

— Кто?

— Да эти. Помнишь, как взъелся на нас Бебе, когда они высадились. Не понравилось мне это... Мы тут рискуем не меньше, а может, и больше их, а они еще издеваются над нами. Трусами называют. Нет, не понравились они мне.

— Кто из нас трус, посмотрим, когда они будут уезжать, пусть только попробуют не взять нас с собой, — говорит Сиако, проводя кончиком пальца по свежей царапине у левого глаза. — Вот тогда и разберемся.

Теперь до них донесется глухие раскаты грома. Листья на ветвях, освещенные вспышками далеких молний, испуганно вздрагивают от порывов усилившегося ветра.

— По дороге Хосе не поедет, — говорит Куэто. — После ливней ее наверняка развезло. К тому же опять дождь собирается, там такое месиво будет — ни за что не проехать.

— Что же делать?

— Идти пешком через лес.

Больше не разговаривают. Машину оставляют метрах в двухстах от леса. Дойдя до опушки, вытаскивают пистолеты и оглядываются назад. Узенькой тропинкой, прорубленной в подлеске и хорошо замаскированной, спускаются к оврагу, на дне которого протекает речка. Вода в ней после дождя поднялась и достает им почти до груди. На другом берегу тропинки нет, и приходится с трудом пробираться через кустарник. Неожиданно близкая молния ярко осветила весь лес, залетевший шквал с силой ударил по деревьям. Взметнулись ветки кустарника, хлеща по лицам путников. Порывы ветра, налетая на стволы, завихряются, подымая с земли ворохи старой листвы. По верхушкам деревьев застучали первые тяжелые капли дождя.

И тут Сиако почувствовал, как что-то холодное уткнулось ему в бок, а затем раздался резкий злой голос:

— А-а! Явились наконец, голубчики!

— Там такое творится!.. — придя в себя, отвечает Сиако.

— Хватит трепаться! Вперед! — обрывает его тот же голос, и Сиако краем глаза видит, что в бок ему упирается ствол американского автомата.

— Я серьезно. Надо поговорить.

— Шагай, шагай! Там поговоришь! — Сиако чувствует, как дуло автомата бесцеремонно подталкивает его. — Ну!

Сиако и Куэто удается разглядеть, как недобро сверкают глаза их конвоира. Идут молча. С ветвей им на головы потоками льется вода. Двигаться трудно, ноги скользят по намокшим прелым листьям, по расползающейся глинистой земле. Когда наконец добираются до знакомой поляны, из-за шалаша на Сиако и Куэто нацеливаются еще два ствола. Убедившись, что опасности нет, мужчины, ожидавшие их, опускают автоматы и, не здороваясь, молча скрываются в шалаше.

По ночам у нас тут кругом слышно, как звенят колокольчики, тоненько так звенят. Говорят, что когда-то, давным-давно, один здешний птицелов поймал дятла и, перед тем как его выпустить, привязал ему к шее колокольчики. От них и звон. Только я думаю, тут не одна такая птица должна быть — одна не могла бы сразу во многих местах звонить. А по ночам ведь по всем оврагам, по всем балкам слышно, как заливаются эти звоночки да колокольчики. А может быть, у того дятла и птенцы вывелись тоже с колокольчиками. А что? Очень возможно. Конечно, точно я не знаю и врать не хочу, но разговоров про это у нас тут много всяких. И про воду тоже. Одно могу точно сказать: колокольчики в самом деле звенят. Как только стемнеет, так по оврагам и начинают. И никакого чуда здесь нет, потому что любой может их услышать...

— Клементе! Слышишь, Клементе!

— Что такое? Что с тобой?

— Вроде кто-то в дверь к нам стучался.

— Спи знай, почудилось тебе.

— Ой, боюсь я, Клементе.

— Ты все ворочалась во сне, дергалась, будто тебя хлестали. Ладно, спи давай...

— Слышала я, вроде кто в стену стукнул.

— Ветер это, спи.

— И шаги чьи-то слышала.

— Сказано тебе — ветер листьями шуршит.

Нати свернулась в комок, водит по сторонам широко

открытыми испуганными глазами. Руки скрестила на груди, словно защищаясь от опасности. В ней растет беспокойство и смутное желание... На дворе дождь. Он всегда несёт с собой какую-то сладкую расслабленность, тревожную истому. Она чувствует себя пленницей в этой душной комнате, в четырех дощатых стенах, по которым, шурша, ползут струи дождя. Вот капли застучали сильнее, призывнее. И она, словно подчиняясь их ритму, начинает вздрагивать, метаться по кровати. Неясные видения и воспоминания нахлынули на нее. Она резко отворачивается от Кlemente, руки ее судорожно мнут простыню, лицо покрывает испарина. Нати кажется, будто Сиако пришел к ней сюда, будто шепчет ей что-то на ухо, щекоча губами... Сквозь неплотно подогнанные черепицы кровли сочится вода. Теплые капли падают на тело Нати и медленно стекают, а ей кажется, что это пальцы Сиако ласково гладят ее. Она впадает в забытие, переносится в другой мир, где только она и Сиако, его упругая горячая кожа и ласковые нетерпеливые руки. Нати чувствует, как вся она обновляется, становится чище и будто легче... Из щелей крыши на Нати сочится теплый дождь... Вот уже неделя, как Сиако не приезжает к ней. Ни в дождь, ни в ведро. Ей вспоминается последнее свидание. Как страшно то, что он рассказал. И как быстро возвращалась к нему холодная отчужденность. И уезжал он не так, как раньше: не обернувшись, не повторял без конца: «Прощай, дорогая!» Он резко вонзил шпоры в бока лошади, и та сорвалась с места, унося всадника в облаке пыли... Слезы льются по лицу Нати, смешиваясь с каплями дождя. Она снова и снова припоминает то, что он сказал ей в последний раз, его решительные движения... Она провожала его, но он не обернулся, сразу же исчез в клубах пыли, и взгляд ее, словно уперся в глухую стену, больше ничего не различал... А во сне эта пыль оборачивалась дождем, и уже дождь обволакивал Сиако. Она слышит, как снаружи всё падают и падают его нити, оплетая листья, жизнь, сновидения.

Про Ти Лина, ну, того самого, который сердился, когда кто-нибудь на его тень наступал, рассказывают еще, будто однажды у него пропала целая упряжка мулов. Коренного звали Птичкой, говорят, умный и добрый был мул. Похоже, и вправду он был не дурак, раз сам сбежал от работы и

увел с собой остальных мулов, всех, кроме последнего в упряжке, по кличке Тихоход. А тот, напротив, очень был ленив, поэтому, наверно, и не убежал с мулами. Кое-кто считает, что ночью колокольчиками по оврагам звенят не дятлы, а мулы Ти Лина. То есть теперь уже не сами мулы, а их грешные души...

— В чем дело? — набрасывается на Сиако самый высокий. — Знал бы я раньше, что вы такие подонки! Столько времени не являться! — Бебе садится напротив Сиако. — Или в штаны напустили?

Сиако подскакивает как ужаленный, хватая Бебе за ворот рубашки и, с силой встряхнув, кричит ему в лицо:

— Ты что, издеваться вздумал? Может, сначала выслушаешь?

Бебе оторопел. Остальные быстро вскочили на ноги. Куэто — ни жив ни мертв.

— Ладно, рассказывай, что у тебя там, — говорит Бебе. — Ишь разошелся! Сейчас не время.

— А ты тоже слова выбирай!

— Ну извини, извини! И давай рассказывать.

Успокоившись, Сиако подробно докладывает о том, что произошло за это время в лесоводческом хозяйстве. Сообщает о новых распоряжениях дирекции. Положение, в котором они оказались, весьма опасное... Бебе хмурится. Лица остальных тоже угрюмы.

— Вы уверены, что за вами не следили? — спрашивает Бебе, постукивая пальцами по прикладу автомата.

— Кто в этом может быть уверен? — насмешливо отвечает Сиако.

Все серьезные, но Бебе вдруг встает, улыбается, хлопает Сиако по плечу и развязно говорит:

— Вот это по мне, парень! Это мне нравится!

— Ладно. Говори лучше, что делать будем? — поворачивается к нему Сиако.

— Надо как можно скорее связаться с центром и запросить инструкции, — отвечает Бебе. — Откровенно говоря, не очень удачно получается, что мы прибыли сюда в такое время. А вам придется остаться с нами, пока не получим инструкций!

— Как так?

— А вот так, останетесь, и все!

Говорят, что вода вымывает у человека и из мозга, и из крови, и из глаз все то постыдное, что он видел, в мыслях держал, чего добивался или просто хотел. Она излечивает человека от всего плохого. Многие в это верят. Они, значит, считают, что с неба на землю приходят только вода и гром. Воду, говорят они, посылает нам в виде дождя бог. А гром — это от дьявола. Вода, стало быть, дается человеку, чтобы он очищался и снаружи и изнутри. Говорят, будто вода излечивает от невидимых пятен, невидимых, потому что они находятся глубоко в теле, около самых костей, и от них идет ломота, непохожая ни на какую другую боль.

Первой у нас тут начала лечить водой бабка Антоньика. Воду брала из родника, что возле дороги на Ла О. Что тут творилось, когда она этим занялась! Народ к ней валом валил. Не поверишь — из города приходили. А она, значит, у себя в сарае лечит и лечит всех подряд. Толпами шли. Антоньика говорила: «Дьявол посылает на нас грозы, желая нашей гибели, а господь бог дает воду для жизни людей и для здоровья». Ну, раз столько народу здесь стало собираться, Гуарача быстренько открыла рядом с Антоньикиным домом ларек, а потом еще один — с закуской. Дела, понятно, хорошо пошли, людей-то ведь сколько собиралось. Потом навесы такие сделала с гамаками, чтобы больным было где ждать очереди. Фреснедо-паралитика Антоньика вылечила. Она! Ей-ей, не вру. Она его, значит, раздела

догола в четыре часа утра да как окатит сверху холодной водой. Фреснедо аж подпрыгнул и с тех пор стал ходить. Правда, одну ногу волочит, но все-таки ходит! Я как-то раз сказала ему: «Слушай,— говорю,— Фреснедо, тут бы кто хочешь не только пошел — бегом побежал, если на него на голого выплеснуть поутру ведро воды». А он на меня как окрысится! Разорвать готов был! Смех смехом, но Антоньика, говорят, лечила по-настоящему. И одной только водой. Потом не знаю, что случилось, только уехала она из этих мест. И Гуарача тоже. Гуарача открыла похоронное заведение в поселке, а об Антоньике никто больше не слышал. Говорили люди, будто она купила себе дом в Гаване и живет там. Но толком никто ничего не знает. А тут у нас еще и теперь есть такие, которые верят в воду. Акватиками называются.

Утро серое, пасмурное, солнце как будто и не всходило вовсе. Дождь со вчерашнего вечера льет не переставая, и кажется, что ему не будет конца. Тяжелые, набрякшие облака ползут над самой землей. Площадка перед правлением превратилась в сплошное болото. Рыжая глина, трава, гравиевые дорожки — все залито мутной, пузырящейся водой. Ветер срывает с деревьев листья, пробует играть ими в воздухе, но тяжелые дождевые капли быстро прибавляют их к лужам, земле, стенам. И правление, и дома, и хозяйственные постройки, вкривь и вкось перечерченные ломаными штрихами дождя, едва различимы в сумеречном свете утра. Рабочие, ночевавшие в общежитии, в поле не вышли и сейчас толпятся перед правлением под навесом, курят, томимые непривычным бездельем, поглядывают на небо. Те, кто утром слышал радио, рассказывают последние новости. Бруно тоже здесь: присел на скамейку, беседует с мужчинами. Вдруг из-за бараков показывается с ног до головы перепачканный глиной шофер одного из грузовиков. Не разбирая дороги, шлепая по лужам и грязи, он торопится к Бруно. Долго не может отдышаться, широко раскрытым ртом втягивает в себя воздух, с шумом выдыхает и наконец докладывает: река вышла из берегов и затопила мост. Он пытался проскочить через поток, но мотор заглох, и грузовик остался в воде. Бруно встает. Задав шоферу еще несколько вопросов, он подзывает к себе рабочих. Тут же составляются спасательные отряды. И уже

через несколько минут, захватив лопаты, топоры, мачете, веревки и цепи, рабочие садятся в кузовы грузовиков. Бруно, Луис, Пабло и Хорхе выезжают на «газике». К каравану присоединяются два трактора.

— Какое место на территории хозяйства самое опасное? — спрашивает Бруно.

— Низина в Лас-Десеадас, — отвечает Хорхе.

— Значит, едем туда, — решает директор.

Грузовики уезжают к мосту, возле которого затонула машина, а «газик», нутужно гудя, раскисшим проселком направляется в сторону Лас-Десеадас. Дождь немного стих, но в воздухе висит тяжелая туманная мгла измороси. У первого же на их пути дома останавливаются. В доме собралось довольно много народу — жители ближайших хуторов, расположенных в низинах.

Справившись у них об обстановке и наскоро проглотив горячего кофе, все снова бегут к машине. Переставший было дождь опять барабанит по крыше «газика». Дороги никто толком не знает, поэтому довольно долго они путаются в лабиринте проселков, которые зачастую упираются в непроходимые заросли. Тогда они вынуждены снова возвращаться назад и наугад выбирать другую дорогу — так они медленно, но все же приближаются к Лас-Десеадас. На одной из таких дорог колеса соскользнули в глубокую рытвину, когда Хорхе подавал машину назад, и им пришлось немало повозиться под дождем, чтобы выбраться из западни. Машина села на дифференциал, колеса с воем вертелись вхолостую, разбрызгивая густую липкую грязь на суетившихся сзади Бруно, Луиса и Пабло. Вытащить ее удалось только тогда, когда, сделав из тросов постромки, все трое — Хорхе оставался за рулем — впряглись в них и рывком сдвинули задний мост со скрытого под водой ухаба.

— Скоро ли наконец доберемся до Лас-Десеадас? — нетерпеливо спрашивает Бруно, когда все снова уселись в машину.

— Теперь уже рядом, — говорит Хорхе. — Но видишь, какой крюк сделали!

— Как ты думаешь, Аресио догадался эвакуировать людей?

— Наверняка. Он же знает, что низину во время дождей заливают.

Теперь дорога идет верхом, грунт более твердый, и можно бы прибавить скорость, но вода таким толстым слоем скатывается по ветровому стеклу, что дороги почти не видно. Хорхе, вцепившись в руль, напряженно всматривается вперед, чуть ли не касаясь лицом стекла. Вдруг он резко тормозит. У самого радиатора темнеют три человеческие фигуры, склонившиеся над каким-то предметом. Все выходят из «газика» и видят, что посреди дороги стоит швейная машина, а возле нее под проливным дождем бестолково топчутся седой старик, молодая женщина и старуха. Старуха плачет. Женщина качает на руках ребенка, завернутого в мокрые тряпки, а старуха прижимает к груди старинные настенные часы в деревянном футляре. Старик одной рукой держит пару связанных за ноги куриц; о его штанину, повизгивая, трется грязный поросенок.

— Успели вот вынести что подороже, — бормочет старик, растерянно моргая. По его лицу стекают струйки дождя.

— Откуда будете? — спрашивает Бруно.

— Оттуда, снизу, — отвечает старик, свободной рукой показывая влево.

— А как же вы машину-то тащили?

— А куда денешься?

Все стоят под проливным дождем, но словно бы и не чувствуют его.

— Так нам повезло, так повезло, что встретили вас! — с радостной улыбкой говорит старик.

Заметив вдруг воду, стекающую с его головы, Бруно спохватывается:

— А ну быстрее все в машину!

Пабло и Луис, открыв задний борт «газика», поднимают туда швейную машину. Женщина с ребенком, старики, куры и поросенок размещаются сзади, четверо остальных кое-как втискиваются на переднее сиденье. Хорхе с трудом включает скорость, и «газик» трогается.

По обе стороны дороги под порывами ветра в ярости мечутся ветви густого кустарника. Набухшая глина, как тесто, шевелится и пузырится под дождем. Пассажиры, схватившись за сиденье, напряженно молчат, слышится только плач озябшего ребенка да дробный стук дождя по брезентовому верху.

Говорят, когда вода в Бабьем ручье поднимается, в нем плавают три гуиро *, и будто эти гуиро были привязаны к кресту, который негритянка Карлота держала в реке. Я помню ее с детских лет, уже тогда она была старухой, и я очень ее боялся. Толстенная, помню, груди у нее висели до самой земли. Из ее дома всегда шел какой-то тяжелый дух — говорили, она спала с дьяволом. И от самой от нее смердило гнилью, табаком и агуардъенте. А говорила она так, что и не поймешь: половину по-кубински, а половину я и сам не знаю по-какому. Очень боялся я ее, потому что она была не как все люди. Всегда ходила покрытая шалью и с клюкой. Я хорошо помню тот крест, поставленный Карлотой в воде. Сделан он был из ржавых труб, связанных проволокой, а на верхушке и на обоих концах крестовины висели гуиро. В этих гуиро, говорят, Карлота хранила свои тайны и деньги. Они у нее будто бы водились сотнями. Пока старуха была жива, поток не сваливал креста ни разу. И во время половодья вода доходила только до гуиро. После смерти Карлоты крест остался стоять там же, лишь еще больше заржавел, потому что никто не осмеливался прикасаться к нему — считали, что он заговорен и заколдован, чтобы деньги хранить. Только раз как-то вода в ручье поднялась и смыла тот крест. И теперь самого-то креста не видно, но когда Бабий ручей разливается, по нему плавают гуиро и никто не может их выловить.

Ветер хлещет по кронам деревьев. С листья и ветвей стекают потоки воды. Мужчины вылезли из своего шалаша, там несколько не суше, чем снаружи. Куэто нервно ходит чуть в стороне от остальных. Одежда его промокла, за ворот попадают противные холодные капли и ползут по спине, словно слизняки. Он зябко ежится и сквозь зубы невнятно бормочет проклятья, то и дело поглядывая на часы. Иногда останавливается, отжимает волосы и снова чертыхается.

— Вот влипли, так влипли, — хрипит он, подходя к Сиакю и Бебе. — Как сразу не повезло, так и пошло.

— Что, дрожь пробирает? — с издевкой спрашивает Бебе.

Но Куэто не понимает его иронии, а может быть, не

* Гуиро — плод одноименного дерева. На Кубе из высушенных гуиро делают музыкальные инструменты.

хочет или не в состоянии понять ее сейчас. Он пытается отлепить приставшую к телу мокрую рубашку. Отходит на несколько шагов, что-то брызжит себе под нос, а потом снова обращается к Сиако:

— Все. Погорели!

— Заткнись! — слышится ответ.

Насмешливо прищурившись, Бебе наблюдает за ними. Двое других, приехавших вместе с Бебе, стоят с мрачными лицами в стороне и молча жуют резинку.

— И никак нельзя уйти? — умоляюще спрашивает Куэто у Бебе.

— Нельзя. Радио не работает. Не видишь, какая погода! — объясняет тот. — Ты же сам убедился, что связи нет.

— Когда же мы выйдем отсюда? — плаксиво тянет Куэто. — И как? Что говорить будем?

— Что-то вы слишком беспокоитесь о том, что говорить станете. За шкуру свою трясетесь! А я что скажу? Что я скажу, я тебя спрашиваю?! — теперь уже без тени улыбки говорит Бебе. — Мне и вовсе нечего сказать. Разве что ему слово дать. — Он показывает пистолет.

— Я... я не так выразился, — пятась, бормочет Куэто.

— Заткнись, кому говорю! — кричит Сиако. — Заткнись, ты!

Сделав несколько шагов в сторону, Куэто вдруг плашмя бросается на мокрую землю. Он чувствует себя обманутым и опустошенным. От сырости и холода отчаяние становится невыносимым. Сиако и Бебе подходят к нему.

— Послушай, парень, мы здесь не в игрушки играем. Надо сидеть и ждать. И держать себя в руках. Мы ко всему должны быть готовы. А главное, не думать все время о своей шкуре.

Куэто смотрит на него, не поднимаясь с земли, взгляд его возбужденно блестит. Вдруг он вскакивает на ноги, в глазах решимость, словно в них сосредоточился весь жар, который еще остался в его теле.

— Я ухожу, — твердо заявляет он.

— А я сказал — нельзя! — с расстановкой отвечает Бебе, насмешливо улыбаясь. — Ты что, с ума сошел?

— Хочу посмотреть, как там моя машина.

— Ты не пойдешь к машине!

Сиако бежит за ним. Бебе, криво усмехаясь, наблюдает за друзьями.

— Куэто! — зовет Сиако. — Слышишь, Куэто!

Тот, не останавливаясь и не оборачиваясь, идет дальше. Сиако догоняет его, хватает за рубашку и резко дергает назад. Поскользнувшись, Куэто неловко падает на кучу ветвей.

— Тварь поганая! Ты что, рехнулся? — шипит Сиако.

Куэто лежит, вцепившись зубами в свою руку. Глаза у него мутные.

— Последний трус! — Сиако наклоняется и кричит ему в лицо: — Знал бы я, что ты такое дерьмо, не стал бы связываться!

— Оставь его, — говорит Бебе, подходя к ним и кладя руку на плечо Сиако. — Это нервы. Он понимает, что уходить нельзя.

Оглянувшись, Сиако видит, что двое приятелей Бебе взяли автоматы наизготовку. А Бебе, все еще держа руку на плече Сиако, спокойно повторяет:

— Оставь его. Все неожиданно осложнилось, и нужно ждаться.

Они оставляют Куэто лежать на земле все в той же позе, а сами направляются в шалаш. Туда же входят и двое других с автоматами.

— Давайте перекусим, — предлагает Бебе.

Все усаживаются на мокрую землю. Одежда тоже намочла и противно липнет к телу. Сквозь крышу шалаша текут тонкие ручейки воды, которая кажется им теплой.

Поднявшись, Куэто понуро возвращается к шалашу.

— Поехали с нами.

Женщина отрицательно качает головой. Она сидит на табурете, облокотившись на стол. Глаза ее заплаканы. Прижавшись к ее ногам, лежит Марипоса. Дрожащей рукой женщина медленно проводит по своему очень бледному лицу.

— Где же Сиако?

Она не отвечает, только всхлипывает.

— Что с вами, тетя Клаудиа? Вам плохо?

— Ничего, дочка, это я так.

Мерседес удивленно смотрит на Пипе.

— Поедьте с нами, — повторяет она.

— Нет. Этот дом не зальет. Сюда вода никогда не доходила.

— Но вы же одна.

— А правда, где Сиако? — спрашивает Пипе.

— Нету его, — отвечает Клаудиа, убирая наконец руки от лица и поворачиваясь к двери.

— Кобыла под навесом, — замечает Пипе. — Ничего не понимаю...

— Она ногу подвернула, — говорит Клаудиа, а сама никак не может оторвать взгляд от двери. Смотрит как замороженная, не моргая.

— Муж-то твой где? — настаивает Пипе.

— Не знаю. — Клаудиа тихонько всхлипывает. — Ушел еще с вечера и не вернулся.

— Ну ладно, тетя Клаудиа, успокойтесь, — уговаривает ее Мерседес. — Поехали с нами в поселок.

— Нет, я буду его дожидаться.

— Нельзя же оставаться здесь одной.

— Сюда вода не дойдет. Буду его дожидаться. Он вот-вот должен вернуться.

— А если затопит? — вмешивается Пипе. — Будешь дожидаться мужа, а дождешься смерти.

— Чего дождусь, того и дождусь. Я уж и сама теперь не знаю, что лучше.

Клаудиа кладет руки на стол и прячет в ладонях лицо. Видно, как вздрагивает ее спина под натянувшимся платьем.

— Успокойтесь, тетя Клаудиа, не расстраивайтесь, — уговаривает Мерседес, глядя волосы плачущей женщины.

— Нет, я останусь. Он должен скоро вернуться.

— Слушай, Клаудиа, — говорит Пипе, — тебе все равно придется поехать с нами. Не можем же мы бросить тебя здесь одну. Понимаешь? Все равно надо ехать!

Клаудиа поднимает голову, смотрит на них, потом на дверь, смотрит не моргая и вдруг решается.

— Ладно, — говорит она покорно, с какой-то обреченностью, и идет к кровати собрать узелок. — Только кобылу надо захватить.

— Хорошо... — отзывается Пипе.

— И не надо плакать. — Мерседес берет Клаудию под руку.

— Я готова, — говорит Клаудиа.

— Вы такая хорошая. — Мерседес прижимает ее к себе.

— Спасибо, доченька. Вот бы мне бог послал такую дочку, как ты.

Мерседес улыбается и целует Клаудиу. Лицо женщины светлеет, резкие черты разглаживаются, в глазах появляется доброе и грустное выражение.

Такой воды, как в девятьсот восьмом, никогда не бывало. И всякий раз, как вспомню про то наводнение, из головы у меня не выходит Осьоса. Что там было!.. Прямо хоть кино снимай. Низинку эту — Эль-Деррумбадеро — всю затопило мутной и густой, как шоколад, водой. А поверх воды образовалась словно корка какая — хоть вставай на нее и иди, столько там всякого мусора плавало: и доски, и ветки деревьев, и мертвая скотина. И люди мертвые тоже! Что тогда творилось, и вообразить невозможно! Деревья, даже самые высокие, чуть выглядывали из воды, будто небольшие веточки. Вроде бы кустарник на воде вырос. И крыши домов кое-где выглядывали. У нашего дома вода сперва поднялась до подоконника, а потом, когда второй вал накатился, дошла до крыши. А как скотина орала, ужас! Я забрался на самый верх дома, там поросяенок был, визжал не переставая — думал, что спасу его, да куда там! Пришлось бросить и самому плыть к верхушкам деревьев. Мы уже думали, что и деревья совсем затопит, — столько было воды. Как только представляю себе то дерево, на которое залез, сразу же вспоминаю Осьосу. Ведь так трудно было затащить ее туда! А она опять прыг в воду. Что ты будешь делать! А кругом, значит, звуки какие-то непонятные: визг и стоны вроде. Два дня держала нас вода на том дереве. А что с Осьосой делалось, прямо и сказать не могу. Что-ты! Такого наводнения, как в девятьсот восьмом, никогда больше не было. Сейчас что? Тьфу! Пустяк! А когда вода спала, все оказалось покрытым красной глиной, и на солнце — ну точно кровь. Ей-богу, будто всюду кровь запеклась. Потом еще долго над Эль-Деррумбадеро кружили стервятники. Никогда я их столько не видел: неба за ними не разглядеть. Ей-богу, не вру...

В помещении столовой Лас-Десеадас полно народу, все только и говорят, что о наводнении. По цинковой крыше гулко стучит дождь. Новости одна страшнее другой мгновенно облетают барак. Пропал негр Амансио: он пытался перебраться через ручей, чтобы спасти изображение богоматери, которое впопыхах забыл дома. На низком берегу

реки вода уже покрыла деревья. А в долину Эль-Деррум-бадеро река прорвалась через соседние овраги, и теперь вода там поднялась до самых крыш! Старик Анастасио Риос слушает разговоры и пренебрежительно машет рукой: «Какое же сравнение с девятьсот восьмым, — бормочет он. — Теперь река уже не та. Устала».

На тракторном прицепе привозят еще группу людей. Пипе и Мерседес, поддерживая Клаудиу под руки, проводят ее на кухню. Тут же барак облетает еще одна новость: пропал Сиако!

Мерседес, открыв раздаточное окошко, спрашивает у женщин, сидящих в столовой, нет ли у кого сухого липового цвета. Несколько женщин развязывают свои узелки. В это время к бараку подъезжает «газик», и Мерседес, забыв о своей просьбе, смотрит на выходящих из него людей. Женщины кладут ей в руку кулечки с липовым цветом, но она уже ничего не замечает, она увидела Бруно. Наконец, ощутив кулечки в ладони, она берет их, но по-прежнему стоит как завороченная и не отрываясь смотрит на улицу.

— Что с тобой, дочка? — удивленно спрашивает Клаудиа.

Мерседес не слышит. Ее взгляд встретился со взглядом Бруно, и Бруно улыбается ей. Радостная и смущенная, Мерседес быстро отходит от окна.

— Так, ничего, тетя Клаудиа.

— Гляди-ка, ребенок-то весь вымок, — загалдели женщины, увидев вошедшую молодую мать с младенцем.

— Ну-ка разворачивай его быстрее. На вот тебе сухое одеяло, — командует кто-то.

Старуха кладет настенные часы на стол, присаживается и начинает потихоньку всхлипывать. Пабло со стариком вносят швейную машину и ставят ее в углу. Целая стая ребятишек сразу же с криками бросается к ней.

Бруно с товарищами вновь усаживаются в «газик». Не отрываясь, Мерседес смотрит на них сквозь щелку в стене. Пипе громко выкрикивает фамилии, распределяя людей по общежитиям.

Мужчины, усевшись на скамейке, слушают рассказ Анастасио Риоса о давнем наводнении, свидетелей которого уже не осталось в живых. Слушают, раскрыв рты, словно загипнотизированные. Умелый рассказчик перекрывает своим голосом шум дождя, щекочет нервы слушателей. Ко-

гда говорит Анастасио, надо видеть выражение его лица, жестикуляцию и его глаза, в которых можно прочесть то, о чем он умалчивает. Ему не очень верят, но слушают внимательно, с серьезными лицами, следя за каждым его словом, каждым движением, как бы воссоздающим страшную картину наводнения. Так бы и слушали его и не отрывались, если бы не одна женщина. Она выходит из столовой и направляется к общежитию. Медленно, словно наслаждаясь, идет под дождем. Мокрая одежда плотно облегает тело, потому она кажется обнаженной. Мужчины, все как один, впиваются в нее взглядами. Ей знакомы эти взгляды, обжигающие, назойливые, бесцеремонные и словно раздвигающие ее. Только когда в дверях общежития показывается Кlemente, мужчины быстро и смущенно отводят глаза. Старик Анастасио Риос, изжевавший, пока смотрел на нее, полсигары, тоже прячет глаза, пожимает плечами, тихо бормочет что-то и продолжает рассказ о том дереве и об Осьосе...

...Нет, такого наводнения, как тогда, больше не было. Реки — они как время: текут и текут и чего только не несут с собой. А сколько в их водах скрыто всяких тайн, и представить себе нельзя. Поэтому некоторые и не могут смотреть на них по ночам. Видали, как в них ночью что-то сверкает? Это и есть тайны, которые реки хранят в себе. К примеру, за той большой сосной на Сторожевой течет ручеек — так, струйка небольшая, будто баба плачет. Много я знаю про этот ручей, только лучше потом расскажу... Вообще, я все знаю про реки, потому и говорю, что такого разлива, как в восьмом году, больше не будет — река наша устала. А что тогда делалось! Как вспомнишь, так волосы дыбом встают. Я вот про Осьосу начал... Затащили мы ее, значит, на дерево, а она с ума сходит: водой унесло у нее сына, грудного еще. Держим мы ее изо всех сил, потому что вода так разбушевалась, того и гляди и ее вслед за ребенком утащит. Сажу это я рядом с ней, и вдруг на воде неподалеку показывается сверток, будто ребенок, завернутый в пеленки. Плывет он на большой ветке и от этого не тонет. Как увидела Осьоса этот сверток: «Мой ребенок! — кричит. — Мой ребеночек!» — и сама прыг в воду. Пришлось мне тоже прыгать и вытаскивать ее. Вытащили, а у нее в руках тот самый сверток. Она его к себе прижала и сверху желтый платок набросила — с головы своей сня-

ла. Темно уже, ночь, а она там же, на ветке, кормить грудью ребеночка начала. Мы ей отдали свои рубашки — я и Альфредо, чтобы еще завернуть младенца-то. Покормила она, завернула его и сидит на дереве, обеими руками прижимает к себе ребенка. Мы ей говорим — не жми его так, задушишь. А она и слушать не хочет, счастливая сидит, это, говорит, чудо, что я опять ребеночка нашла, что он, значит, к ней вернулся. Я, понятно, не поверил, что ее ребенок мог к ней вернуться, и хотел спичку зажечь, посмотреть на него, только все спички намокли, и ничего у меня не получилось. Когда уже стало светать, вдруг, слышим, Осьоса как вскрикнет и еще сильней прижала ребенка к груди, а нам на него смотреть не дает. Тогда мы спрашиваем, чего, мол, кричишь, может, что случилось с дитем. Думали, мертвый он, потом — нет, слышим, заплакал, и Осьоса опять стала ему грудь совать. Значит, живой. А она как чумовая какая, все одно и то же: «Мой ребеночек. Мой, мой!» Мы сидим и никак не поймем, в чем тут дело. Потом оказалось, что нашла-то она негритенка. А чей он был — неизвестно. У Осьосы ребенок был беленький, а этот черный весь, как вакса. Вырастила она его. И теперь еще, должно быть, жива, если не померла. В Камагуэй потом она уехала. Приехала за ней сестра и увезла ее. У нее в голове будто помутилось. Потому что в то наводнение и муж ее утонул — Фелипе.

И кто его знает, чей это был негритенок. Только нездешний, у нас таких не было. Говорили люди, что мальчишка этот из Ла-Вертьенте, семья его будто вся утонула. Но точно никто не знал...

В Лас-Десеадас возвращаются поздно. Дождь затихает. Эвакуированные, разместившиеся в общежитии, давно спят. В столовой, едва освещенной скудным желтоватым светом висячей керосиновой лампы, никого нет. Оставив «газик» возле столовой, Бруно с товарищами направляется к общежитию.

— Может быть, вам кофе разогреть?

— Она еще спрашивает! — радостно басит Аресио. — Ты всегда появляешься вовремя, Мерседес!

Улыбаясь, девушка бежит на кухню. Мужчины рассаживаются за столом. Мерседес возвращается с кофе, и, когда она расставляет чашки, заметно, что у нее слегка дрожат руки. Так и не подняв глаз на приехавших, она снова

скрывается в кухне. За ней, как привязанная, бегают Марипоса.

— Ну, а теперь спать! — говорит Луис. — Место-то найдется? — обращается он к Аресио.

— Еще бы! Эти общежития строились на триста человек. Пипе уже приготовил койки для вас.

— А я, пожалуй, посижу немного, — говорит Бруно. — Спать что-то не хочется.

Он смотрит, как товарищи скрываются в общежитии. Вытаскивает сигареты и спички, но и то и другое настолько промокло, что он даже не пытается закурить, а кладет пачку на стол. Рана снова начинает ныть. Бруно просовывает руку под рубашку и поглаживает больное плечо. Расстегнув воротник, он с наслаждением глубоко вдыхает прохладный, напоенный ночным ароматом воздух. В столовую опять вбегает Марипоса, опустив голову, бродит под столами, изредка что-то слизывая с пола. Бруно щелкает пальцами, подзывая ее, и гладит мягкую, чуть влажную шерсть. Подняв глаза, видит в раздаточном окошке Мерседес. Улыбаясь, она наблюдает за ним.

— Не бойтесь, она не кусается, — говорит девушка.

— А ее кормили? — спрашивает он.

Мерседес отрицательно качает головой.

— Так дай ей чего-нибудь. Собакам иногда тоже не мешало поесть.

— Я позабыла, — оправдывается девушка. — Она не моя, это Клаудии...

— Почему ты сидишь на кухне, а где же глухой?

— Спать пошел. Я сказала, что побуду пока здесь, а в три часа разбужу его.

— Тогда принеси что-нибудь собаке. А мне, если можно, еще немножко кофе.

Дождь почти перестал. Бруно смотрит через дверь на зябко вздрагивающую от редких крупных капель лужу и, встав из-за стола, направляется к выходу. Его тень падает на освещенную слабым светом лампы поверхность лужи.

— Уже уходите? — слышится голос Мерседес.

Бруно оборачивается и видит ее совсем близко с чашкой кофе в руках. В своей рабочей одежде она очень похожа на мальчишку, если бы не мягкий изгиб бедер да не робкие выпуклости груди под рубашкой. На этот раз Мерседес без платка и сомбреро, и Бруно видит, что у нее длинные золотистые волосы, спадающие на плечи. Жел-

товатый свет лампы играет в ее зеленых глазах. Лицо Мерседес заливают легкая краска.

— Нет, я еще посижу,— отвечает Бруно.— Присаживайся и ты.

Мерседес, не умея скрыть свое смущение, нерешительно и неловко присаживается рядом с ним. Она улыбается — знает, что это глупо, но ничего не может с собой поделать. Бруно, с чашкой кофе в руке, смотрит на нее, а потом отводит глаза. Теперь оба вглядываются в лужи за порогом и сидят молча, словно незнакомые. Но постепенно разговор налаживается, будто бы и пустой, с улыбками и шутками, но исполненный для них обоих особого смысла, заключенного вовсе не в словах. Говорят о наводнении, о том, что воздух сырой, о работе Мерседес в поселке. Она рассказывает, что ее дом стоит на пригорке, поэтому за мать она не беспокоится, а вот та не хотела вчера отпустить ее — боялась ливня. Но Пипе и Хесус сказали, что надо эвакуировать народ из низины, и позвали ее с собой. Бруно спрашивает, сколько ей лет и как у нее с учебой. Она жалуется на трудности. Более часа они беседуют теперь уже как старые друзья.

— Спички у тебя тут найдутся? — спрашивает Бруно, вдруг прерывая разговор. — А то мои совсем мокрые.

Мерседес идет на кухню, а Бруно смотрит ей вслед...

Взяв коробок, Бруно пытается зажечь спичку, но сквозняк сразу же гасит пламя. Тогда, сложив ладони лодочкой, он наклоняется к Мерседес, и она, тоже пригнувшись, закрывает своими ладонями разгоревшийся огонек, который отражается в их глазах желтыми пляшущими язычками. Осторожно, чтобы не погасить спичку, Бруно слегка прикасается к пальцам девушки, и от этого прикосновения ее охватывает незнакомое радостное чувство. Бруно наклоняется еще ниже, прикуривает, а Мерседес сидит неподвижно, с протянутыми вперед руками, боясь спугнуть это необыкновенное ощущение близости. Губы ее вдруг пересохли, на лбу выступили капельки пота, дышит она с трудом. Лицо девушки снова медленно заливают краска. Взглянув на нее, Бруно вдруг, словно опомнившись, убирает свои руки и встает.

— Большое спасибо,— сдержанно говорит он.

Растерявшись от неожиданности, Мерседес продолжает сидеть, и, удаляясь, он слышит ее тоненький, срывающийся голосок:

— До завтра.

Бруно шагает по лужам, и в ушах его, словно музыка, звучат эти слова: «До завтра».

Бебе подходит к ним и сообщает:

— Опять связи нет.

Говорит он это почти весело, с каким-то издевательским превосходством, от которого их коробит, и в то же время его звериная выдержка, его хладнокровие вызывают у них восхищение.

— Нет, из этого дела нам по-доброму не выбраться, — тянет Куэто.

— Не канючь. — Бебе возвращается к радиостанции, снова пытается установить связь.

— Пропали мы, — тянет Куэто.

— Заткнись! — Сиако грубо обрывает его.

Куэто проводит грязной ладонью по щекам и что-то зло отвечает Сиако. Тот его не слушает. Он мнет в руках комок глины, сосредоточенно о чем-то думает. Тогда Куэто начинает говорить громче, пересыпая свою речь ругательствами. Это раздражает Сиако, отвлекает его от невеселых размышлений. «Словно всадник с завязанными глазами, — думает он, — летишь, а куда?» И снова обрывает Куэто:

— Да замолчишь ты, скотина?!

Но не это останавливает Куэто. Он вдруг замечает направленное на него дуло М-3. Один из прибывших, хмуро поглядывая на Куэто, держит автомат, поигрывая обеймой: то снимает ее, то резким щелчком снова вставляет на место. Куэто умолкает и, отведя взгляд от черной дыры дула, начинает рассматривать свои грязные ботинки. Сиако берет глины побольше, тщательно разминает и, сделав круглый комок, с ожесточением бросает его в большой лист, плавающий в соседней луже. Потом долго смотрит на Бебе в наушниках, сидящего на корточках возле рации. Вдруг Сиако что-то замечает, он дотрагивается носком ботинка до присевшего неподалеку Куэто и кивает в сторону Бебе. Куэто тоже смотрит туда и хочет встать, но Сиако взглядом останавливает его. Затаив дыхание, он наблюдает за Бебе и радистом. Сняв наконец наушники, Бебе приближается к ним. Оба вскакивают.

— Указания такие, — безразличным голосом произносит Бебе, внимательно глядя на них своими холодными

глазами. — Нам надо оставаться здесь и ждать. Какие у них там планы, пока не знаю, сказано только, чтобы мы оставались. Вы можете идти по домам, но ваше возвращение ни у кого не должно вызвать подозрений. Связь будем поддерживать по радио. Сюда вы явитесь только по нашему вызову. Слышите — только по вызову! Забудьте, что мы здесь. Когда будет нужно, сообщим. Что касается денег... Вот вам... Теперь такой вопрос: как вы объясните дома свое отсутствие? Подумали об этом?

— Подумали, — отвечает Сиако.

— Как?

— Скажу, что Куэто позвал играть в домино. Я поехал, но по дороге у нас сломалась машина, ну а потом начался ливень, и нас отрезало от дома.

— Что сломалось в машине?

— Что-то с карбюратором.

— А как починили, сумеете объяснить?

— Еще бы.

— Раньше когда-нибудь карбюратор отказывал?

— Не раз.

— Учтите, что...

— Будьте уверены. Все будет шито-крыто, всю жизнь исподтишка действуем. Нам наши шкуры, как вы выражаетесь, еще дороги.

— Ну, не будем препираться. Старайтесь казаться спокойными. Вот вам совет, как лучше спасти шкуру.

— Ладно.

— Есть какие-нибудь вопросы или все ясно?

— Все.

— Тогда желаю удачи.

Куэто и Сиако быстро исчезают в зарослях. Всюду пологие сучья, согнутые ураганом деревья. Лес стоит покурый и будто все еще не оправился от пережитого ужаса. Земля сырая и скользкая. Хотя дождь давно уже прекратился, с листьев капает вода. Кажется, что по лесу только что промчалось стадо взбесившихся животных.

«Если сегодня утром он посмотрит на меня и улыбнется, как вчера, и скажет: «Здравствуй, Мерседес», — значит, он думал обо мне. Господи, как хочется поцеловать его, дотронуться до его лица, прижаться к нему! И смотреть на него долго-долго, и не смущаться, не стыдиться. Я бы, наверное, целыми часами смотрела: и когда он ходит, и

когда спит. Все, все мне в нем нравится, и даже как он рукой взмахивает, когда говорит. Поэтому, как только я его увидела, сразу догадалась, что это о нем я всегда мечтала. И кольца у него на пальце нет, даже следа никакого не видно. Только он наверняка женат на какой-нибудь моднице из Гаваны, красивой, ногти наманикюрены и прическа как в журнале. А может быть, он все-таки хоть немножко думает обо мне? Нет, у него в голове, наверное, одни дела. А если и выдается свободное время, то думает о той, о гаванской... Хорошо бы немножко подумал обо мне, ну совсем, совсем немножечко... Вот если утром улыбнется, как вчера, и скажет: «Здравствуй, Мерседес», — значит, думал... Ах, какая я глупая: когда вчера он рассказывал, что издали никак не мог узнать меня, надо было спросить, какого цвета платок ему больше нравится. Я бы всегда его повязывала, чтобы он сразу узнавал... А как было бы здорово, если бы я могла сказать ему: «Сегодня вечером ровно в девять я буду думать о тебе» — и поцеловать его в нос... А он бы мне ответил: «Порядок. Я тоже буду думать о тебе в девять ноль-ноль». Вечером смотрю на часы: ровно девять. Я скорей закрываю глаза, прижимаюсь к подушке и изо всех сил думаю о нем. А он тоже думает обо мне... А еще лучше все время быть вместе. Мы бы так дурачились, смеялись. Я бы погладила его рукой по щеке, а потом положила бы ему в рот леденец и губами отняла... Ой, что я такое думаю! На работу я всегда надевала бы платок, который ему нравится. Он подъедет на своем «газике» и сразу по платку догадается, что я его люблю, как если бы я на стене правления написала: люблю нашего директора Бруно. А хорошо бы он подошел ко мне в питомнике и при всех поцеловал. Пусть бы они рты раскрыли от удивления и сказали: «Вот бесстыдники!» Зато не стали бы больше приставать ко мне и смеяться... Нет, хорошо бы он и вправду обо мне немножечко думал! Вот если утром он улыбнется и скажет, как вчера: «Здравствуй, Мерседес!» — значит, все-таки думал...»

Когда утром Бруно, выйдя из дома, направляется к машине, он видит Мерседес и улыбается ей. Несколько мгновений они смотрят друг на друга. Мерседес чувствует, как у нее слабеют ноги, как суеверный радостный страх охватывает ее, как рука, которой она посылает Бруно прощальный привет, слегка дрожит.

Два «газика» разворачиваются на площадке перед столовой и общежитием. Мерседес смотрит на Бруно, а он выглядывает в боковое окно, пока машина не скрывается за поворотом дороги, ведущей к Эль-Деррумбадеро. Узкий путь лежит между двумя канавами, до краев полными рыжей водой. Она течет солидно, не спеша, а на ее поверхности пляшут какие-то щепки, листья и прочий мусор. По обеим сторонам торчат поломанные деревья, с укором устремившие к небу свои изуродованные стволы. Воздух, как и всегда после большого дождя, насыщен запахами глины, сырого дерева и эвкалиптовых листьев. «Ну что за девчонка...» — думает Бруно.

— Рано утром я отрядил целую бригаду на поиски, — докладывает ему Аресио.

— Вода быстро идет на убыль, — замечает Хорхе.

Там, где она уже сошла, все сплошь покрыто красноватым илом. На пригорке машины останавливаются, все смотрят, как потоки, текущие по обочинам дороги, вливаются в мутные воды огромного озера, скрывшего низину Эль-Деррумбадеро. А еще дальше и сама дорога, упираясь в озеро, исчезает под его шоколадной гладью. Там виднеется трактор с прицепом, вода доходит до середины колес.

— Это спасательная бригада, — объясняет Аресио.

Над поверхностью озера кое-где выступают хозяйственные постройки и дома, видны вершины деревьев.

— Сможешь здесь проехать? — спрашивает Бруно у Хорхе. — Нам во что бы то ни стало надо побывать в остальных бригадах, узнать, как там дела.

— Поезжайте вот тем пригорком, — советует Аресио. — Там тоже есть дорога. А я останусь с бригадой.

— Если что понадобится, обращайтесь в правление, — говорит, прощаясь, Бруно. — Поскорее составьте докладную о нанесенном ущербе.

«Газик» метров сто движется задним ходом, потом поворачивает в сторону — к отлогому холму. И долго еще его пассажиры, высунув головы, смотрят на широкую гладь мутной воды, на плавающие по ней искалеченные деревья.

— Надо будет, не откладывая, начать здесь заготовку жердей для сушки табака и подпорок для саженцев, — говорит Хорхе.

Неожиданно и эта дорога уходит под воду, уходит плавно, словно тонкое лезвие; без всплеска и волн. Нигде буд-

то бы она не шла под уклон, и тем не менее перед ними спокойное зеркало воды, и дорога уходит в озеро, будто так и надо, будто так и было задумано.

— Тут не проехать.— Хорхе останавливает машину у самой воды.

— Подожди,— отвечает ему Пабло.

Он и Луис входят в воду и медленно движутся вперед, лопатами ощупывая дно. Бруно и Хорхе видят, что вода доходит им лишь до щиколоток, но иногда Пабло и Луис погружаются вдруг до колен, а то и до пояса. Орудия лопатами, они находят наиболее мелкие места. Зайдя за холм, поворачивают назад.

— Давай за нами! — кричит Пабло.

Машина осторожно въезжает в мутную, густую воду, оставляя за собой пенный след. Когда «газик» снова выкатывается на дорогу, Пабло и Луис, мокрые и грязные, забираются на сиденье. Луис хлопает Хорхе по плечу и довольным голосом говорит:

— Видишь, и невозможное возможно.

Бруно, улыбаясь, смотрит на него.

— А помнишь?.. — поворачивается к нему Пабло.

— Еще бы! Почти так же было.

Луис тоже хочет что-то сказать, но Пабло крепко сжимает его локоть и глазами показывает на Хорхе.

— Он ничего не знает? — спрашивает Луис шепотом. — Никто не знает?

— Нет,— отвечает Пабло.

— Почему?

Пабло пожимает плечами.

— А в других бригадах нет таких низин, как в Эль-Деррумбадеро? — перебивает их Бруно.

— Нет,— отвечает Хорхе.— Если только в Ла О: там море иногда заливал берег.

— Как ты сказал?

— Я говорю, может в Ла О берег залить.

— Как, как? — переспрашивает Бруно.

— Море там совсем рядом...

— Но ты сказал: Ла О?

Хорхе непонимающе смотрит на него, потом на Пабло и Луиса. Те улыбаются.

— Бригада Ла О называется теперь бригадой имени Феликса Лопеса,— напоминает Бруно.

— Правильно,— рассмеялся Хорхе.— Привычка...

ЧАСТЬ III

Дороги у нас здесь всегда или пыльные, или грязные. И в воздухе если не дождь, то пыль. Случаев всяких на этих дорогах ужас сколько было. И теперь еще бывают. Пропади они пропадом, эти дороги. Самые страшные наши беды какие? Первая — гроза, вторая — пыль и третья — дороги. Особенно ночью. Если ты, к примеру, ночью спишь светлячка и он упадет на дорогу, то сразу делается большой, как мячик, будет кататься взад и вперед. А то еще бывает: в темноте вдруг зажигаются разноцветные огоньки, вот такие — с фрутабамбу *. И освещают всю дорогу. Это, говорят, души грешников. А другие огни, побольше, голубые, — это праведные души. Или птиц возьми, они, бывает, кричат возле дорог человеческими голосами. Ужас, какие здесь дороги. Как-то раз, говорят, на дорогу с неба даже зонтики спустились, и все-разноцветные. Лошадей тоже нечистый на дорогах треножит! А по дороге к Бабьему ручью кот бродит. Черный. И говорят, если кто в новолуние его ногой отпвырнет, кот сразу оборачивается жеребцом и скачет вдоль ручья.

Мертвецы тоже встречаются по этим дорогам. Не привидения, а самые настоящие мертвецы, потому что они гниют и вороны на них слетаются. Я сам не раз видел. Понятно, было это давно, еще при Полковнике-Вешателе...

* Фрутабомба — так на Кубе называют папайю, или плод дынного дерева.

Да, дороги тут такие страшные, что не дай бог... Другой раз идет, идет дорога и вдруг теряется в траве, в зарослях разных. Нынче-то, конечно, особенно травой не зарастешь — такие огромные машины тут ездят. Какое там! Под такими грузовиками и травинки не останется. Вон, погляди! Видишь, какая махина прет, аж пыль столбом!

«ЗИЛ», груженный свежесрубленными смолистыми бревнами, катит по ровной дороге, оставляя за собой длинный, медленно оседающий шлейф из пыли.

В целом плантации не сильно пострадали от циклона, валило главным образом эвкалипты и махагуа. Сосновые леса, за исключением молодых рощиц, почти повсюду устояли. В бригадах Монте-Гранде и имени Феликса Лопеса ущерб вообще был незначительным. Наиболее чувствительный урон потерпели Лас-Десеадас и низина в Эль-Деррумбадеро.

После проливных дождей наступило затишье, теплый ветерок высушил лужи. И только тогда появился наконец Сиако, рассказавший о злоключениях, которые им с Куэто пришлось пережить. А потом, когда с неба исчезли последние клочья серых облаков и солнце вновь засияло над дорогами, стала сходить вода и в Эль-Деррумбадеро. Тут и нашли негра Амансио, мертвой хваткой вцепившегося в узловатую корягу. Широко открытый рот и нос его забиты тиной и грязью. Труп уже распух и был исклеван стервятниками.

Бруно, Луис и Хорхе снова приехали в Эль-Деррумбадеро, когда вода уже сошла, и над землей, как над пожарищем, курился пар. Вместе с ними в долину на нескольких грузовиках приехали рабочие отряды, которые немедленно приступили к валке и вывозке поврежденного леса и восстановлению пострадавших построек Лас-Десеадас. В это же время в поселок стали прибывать грузы из Гаваны. Особенно много пересудов вызвал самый большой ящик: на нем черной краской были нарисованы рюмка и зонтик.

С раннего утра в поселке царил деловая атмосфера. Группы рабочих, вооруженных пилами, топорами, лопатами, виднелись повсюду. Один за другим приезжали грузовики с инструментами, лесом или уже готовыми досками с лесопилки. Неподвижный, нагретый солнцем воздух

скоро насыщался испарениями, поднимавшимися от земли и растений, становилось трудно дышать.

Серхио и Пипе занимались распределением спецодежды, обуви, инструмента, а также вели учет проделанной работы. Мерседес организовывала питание. Бруно успевал везде: его можно было встретить и среди строителей, и в Эль-Деррумбадеро, и в конторе, и среди рубщиков леса.

Однажды утром на голове Мерседес появился новый платок ярко-апельсинового цвета. Его можно было заметить издали, так он выделялся на фоне влажной зелени. Когда на дороге показывался «газик» Бруно, Мерседес снимала сомбреро, которое обычно носила поверх платка. Теперь никто уже над ней не смеялся.

Земля, высыхая, постепенно теряла свой ярко-красный цвет, зелень сосен, покрываясь пылью, тускнела. Дороги затвердели, о прошедших ливнях напоминали только промоины по сторонам — следы бушевавших здесь потоков. Почва опять покрылась трещинами, солнце и ветер быстро превращали высохшую глину в мелкую летучую пыль.

На строительные работы ушло больше месяца. Когда они были завершены и к тому же построено новое здание школы, в Лас-Десеадас состоялось небольшое торжество. В этот вечер в затерянном среди холмов поселке впервые зажглись электрические лампочки, их огонь весело отражался в глазах людей, играл на каждой вещи, и даже пыльный воздух словно засветился. Старухи и ребяташки немного испугались, когда на площади одновременно вспыхнуло несколько лампочек. Но тотчас же народ восторженно загудел.

— Батюшки, так и ослепнуть можно, — бормочет какая-то бабка, прикрывая ладонью глаза.

— Вот не думал, что и ночью у нас столько пыли.

— Чего они рты разинули, будто никогда не видели электрического света.

— А что ты думаешь, многие и не видели.

— Нет, вы только посмотрите!

— Я видел. Только не здесь, понятно. Каким чудным все кругом стало.

— Господи, сверкает-то как!

Дети поменьше на всякий случай прячутся за матерей, с любопытством выглядывая из-за их юбок.

— Неужели и правда есть такие, кто никогда электрического света не видел?

— Конечно, есть. Молодежь-то видела, а старики и детишки никогда отсюда не выезжали, где же им было видеть?

— Смотрите, что делается!

— Теперь они, что же, всегда будут гореть?

В праздничном свете лампочек улыбки кажутся шире, а удивление и растерянность еще сильнее.

— Нет, вы только посмотрите!

— Вот это да!

— Мамка, погляди, будто звездочки с неба опустились.

— Через месяц дадим свет во все бригады. Радио наладим...

— С чего это старуха прослезилась?

— Чего плачешь, бабка?

— Мамочка, а как это делают?

— Видишь, сделали даже больше, чем обещали.

— Просто загляденье!

...Она проходит в ярком свете ламп, почти физически ощущая на себе жадные взгляды мужчин. Оборачивается и читает во всех этих взглядах одно желание. Идет дальше, мягко покачивая бедрами, выставив вперед вызывающе высокие груди, туго обтянутые кофточкой, потом, приняв притворно-безразличный вид, улыбается.

— Гляди, как идет, а?

— Мать честная, вот баба!

— Только мотор больно шумит, а то бы совсем хорошо...

— Видишь, как обещали, так и сделали. И одежду выдали, а теперь вот и свет!

— А в дома будут проводить?

— Я бы не мог с такой женой жить — на корню засушит...

— Нет, это только для правления да общежитий.

— А может, в ближние-то дома проведут?

— Не знаю, может, и проведут.

Сиак с равнодушной миной, искоса наблюдает за Нати. Когда замечает, что кто-нибудь на него смотрит, отводит взгляд, улыбается. Переходит от одной группы мужчин к другой, перебрасывается несколькими словами.

— Какая приятная неожиданность! — повторяет он то и дело с наигранной веселостью.

Нати и Клементе шагают рядом, он крепко прижимает ее к себе, обняв за талию. Она опустила глаза, избегая

жадных взглядов. Лишь иногда подымает голову, пытается увидеть Сиако в тесной толпе. «Что это он мне вчера сказал! Что же теперь делать-то? И говорил как-то непонятно, будто не договаривал чего-то...»

Осмелевшие ребятишки носятся по площади, а старухи все еще прикрывают глаза от яркого света. Молодежь собралась вокруг грузовика, на который один за другим забираются местные поэты, чтобы прочесть собственные стихи. В сторонке, подальше от людей, одиноко сидит на скамейке Клаудиа. Уставилась неподвижно на яркие лампочки, и, будто озаренные их светом, вновь и вновь всплывают все те же воспоминания...

Вот они с Сиако в городе. Он взял ее с собой, как и обещал. Сколько огней! Даже глаза заболели. Туфли ей купил, платье, в кино водил... В маленькой комнате гостиницы он обнимал ее, целовал. Потом она просила его выключить свет, он не хотел, говорил, что ему так нравится. А ей было стыдно. Сиако успокаивал: «Не бойся. Все будет в порядке. Я сам поговорю с твоим отцом. А жить мы уйдем куда-нибудь в другое место. Дом построим». Зачарованная необыкновенным светом, непохожим ни на свет луны, ни солнца, ни керосиновой лампы, смотрела она в его глаза, в которых тоже прыгали огоньки, и шептала: «У нас будут дети, много детей, да?» — «Сколько ты захочешь», — отвечал Сиако. «И ты всегда-всегда будешь меня любить?» — «Всегда!»

— Что с тобой? — спрашивает Сиако, приближаясь к жене и кладя ей руку на плечо.

— Ничего.

— Пойдем пунша выпьем. Слышь, Клаудиа, пойдем.

— Народ-то разгулялся и совсем не думает спать ложиться.

— Потому что светло.

— Даже пыль в воздухе видна.

— Никогда не думал, что и ночью такая пыль стоит.

— А ты вон куда взгляни!

— Говорят, что в грозу их нельзя зажигать, молнии притягивают.

Заметив Клаудиу и ее мужа, Хорхе говорит:

— Что-то Сиако в последнее время переменялся. Каждый день на работу выходит. К жене, посмотри, как ластится.

— Человек на краю гибели был. Потом всегда чувству-

ешь раскаяние, угрызения совести,— замечает Аресно и с улыбкой спрашивает у Бруно: — А что вы скажете о Сиако?

— Станный он какой-то,— серьезно отвечает тот. Улыбка сходит с лица Аресно.

Вот я и говорю: дороги. Для меня они как люди. Она, дорога-то, значит, по-своему тебе все рассказывает, пока идешь по ней. Я что хочу сказать? Для старика, такого, как я, например, здешняя дорога все равно что человек. Она тоже идет куда-то, идет, а потом, смотришь, и нет ее. Сперва понемногу, а потом все больше травой зарастает — и считай, она уже не дорога. И люди, что со временем тоже вроде зарастают сорняками, уже не люди. Вот и получается, что к старости вокруг тебя уже ни дорог, ни людей не остается, все травой зарастает. Ищи не ищи, а все равно ты один, это уж я точно говорю.

Китаец Ти Лин на мулах тут работал. У этой самой дороги стоял наш дом, а дальше — дом, где жила Ольгита. Мимо нас Ти Лин все время и ездил — уголь возил, табак. С малых лет его помню. Да и как не помнить. Тут, на этой дороге, я и вылечился от страха. Мне тогда четырнадцать лет было. А потом, годов через шесть, опять на меня страх напал. С тех пор я и остался таким пугливым на всю жизнь. Вот потому мне и запомнилась эта дорога. Здесь она проходила. Шла, значит, мимо этого дерева и дальше — туда, через ручей.

Клаудиа возвращалась с праздника в немного приподнятом настроении. То ли потому, что Сиако приласкал ее, то ли из-за освещенной луной дороги, напоминавшей ей ту, другую, только закралась ей в душу робкая надежда. Но чем дальше они шли, тем заметнее менялся Сиако, в голосе его снова зазвучали резкие, раздраженные нотки.

— Хорошо они сделали, что свет провели... Слышишь, Сиако?

Сиако, едва оглянувшись, бросает:

— Ладно. Поторапливайся!

— И директор совсем неплохой человек.

— Лиса! Хуже лисы!

Клаудиа догоняет Сиако, идет рядом. Их тени прыгают по частоколу длинных неподвижных теней от деревьев, пересекающих дорогу.

— Ко мне он отнесся очень хорошо, — продолжает Клаудиа. — Мерседес тоже. И Пипе. Все отнеслись хорошо.

Пыльная дорога словно мерцает в темноте.

— Поэтому они и хорошие?

— Я не понимаю, Сиако, почему ты стал такой...

— Ну, завела...

— Да я ничего, просто мне хотелось, чтобы ты знал, как хорошо ко мне отнеслась Мерседес. Как за матерью родной ходила. Вечерами все сидела со мной в столовой — разговаривала, успокаивала. И директор тоже.

— О чем же вы толковали?

— Да обо всем. И Бруно вежливо так разговаривал.

— Лиса! Что он тебе говорил? — настораживается Сиако.

— Ничего особенного.

— Как ничего?

— Да не помню я. У меня в те дни все в голове перемешалось, очень я волновалась за тебя.

— Так уж и перемешалось!

Луна, выбравшись наконец из-за большой сосны, светит прямо в лицо Клаудии, делая его еще более бледным и безжизненным.

— Что же он говорил? — пытается вспомнить Клаудиа. — Чтобы я не беспокоилась, что в беде, мол, меня не оставят. И что ты, наверное, не утонул, а укрылся где-нибудь в безопасном месте.

— Так и сказал?

— Да, а что?

— Спрашивал еще что-нибудь про меня?

— Нет.

Сиако останавливается. Лицо его насуплено.

— Говори, что он про меня спрашивал!

— Да ничего. Зачем я тебе врать буду? — тоже останавливаясь, отвечает Клаудиа.

Угрюмо сверкнув на жену глазами, Сиако идет дальше. Клаудиа торопится за ним. Вдруг он снова резко поворачивается, хватая ее за плечи и несколько раз сильно встряхивает.

— Вспомнишь ты или нет, чертова баба, что ты ему про меня говорила?

— Ну я сказала... что ты какой-то чудной стал, не такой, как рапыше.

— Дура! Что еще?

— Что в последнее время ты не в настроении. Вроде чем-то озабочен.

— А он что?

— Ничего. Никакого внимания не обратил. Улыбнулся только.

— Сука!

Железные пальцы мужа сжимают запястье Клаудии, она вскрикивает от боли.

— Тихо... Про приемник рассказала? — Он впивается глазами в ее лицо.

С холмов, заросших соснами, потянуло ветерком, крепко настоящим на свежей хвое. Вдруг где-то совсем рядом раздается свист. Вздвогнув, Клаудиа инстинктивно прижимается к Сиако.

— Это птица, — отстраняет он жену от себя. — Так говорила о приемнике или нет?

— О приемнике ничего не говорила. Зачем же я стану говорить?

Несколько успокоившись, Сиако предупреждает:

— Ни в коем случае не говори. Учти, я связан с одним делом, которое может стоить мне жизни, понимаешь? Если кто-нибудь станет расспрашивать обо мне, ничего не рассказывай!

— Ни за что не расскажу, Сиако, — испуганно бормочет Клаудиа.

— Ну ладно, пошли.

Снова две тени шагают рядом.

— Поторапливайся, поздно уже. Видишь, как они за меня взялись, — бормочет Сиако. — Ну, погодите, мы еще рассчитаемся. Я вам устрою такое, что за счастье почтете быть повешенными. Ты, Клаудиа, выбрось из головы, что они хорошие. Они хуже собак.

Клаудиа молча вздрагивает. В ее расширенных от страха глазах светится покорность. Только этот взгляд, эта покорность и остались от прежней Клаудии, той, которая ждала его когда-то в кустах.

До четырнадцати лет я был страсть какой боязливый. Дед, помню, по вечерам ходил к куму в домино играть и меня

брал с собой. Так вот, пока они там играли, я сидел ни жив ни мертв. Вцеплюсь, бывало, в табуретку и сижу. А когда обратно шли, я от деда ни на шаг, все время за его штаны держался. Идти надо было два километра, и я всю дорогу думал о привидениях, хоть и не знал, что это такое. У нашего дома дед ждал, пока мне не откроют дверь. Я сразу в дверь прошмыгну — и скорей спать. С братом спал, один боялся. И ночью тоже, если мне, значит, на двор надо, я бужу брата, он постарше меня был, ну и провожал меня каждый раз. Как-то проснулся я утром и спрашиваю мать: «Мама, — говорю, — почему я так боюсь по ночам и никуда не могу один ходить?» А она мне в ответ: «А ты, сыпок, не бойся, ты скажи: «Во имя бога и пресвятой девы Марии», и тогда никакая нечисть к тебе не пристанет». Ну, тут я сразу осмелел и говорю: «Нынче вечером один к куму пойду, ничего не побоюсь!» Приготовил мачете, заранее заговоренный именем бога и девы Марии, и почувствовал себя настоящим мужчиной. Извелся весь, пока вечера дождался. Наконец пришел за мной дед. Я, значит, повесил на пояс мачете и пошел. И не цепляюсь больше за деда, а иду сзади. Он кричит, чтобы я не отставал, а я все равно иду себе не спеша и ничего ему не отвечаю. Тогда дед и говорит: «Видать, ты где-то купил нынче храбрости». Когда мы уже почти дошли до места, я взял да и повернул назад и один пошел домой. Иду, а сам все думаю, как меня мать учила, и потихоньку про себя повторяю: «Во имя бога и пресвятой девы Марии».

И за мачете держусь: то выну его чуть-чуть, то опять вставляю в ножны. Миновал я, значит, дом Ольгиты, от него до нашего целый километр. Понятно, нет-нет да и назад поглядываю. Подхожу к тому дереву — сейбе, где, говорили, по ночам женщина являлась. Тут дрожь меня стала пробирать. Ветерок откуда ни возьмись подул, и, слышу, шуршит что-то и вроде шевелится в темноте. Потом ветер завертел, закрутил сильнее, и вдруг чудится мне крик какой-то приглушенный. Обомлел я весь, пу, думаю, та самая женщина и есть. Потом оказалось, бумажка какая-то шуршала, кто-то обронил ее на дороге. Конечно, когда я бумажку-то заметил, понял, что зря испугался. Однако на всякий случай прямо по дороге не пошел, а взял правее, мимо дерева, напрямик к мостику. Тут был такой небольшой мостик, кривой, на честном слове дер-

жался. Теперь-то он уже совсем развалился. Вдоль него две жерди положены вроде перил. Взошел я на этот мостик, сперва все вниз смотрел, а потом как взглянул вперед-то... Вижу, у конца мостика человек стоит, желтый весь, ровно мертвец. Мертвых я к тому времени уж повидал: бабка моя незадолго до того померла. Как сейчас помню — огромная шишка на лбу у нее была. Ну так вот, смотрю — стоит человек и вроде поджидает кого-то. Меня, надо полагать, дожидается. Только я с мостика-то сошел, а он ногу раз — и на тропку. «Доброй ночи», — говорит. Я, конечно, сразу же: «Во имя бога и пресвятой девы Марии» — и наутек. Бегу, кричу и сам не знаю, чего кричу и куда бегу. Потом только я понял, что в овраг бросился. Метров двадцать пять глубиной овраг и травой весь зарос, высокой и густой. Зацепился я ногой и кубарем вниз — руку и сломал. Лежу на дне, ору что есть мочи. А дом-то наш уже близко был. Услышали родные, бегут ко мне. Мать спрашивает: «Что с тобой, сынок?» Я говорю: «Мертвец! Мертвеца я увидел». «Где?» — спрашивают. «Вот там, у мостика». А там у мостика и вправду человек стоит. Стоит и тоже никак в себя прийти не может. Когда отец к нему подошел, человек сказал: «Понимаете, сеньор, я вижу, по мостику кто-то идет, ну и решил подождать, чтобы разминуться. Потом говорю ему: «Доброй ночи», а он мне: «Во имя бога и пресвятой девы Марии» — и в овраг».

Ну привели меня домой, а мать и говорит мне: «Сынок, чего же ты испугался? Это Ти Лин был, китаец». Тут я тоже понял, что это был Ти Лин, и говорю матери: «Знаешь что? Не верю я больше ни в бога, ни в пресвятую деву Марию, и в привидения ваши не верю и бояться их никогда не буду». Четырнадцать лет мне тогда было. И правда перестал бояться. А в двадцать лет меня опять страх обуял. Вот такие-то дела у нас тут.

— Здесь картина не та, что в Лас-Десеадас, — объясняет Хорхе. — Расчистку придется делать только на участках, где лес моложе шести лет.

Они стоят возле «газика». Бруно слушает Хорхе, а сам смотрит туда, где женщины, окутанные густой пылью, движутся по дороге к питомнику.

— Растчищать надо будет не только вокруг сосенок. Надо вырубить поврежденные деревца, посадить вместо них новые, а также уничтожить кустарник, плющ, лианы. Необходимо подробно проинструктировать рабочих и постоянно контролировать их, — продолжает Хорхе.

— Вы не пробовали применять гербициды? — интересуется Бруно, отрывая взгляд от дороги и поворачиваясь к Хорхе.

— Пробовали. Но здесь очень сухие почвы — происходит самовозгорание, — отвечает Хорхе. — Ливни оставили тут много канав и промоин. Надо перегородить их. Для этого используем лес, полученный при расчистке плантаций. На первый взгляд ущерб у нас не очень большой, но разрушение почвы посерьезнее, чем в Лас-Десада.

Бруно снова всматривается в даль, но женщин уже не видно.

— ...Вымоины следует закрывать в зависимости от их глубины и степени эрозии почвы, — деловито поясняет Хорхе. — Ветви, сучья и кустарник складывать в определенном порядке — против возможного течения и корнями вверх, а потом плотно прижимать камнями.

— И много народу потребуется для этого? — спрашивает Бруно, продолжая вглядываться в дорогу, и видит женщин уже подходящими к питомнику.

— С рабочей силой по-прежнему трудно, — вмешивается Яйо.

— Прогулы? — настораживается Бруно.

— Меньше уже, но все же прогуливают. Особенно когда начинается уборка на личных участках.

Бруно смотрит в сторону питомника, женщины опять исчезли из виду.

— Как с выпасом скота? Распоряжение выполняется? — спрашивает он.

— Выполняется, — неуверенно отвечает Яйо. — Задержали лесники двоих или троих. Но за всеми трудно уследить.

— Скоро будет легче, — заверяет Бруно. — А пока надо следить. Вот установим радиосвязь и упорядочим наблюдение. Радиостанция у вас уже есть?

— Есть, — отвечает Яйо.

— И как народ?

— Доволен, конечно...

Бруно замечает быстро приближающихся троих мужчин. Он уже знаком с ними. На запыленных лицах дорожки от пота. Мокрые волосы прилипли к голове, словно на них только что выплеснули по ведру воды. Самый старый нервно жует потухшую сигару. Загорелое лицо его изрезано глубокими морщинами.

— А мы к вам, — задыхаясь, обращается он к Бруно.

— Почему так торопились? Стряслось что-нибудь?

— Спросить вас хотим кое о чем, — продолжает старик.

— Хорошо. Но теперь-то уж спешить некуда. Пойдемте в столовую, отдохните немножко, воды выпьете, кофе. Там и поговорим, — приглашает Бруно.

По дороге он кладет руку на плечо старика.

— Что вас так взволновало?

— Нас, понимаете, вызывали в город — опять о Миле расспрашивали. Ну мы, конечно, то же самое сказали, что и раньше. Правду то есть. А потом мы их тоже спросили, будут у нас землю отбирать или нет. Они ответили, что не знают. Знают только, что земля государственная, и все.

В столовой расселись за длинным столом. Яйо принес кофе. Пришедшие пили молча, переглядывались между собой. Наконец Бруно спрашивает старика:

— Ну и что же дальше?

— Дальше? Слухи у нас тут ходят, что отбирать будут землю. Кооперативы какие-то создавать...

— Кто вам это сказал?

— Народ говорит. Вот мы и хотим, чтобы вы сказали нам прямо: отберут землю или нет. И без всяких там отговорок да увороток. Не люблю я этого.

Девчонка одна у меня была, жила на этой самой дороге. Дочка дона Ансельмо. А я, надо вам сказать, в то время был гол как сокол, умереть и то было негде. Дон Ансельмо и слышать обо мне не хотел — он-то богат был, дом у него всей округе на зависть. Когда он в город собирался, гуайабери надевал, шляпу дорогую, на лошадь — серебряную сбрую мексиканскую. Чтобы свидеться с Ольгитой — так девчонку-то звали, — я через Ти Лина передавал ей весточку. Встречались мы в сарае для сушки табака, недалеко от их дома. В те времена тут по долинам еще разводили табак. Давно это было. Девчонка, правду говоря, не по мне была — любой богат за честь бы посчитал... Ну

вот, значит, прихожу я раз на свидание в сарай в этот самый, сижу и жду. А уже темнеть стало. Чувствую, рядом со мной ящик какой-то. Сунул руку — рыба вяленая. Взял одну, прилег на сиденье от старой коляски, лежу, жую и думаю о всякой всячине, чтобы время как-то убить. Ольгита ведь приходила ко мне украдкой, поэтому, случалось, и запаздывала. Жую я, значит, и вдруг чувствую: во рту у меня пена. А тут еще кто-то ящик этот как толкнет! Я сперва подумал, что это дон Ансельмо, узнав о наших с его дочкой проделках, подстерег меня. Потом гляжу — нет: волосатый кто-то стоит передо мной, то ли на сову похож на большую, то ли па обезьяну. И руки растопырил, чтобы, значит, я не выскочил из сарая. А я ни шелохнуться не могу, ни крикнуть: рот-то полоп пены, и тошнит меня, чувствую. Схватил тогда этот лохматый меня за шиворот и поволок через весь сарай, а сам бормочет: «Каррамба! Каррамба!!!» Я только ногами дрыгал, пока не вспомнил, как меня мать учила. «Во имя господа бога,— говорю,— и пресвятой девы Марии!» И тут чудище это, гляжу, затихло. А потом отшвырнуло меня обратно к ящику с рыбой, и нет его, как будто и не было. Пришел я немного в себя и тут уже по-настоящему перепугался: а вдруг, думаю, снова вернется? Из сарая летел как черт от ладана. Прибежал домой, жар у меня, так весь огнем и горю. Всю ночь бредил и кричал что-то. А наутро позвал Ти Лина и велел ему передать Ольгите, что больше к ней не приду. Да бог с ней теперь уже, с Ольгитой. Я вот до сих пор понять не могу, что это такое лохматое там было? Думается мне, что дон Ансельмо колдунью подослал. Потом мне кто-то рассказывал, что видели чудище это в доме у Карлоты, па Бабьем ручье, там, где крест торчал из воды. А Карлота могла, говорят, превращаться в большую сову...

Потом, через год, слышал я, вышла Ольгита замуж за одного господина из Монте-Гранде, и они отсюда уехали. Теперь небось этот подонок, муж Ольгиты то есть, уж помер давно, и могила его чертополохом заросла, как и наша с Ти Лином дорога...

...Она не видела, как рука выскользнула из кармана брюк и взметнулась над ним. Увидела лишь мелькнувшее в воздухе лезвие. Она только что вернулась в зал, и в этот момент Марио выбил нож из руки противника...

Сейчас даже трудно сказать, как это произошло, она только помнит, что блестящее лезвие, стукнувшись о стол, упало на пол. А мужчины уже сцепились. Лицо у противника Марио было перепачкано кровью. Сидевшие за столиками бросились к ним, скрутили руки, растащили. Нати подошла к Марио и увела его к себе.

— Что он с тобой сделал? Ну-ка покажи руку!

Она поняла, отчего лицо у противника Марио было в крови. На ладони Марио зиял глубокий разрез.

— Похоже, что я схватился за лезвие, а он отдернул руку, — сказал Марио.

Нати лежит в постели и вспоминает... В тот вечер она хотела быть хорошей, но не смогла, не сумела. Почему так вышло, она и сама объяснить не может. Вышло, и все. Тогда ей так же, как и теперь, хотелось уйти куда глаза глядят, подальше от этих проклятых мест...

Когда она раскрыла его ладонь, кровь еще текла.

— Из-за чего дрались-то?

— Ни из-за чего, — буркнул Марио, выдергивая руку.

— Сожми кулак и сиди так, пока я не вернусь. — Нати вышла из комнаты.

Собственно, это была не комната, а четверть комнаты, разделенной картонными перегородками, где стояли две железные койки и несколько ящиков из-под пива. В центре комнаты, там, где перегородки смыкались, было сделано отверстие для лампочки, тускло освещавшей все четыре закутка.

Через несколько минут Нати принесла таз с водой, чистое полотенце и пузырек с йодом.

— Будет щипать.

Залив рану, она развязала узелок, лежавший на кровати, разорвала свою кофточку и туго забинтовала руку Марио.

— Из-за чего подрались-то?

— Ни из-за чего.

Как сейчас видит его Нати перед собой. Он приходился племянником Клементе. Несколько месяцев они втроем жгли уголь в низинах у болот. Она следила за огнем, собирала дрова на склоне холма, варила еду. Спали все вместе на земле под навесом, рядом с очагом... До сих пор она помнит взгляд Марио, очень похожий на взгляд Клементе, и все же иной, потому что в нем нельзя было прочесть даже робкого вопроса, который был когда-то в глазах Клементе: «Могу я надеяться?» Марио вообще старался не смотреть на нее. А если все же приходилось, взгляд его был какой-то особенный. И с тех пор как она это поняла, взгляд Клементе потерял свою силу над ней. Она перестала ощущать его нежность. А Марио, даже когда смотрел на Нати, будто и не видел ее. Но чаще всего вообще не смотрел. Впервые Нати повстречала такого мужчину. Работал Марио как лошадь, сил не жалел, но еще больше сил уходило на борьбу с собой, Нати знала это и огорчалась. Даже в тот день, в тот вечер он старался не смотреть на нее. И все же Нати заметила в его глазах какой-то странный блеск, но Марио тут же отвел взгляд, резко оттолкнул Нати и бросился бежать...

В тот день они ходили в Байаху к врачу. Очень не хотелось Нати идти в этот городок. Но Марио обжег ступни, когда пытался затоптать костер, в котором жгли уголь. Да и она сама давно уже чувствовала недомогание. Клементе дал им несколько песо — заплатить врачу, — и они пошли. Одна нога у Марио уже зажила, и он спокойно ступал на нее, но другая нагноилась и очень болела. Понятно, что пройти за день два конца — до Байахи и об-

ратно — он не мог. Поэтому ничего другого им не оставалось, как переночевать в городке. Денег было в обрез, и они решили снять у Фермина одну комнатуху на двоих: все-таки там стояло две койки с простынями из мешковины.

Возвратившись от врача, зашли сначала в зал немного перекусить перед сном. Тут-то к Марио и привязался тот мужчина, или Марио к нему пристал — она не видела, выходила в это время. А когда возвратилась, успела лишь заметить, как незнакомец вытащил руку из кармана брюк, и, словно молния, сверкнул нож.

Легли рано, не раздеваясь. Оба лежали с закрытыми глазами, но Нати не спала. Не спала и знала, что Марио тоже не спит. Когда погасили лампочку, она встала с постели и опустилась возле него на колени. В слабом лунном свете, проникавшем через маленькое окошко, она различала черты его бледного лица и завитки светлых волос. Марио лежал с закрытыми глазами. Ее охватила жалость, и она поцеловала его перевязанную руку. Ни о чем дурном она тогда не думала. Чувствовала себя чистой и доброй, как никогда. Такой бы ей и хотелось остаться. Хотелось, но вот не смогла. Почему-то стала спрашивать, из-за чего они подрались, хотела, чтобы он сказал, хотя заранее знала ответ.

Марио по-прежнему лежал, не открывая глаз, но лицо его слегка вздрагивало под ее пристальным взглядом.

— Вы подрались из-за меня, да?

Марио рывком поднялся и сел. Глаза его были широко раскрыты, но она чувствовала, что он не видит ее — не хочет видеть.

— Давай уйдем отсюда. Я пойду с тобой, куда захочешь, буду делать то, что захочешь. Буду тебе хорошей женой, в жизни не обману тебя. Я буду такой, какой ты захочешь. Возьми меня, уведи от этих проклятых гор, уведи подальше, чтобы позабыть все, все, все!..

Марио молчал. И тогда Нати начала медленно раздеваться. Он сидел неподвижно, весь напрягшись. Сбросив с себя одежду, она подошла к нему и тут увидела, как в его глазах, где-то в самой их глубине, вспыхнул этот странный огонек. Забинтованной рукой он оттолкнул ее и бросился из комнаты. Она только успела заметить, как ударом ног он распахнул картонную дверь и побежал прихрамывая. Кое-как натянув платье, Нати выскочила за

ним, но Марио как в воду капнул. На следующее утро искала его по всему городку. Не нашла. На третий день одна вернулась к Клементе. Он спросил про Марио. Нати ответила, что Марио ушел и просил передать, что больше не будет жечь с ними уголь. Больше она ничего не сказала...

— Как это ушел? Куда?

— Почему я знаю?

— Куда он пошел с больной ногой?

— Нога у него уже лучше.

— Выжигать уголь — дело, понятное, пелегкое, немногие тут могут работать. А он к тому же молодой. Только почему он мне ничего не сказал? — удивился Клементе.

— Наверное, не хотел огорчать.

С тех пор она его больше не видела. Потом одна из сестер Клементе рассказывала, будто Марио уехал в Гавану и устроился там садовником.

Как мы жили здесь? Вы, наверно, и сами знаете. Хотите, чтобы я вам еще сказал? Пожалуйста, скажу. Хотя мне и неприятно вспоминать об этом. Разве это жизнь была? Слезы — а не жизнь. Я построил неподалеку от залива хижину, рыбачил — ловил биахайбу, ею и кормились. Понятно, не всем так везло. Многие питались только пальмовыми побегами. Дикий миндаль собирали, пекли из него лепешки. Да, еще забыл сказать — соли тут у нас не было. Сюда вообще ничего не привозили. За солью приходилось идти на побережье. Есть там одно местечко — Плайеро называется. В этом самом Плайеро выпаривали соль из морской воды. А идти-то туда, знаете, каково было? Не то беда, что далеко, — мимо земель этого кровопийцы Ла О приходилось идти, вот в чем дело. Чуть с дороги собьешься — считай, пропал. Хорошо еще, если просто в кутузку посадят. А соль-то, знаете, какая получалась? Такими вот плитками, вроде чешуи. Потом ее надо было дробить и толочь. К тому же невкусная, с горчинкой. Что и говорить, никудышные были здесь места!

В столовой накурено. Старик вытирает лицо грязным платком, жует беззубыми деснами кончик сигары и сквозь синие струйки дыма настороженно поглядывает на Бруно. Остальные сидят потупившись. Вынув наконец сигару изо рта, старик мнет и вертит ее в своих коричневых и

морщинистых, как старые корни, пальцах и в третий раз повторяет вопрос:

— Это все нам очень понятно, только с землей-то как: отберете или нет?

— Еще раз объясняю,— спокойно говорит Бруно,— эта земля государственная, она не принадлежала Миле и не может принадлежать вам.

— Но мы же деньги за нее платили,— стоит на своем старик.— Раскорчевали ее, расчистили.

— Ладно, давайте говорить иначе.— Бруно глубоко затягивается сигаретой.— Что вас беспокоит? Почему вы так волнуетесь?

— Как же не волноваться? — удивляется старик.— Если у нас отберут землю, чем мы кормиться будем? Она ведь нас кормит. Не на продажу сеем — для себя.

— Я и не говорю, что на продажу, хотя точно знаю: кое-кто здесь спекулирует продуктами.

— Кое-кто, может быть, а мы только для себя,— говорит старик, снова вынув сигару изо рта и сплюнув на пол.

— Значит, главное для вас — что вы будете есть, так?

— Само собой,— удовлетворенно кивает старик.

— Я вам вот что скажу.— Бруно оглядывает всех троих.— Революция не занимается утешительной болтовней. Здесь многое делалось незаконно, и мы обязаны это исправить. И исправим! А на что вы будете жить и что есть — не беспокойтесь. Об этом мы позаботимся. Ясно?

— Само собой. Значит, я так понимаю: землю отбирать не будете?

Старик хочет еще что-то сказать, но прилипшая ко рту табачная крошка отвлекает его. Он быстро проводит языком по губе, находит крошку, после чего опять сплевывает на пол.

А Бруно продолжает:

— Я уже сказал, что земля эта вам не принадлежит. Но, повторяю, это не должно вас беспокоить. Для того мы и совершали революцию, чтобы те, кто ничего не имел, стали жить лучше.

— Как же лучше, если землю отберете? — взрывается один из тех, кто пришел со стариком и до сих пор молчал.— Эти сказки рассказывайте кому-нибудь другому.

— Какие сказки? — резко поворачивается к нему Бруно. Голос его становится жестким.— О каких сказках вы говорите?

— Понимаете, — приходит на выручку товарищу третий, самый молодой, — сейчас у нас есть земля, а если ее отберут? Ведь одно дело — с землей, а другое — без земли...

— Когда Миле продал вам землю? — Бруно наклонился над столом и смотрит на них в упор.

— Примерно год назад, — отвечает старик.

— А раньше чем жили? Что у вас было?

— То-то и оно, что ничего не было, — признает старик. Остальные стараются не смотреть на Бруно.

— И как вы тогда жили?

— Хуже собак, понятно. Поэтому и хотим...

— Так вот я вам говорю, что теперь вы будете жить лучше, чем раньше. Будете работать, и будет у вас еда... Почему вы замолчали? — обращается Бруно к тому, который говорил о сказках. — Что вы об этом думаете?

— Не отберут землю — будем жить хорошо, вот что я думаю, — слышится в ответ.

— Что вы хотите этим сказать? — Бруно встает.

— Ничего.

— Вы нам только объясните, можно сеять или нет? — выплюнув наконец окурок сигары и тоже поднимаясь, спрашивает старик.

— Можете, — отвечает Бруно. — И все будет решено правильно. По закону!

Встают и остальные. Надев сомбреро, трое уходят, продолжая о чем-то тихо спорить между собой. Отошли на несколько метров, остановились, будто надумав вернуться, еще о чем-то спросить. Но потом решительно направляются в сторону питомника.

— Я вас предупреждал, что земельный вопрос тут решать будет непросто, — запальчиво говорит Хорхе, словно радуясь, что оказался прав.

— Ты полагаешь, — строго взглянув на него, произносит Бруно, — что расчистку лесопосадок можно организовать во всех бригадах одновременно?

— Если хватит рабочих, — краснея, отвечает Хорхе.

— Тогда надо немедленно разыскать Серхио, Луиса и Пабло и сказать, чтобы они срочно ехали сюда, — уже смягчившись, говорит Бруно. — Сам тоже вернешься с ними.

Яйо смотрит на директора, пытается догадаться, зачем ему вдруг понадобилось собирать всех членов правления, но спросить не решается.

Верите или нет — пройти было нельзя по этим, будь они прокляты, дорогам, которые сделал для себя Ла О. Чуть что — стреляли. Шагу люди не могли ступить. У него, видите ли, скот там пасся! А на что ему был скот? Коровы у него умирали от старости. Свиньи тоже...

Я тогда зарабатывал от силы песету в день. На рубке и вывозке леса в горах. Заготавливали мы, значит, бревна в шесть саженой длиной, потом складывали их в штабеля двенадцать на семь саженой. И чтобы ни щелочки между бревнами не было, чтоб одно к одному. Стволы, понятно, надо было окорить, сучья снять, потом спустить вниз к дороге. Это уж под вечер делали, когда темнеть начинало. А не успеешь — денег не получишь. Расплачивался с нами приказчик, он тут, у Алисио Артеаги, жил. Посмотрит, бывало, твой штабель и, если что-нибудь ему не так покажется, возьмет и не заплатит. И живи как хочешь. Или лес ему сегодня, к примеру, не нужен. «Не годится», — скажет и ни медяка не даст.

Издали доносятся едва слышные глухие удары волн о прибрежные скалы. Когда ветер стихает и листья замирают на неподвижных ветвях, шум прибоя звучит более явственно. Временами в него вплетается птичий свист, который будто тоже прилетает сюда вместе с музыкой моря...

— Знаешь, мне уже начинает надоедать этот Бебе с его бесконечными нравоучениями: «Надо иметь терпение. Надо уметь ждать. Пусть время уходит, а мы не имеем права...» Зануда!

Роби растянулся на земле. Левой рукой лениво перебирает сухие листья, а правую держит на лежащем рядом автомате.

— У меня у самого терпенье на исходе, — отвечает он. — Еще хорошо, что место надежное...

— Ты думаешь, что эта история с захватом нашего катера...

— Вряд ли. Это было далеко отсюда, хотя черт его знает...

Собеседник Роби сидит тоже на земле, скрестив ноги и положив на них автомат.

— Сейчас бы прошвырнуться по Пятой авеню,— мечтательно говорит он.— Хотя лучше об этом не думать. «Парадиз», вино, девочки — пока это не для нас, вспоминать об этом — только расстраиваться. Я все никак не могу забыть девчонку одну! Представляешь, над чулками розовые ляжки выпирают! «Мэри скрестила ножки и подмигнула мне...» — напевает он. Они сидят, как в огромном склепе, под плотным шатром сомкнувшихся ветвей, с которых, словно змеи, свисают воздушные корни и щупальца лиан. Снаружи глухо доносится морской прибой, таинственные лесные шорохи, еще какие-то звуки...

— Это Бебе там?

— Он.

— Черт знает что! Сидишь здесь и невольно начинаешь о смерти думать,— говорит Роби.

— Собачья жизнь!

— Ты потише, а то он услышит. «Не следует предаваться мрачным мыслям». Так, кажется?

— Точно. Думать о лучшем. Бороться за лучшее. И ждать лучшего,— передразнивает Роби Бебе.

— Да-а! Вот зануда.

— Интересно, здесь кто-нибудь бывал до нас?

— Сиако, когда готовил нам укрытие.

— А до Сиако? Мне это место кажется девственным.

— В нашем мире давно нет ничего девственного. Время все без разборю лишает девственности.

— Я хочу сказать, место вроде надежное. Эти типы — Сиако и его приятель,— похоже, действуют осторожно.

— Место, может быть, и надежное, да наше положение ненадежное. Ты же понимаешь, достаточно одного выстрела — и провал.

— Здесь надо работать ножом.

— Черт знает что! Забрасывали нас сюда с одним заданием, теперь говорят другое! О чем они там думают?! Слышал, какие инструкции мы получили вчера?

— А ну их! Скажи лучше, что ты думаешь о новых катерах береговой охраны?

— Думаю, что попали мы в переплет.

— Не выберемся отсюда?

— Ради этого стоит рискнуть, а что касается доставки людей и снаряжения, думаю, дело гиблое.

— Точно.

— Ты заговорил, как Бебе.

— Нет. Просто я говорю правду. Раньше, когда я за-
хаживал в «Парадиз»...

— Слушай, а ты заметил, какое лицо сделалось у Бебе, когда ему сообщили об усилении охраны здешнего побережья? И когда он узнал о стычке их катера с нашим? Я слышал, что эти их новые катера очень быстроходные. Неужели наши ничего не знали о них?

— Когда я бывал в «Парадизе»...— пытается продолжить свой рассказ собеседник Роби.

— Ни один мускул не дрогнул у него на лице,— перебивает его Роби.

— Он всегда был такой. Когда я его в первый раз встретил в «Парадизе»...

— Чем он занимался раньше?

— Бебе? Был в Гаване торговым представителем «Дженерал моторс».

— Откуда же он знает военное дело?

— Участвовал во второй мировой войне.

— Но он же кубинец.

— Кубинец, но до войны жил в США. Говорят, воевал на Тихом океане. А после войны приехал на Кубу от «Дженерал моторс».

— И какого черта они нас здесь держат!

— Слушай, Роби, ты всю жизнь был бестолковым. Неужели тебе не ясно, почему они нас здесь держат?

— Убей, не пойму.

— А мне так все ясно. Во-первых, их интересует этот район. Во-вторых, вывезти нас отсюда сейчас просто невозможно.

— Как это невозможно?

— Я хочу сказать — пока невозможно. Но все равно, раньше чем нас отсюда заберут, нам придется провернуть кое-какую работенку. Думаешь, нас сюда забросили для развлечения?

Их разговор прерывает громкий хруст веток. Оба замирают, спрятавшись за стволами ближайших деревьев, и внимательно вглядываются в ту сторону, откуда послышался шум. У каждого по автомату и кинжалу. Вдруг из-за кустарника доносится тонкий, словно плач ребенка, голосок. Автоматы опускаются, настороженность на лицах сменяется улыбками.

— Ну и мастер, этот Бебе! — восхищенно замечает один.

Действительно, из-за куста появляется Бебе.

— Ну как, удалось связаться? — спрашивает Роби.

— Все в порядке.

— И что?

— Приказ получен...

Скатерть в красную и белую клетку, развешенная на веревке, полощется на ветру...

«Я не сплю, Сиако, я думаю о тебе. — Широко раскрытые глаза Нати лихорадочно блестят, лицо напряжено. — Я думаю о тебе, Сиако. О твоей горячей упругой коже и слушаю тебя». Нати дышит неровно и тяжело, ноздри ее раздуваются. Ощущая прикосновение тонких, нервных пальцев Сиако к своей груди, она еще шире раскрывает глаза, влажные и испуганные. «Неужели и вправду больше ничего не нужно будет бояться? И там, в других местах, я сама стану другой? Неужели это может быть, Сиако?» — Это не слова и даже не мысли, скорее, какие-то неопределенные чувства. Потому что, когда она с Сиако, пусть даже мысленно, она не думает, а только чувствует. «А по-твоему, Сиако, смогу я стать другой? Ты не обманешь меня? — Нати перебирает его волнистые волосы, в которых серебрятся седые пряди. — И не будешь жалеть о том, что взял меня с собой?» Она чувствует, как его пальцы ласково пробегают по ее телу. Эти прикосновения словно преображают ее, уносят в иной мир. Его руки, его нежные слова, его упругая кожа цвета вялого табачного листа делают ее другой, новой, совсем непохожей на прежнюю. «Я хочу навсегда стать другой, Сиако. Хочу быть доброй и чистой. Только нужно уехать отсюда, где все для меня — одно страшное воспоминание. Я здесь столько страдала и однажды хотела стать доброй и чистой, хотела, но не смогла. Здесь я никогда не стану другой. Ты возьмешь меня с собой? Не обманешь? И ничто больше мне не напомнит о прошлом — ни люди, ни вещи. Я так хочу быть с тобой, Сиако; только с тобой, там, где никто нас не знает, где никто не будет смотреть на нас, как смотрят здесь. Там мы станем такими, какими хотим быть. Мне так хочется быть доброй и чистой, Сиако». Это не слова и не мысли, скорее, какие-то неопределенные чув-

ства. «Но я боюсь, что мои надежды не сбудутся». Это она ему сказала, а он спросил: «Чего ты боишься, дорогая моя?» — «Всего, — ответила Нати, — за тебя боюсь, за нас. Мне кажется, Сиако, что мы делаем что-то нехорошее. Нет, правда, ты возьмешь меня с собой? Когда?» — «Не знаю, сегодня я поеду к ним. Когда вернусь, все тебе расскажу». — «Береги себя, Сиако. Я боюсь». — «Они о тебе уже знают. Все будет в порядке, дорогая моя, — успокаивал он ее. — Там у тебя будет все, Нати. Там все не так, как здесь. И раз мы приедем туда, мы уже поэтому станем другими». — «Я так рада, Сиако, только боюсь. Боюсь, что не сбудется это. Мне кажется, будто мы оба все время делаем что-то нехорошее и даже то, что мы задумали, кончится плохо...» — «Ну что ты, дорогая. Все, что ты делаешь, прекрасно».

Сиако нет. Во дворе на веревке, привязанной к дереву, полощется на ветру большая скатерть в белую и красную клетку: она то взлетает вверх, то бессильно повисает, а потом снова, мощно и настойчиво, взмывает к небу, надутая как парус.

«Он посмотрел на меня как-то странно, я даже не знаю, что и думать. И когда я о нем вспоминаю, тоже не знаю, что думать. Но все равно думать о нем приятно! Приятно и страшно. И когда он на меня смотрит, мне тоже и страшно и приятно. Я сразу начинаю волноваться и боюсь, что он заметит, и от этого волнуюсь еще больше... Надо держать себя в руках, а то я все время краснею и выгляжу, наверно, очень смешной. Иногда мне даже не хочется смотреть на него, потому что знаю — если посмотрю, обязательно покраснею. Что он тогда обо мне подумает? И вообще неудобно глаза на мужчин пялить. А почему он улыбается? Наверно, догадывается, что я так и обмираю, когда он смотрит на меня. Я вовсе не хочу смотреть на него. Глаза сами смотрят. А он тоже: как я на него ни посмотрю, всегда его взгляд встречаю. А может, он влюблен в меня? Потому что смотрит на меня не так, как на других. И говорит не так. Наверно, любит, только признаться не хочет. Вот вчера, например, когда проезжал мимо, остановился, и видно было, что хотел что-то сказать. Правда, ничего не сказал, но было видно, что любит. Тогда пусть лучше и не говорит. А то как вчера: он толь-

ко взглянул да улыбнулся, а у меня во рту пересохло и ноги задрожали. А если начнет говорить? Я и сама не знаю, что со мной будет. Конечно, было бы приятно, если бы сказал. А я бы ему ответила. И поцеловала его. Тут на днях он проходил мимо, а я была без платка и волосы у меня растрепались, он и говорит: «Тебе очень идет, Мерседес, когда волосы у тебя распущены». Я, конечно, сразу же покраснела как дурочка. И подумала: «А вдруг ему не так уж и нравятся эти, с прическами, как в журналах, раз он мне такое сказал?» В тот вечер, когда пустили электростанцию, я привела себя в порядок, туфли надела и платье новое — сама сшила из материала, который нам недавно выдали. Он все время поглядывал на меня. Не хотел, чтобы я заметила, и делал вид, что не смотрит, но я все равно заметила, потому что сама с него глаз не сводила. Он даже на Нати не смотрел, хотя все на нее глазели. Я так боялась, что он подумает, будто я для него нарядилась, и еще боялась, что покажусь ему смешной. А он подошел ко мне и сказал, что я отлично выгляжу и платье мне очень идет. Как было бы здорово, если бы сейчас он оказался здесь, рядом со мной. И чтобы мы были вдвоем. Я бы смотрела на него, смотрела, а потом бы как поцеловала! Пусть бы он даже был серьезный-серьезный, он мне такой тоже нравится. Я все время смотрю, как у него жилка на виске бьется. Нет, правда, как было бы хорошо, если бы он сейчас был здесь. Я думаю все-таки, он меня любит. Вот вчера, например, я загадала: если любит, то обязательно улыбнется, когда будет здороваться. А он и вправду улыбнулся и сказал: «Здравствуй, Мерседес». Конечно, загадывать — это предрассудки, а в предрассудки и приметы всякие он не верит. Он сказал нам с Клаудией, когда наводнение было и кто-то рассказывал страшные истории и вообще небылицы разные, что это от темноты и неграмотности. Если бы, говорит, у нас тут было больше электрического света, то люди меньше видели бы всяких странных вещей. И еще он что-то говорил, да так складно. Он очень умный и много всего знает. Аресию сказал, что он университет окончил, я потом сама у него спросила. Но он только посмотрел на меня и улыбнулся. Он так улыбается, что хочется тут же обнять его и поцеловать крепко-крепко... А потом хоть целую неделю пролежать в лихорадке. Ведь если я сейчас от одного его

взгляда вся дрожу, что же со мной будет, когда я его поцелую?..»

Понимаете, он очень похож на Педро Бульдозера. У того тоже кто-то раз спросил, как, мол, вы ухитряетесь жить без жены и вообще без женщины? О чем же вы тогда все время думаете? И он, говорят, знает, что ответил? «А думаем мы о своей последней женщине и близком бое». Сказал, хлопнул того парня по плечу, который, значит, его спрашивал, засмеялся и ушел. Ну что за человек был! Вот мне и кажется, что он и есть Педро Бульдозер...

Целый день дует ветер, и усталые птицы, пролетая над поселком, садятся отдохнуть на провода и антенны. Посидят и снова взмывают в синее небо, удаляясь в сторону гор. А на смену им прилетают другие: стаями, рядами или в одиночку. С утра до вечера над антеннами не смолкает птичий гомон.

Бруно и Серхио стоят у входа в правление, наблюдая за птицами.

— Когда будет радиосвязь? — спрашивает Бруно.

— Послезавтра. Я приказал установить еще одну станцию у тебя в машине.

— Хорошо. Сегодня вечером возвращаются Пабло и Луис.

— Но они же в бригадах проверяют, как выполняется твоё распоряжение.

— Я велел передать, чтобы возвращались. Кстати, как пишут в документах — по-прежнему «Ла О» или же «Феликс Лопес»?

— Да кто как.

— Все документы, в которых нарушается этот пункт распоряжения, возвращай обратно. И растолковывай, в чём ошибка. Мы должны добиваться точного выполнения наших приказов и инструкций.

Птицы чинно сидят на антенне. Вдруг по какому-то одним им понятному сигналу всей стаей дружно срываются и улетают в сторону гор, превращаясь в беспорядочную россыпь мелких черных пятнышек на синем шелке неба. На смену им тут же прилетает новая стая. Иногда между птицами разгорается шумный спор из-за места на полю-

бывшейся им антенне. Победители плотно усаживают-ся на ней, а те, кому не повезло, летят на ближайшие крыши.

— Зачем вызвал Пабло с Луисом? — спрашивает Серхио.

— Пора приступать к организации коллективных подсобных хозяйств.

— И боишься, что будут волнения?

— Не исключено, — спокойно отвечает Бруно. — Кроме того, я продумал план расчистки лесных зон во всех бригадах.

— А людей где возьмем?

— К нам приедут добровольцы из Гаваны. И студенты для проведения социологических исследований. Их и используем на лесоочистительных работах. Есть у меня и еще кое-какие соображения. Видел, что тут было, когда дали свет?

— Здорово получилось! — оживляется Серхио.

— Знаешь, — задумчиво говорит Бруно, — иногда мне кажется невероятным, что в наше время есть люди, ни разу не видевшие кино...

— Почему же невероятным? Тут такая глушь.

— Да, но вот возьми Сьерра-Гранде, — возражает Бруно, — там и то лучше, а уж на что глухомань. По-моему, дело не в удаленности, а в какой-то заброшенности. Когда орудует такая сволочь, как Миле, при попустительстве этого недотепы Давида... Кстати, сегодня же надо будет связаться с Гаваной, — бросает Бруно, входя в правление.

Над антенной не прекращается птичий гвалт...

Люди рассказывали, что, когда у Клаудии умер ребенок, она так горевала, так горевала — и день и ночь слезы лила. До того извелась, что смотреть на нее было жалко. И от прежней Клаудии, хохотушки, ничего не осталось. А бабке Томасе, говорят, тогда же приснился сон. Ну вы сами знаете Томасу, ей вечно то приснится что-нибудь, то привидится. Приснились ей будто бы ангелочки, много ангелочков, летят на своих крылышках один за другим. А в самом конце летит, значит, сынок Клаудии. Печальный такой, и крылья у него повисли. Томаса, как увидела этот сон, сразу к Клаудии и говорит ей: «Ты, мол, Клаудиа, не должна больше плакать, потому что, если по ребенку столь-

ко слез проливать, не может он радоваться на небе и летать вместе с другими ангелочками». От этих слов Клаудиа очень, говорят, расстроилась и обещала Томасе плакать поменьше или совсем перестать. Только совсем-то не плакать она не могла, но все-таки стала себя сдерживать. И Томасе больше не снился мертвый ребеночек. Сама Томаса так рассказывала, а уж она-то в этих делах дока.

Синеватый дым висит над столом. Крепкий табачный запах смешивается с запахом пота и мокрой глины. Мусоля беззубым ртом кончик сигары, старик поднимается навстречу Куэто и Сиако. Двое молодых остаются сидеть.

— Ты мотор-то выключи,— обращается старик к Куэто.— А то так и будет тарыхтеть: та-та-та, та-та-та. Терпеть не могу. Лошадь куда лучше: уткнет морду в траву, и не слышно ее. Выключи, потолковать надо.

— О чем же? — с улыбкой спрашивает Сиако.

— Ходили мы, понимаешь, к новому директору, насчет земли спрашивали,— отвечает один из молодых.— Старик сам с ним взялся разговаривать. Ну и поговорил: с чем пришли, с тем и ушли. «Я,— говорит,— сам буду с ним толковать, меня,— говорит,— не проведешь». А как до дела дошло, у него язык к горлу прилип.

— У самих у вас прилип! — сердится старик.— Когда обратно шли, всю плешь мне проели, а там рта не раскрыли.

— Директор-то что сказал? — прекращая перебранку, спрашивает Куэто.

— Что сказал! Что сказал! То же, что и в прошлый раз. Говорит, все здесь переменится. Земля эта, мол, не наша. Ты что об этом думаешь?

— Ясно,— отвечает Сиако.— Землю, конечно, отберут, это уж как пить дать. И не только у вас — у всех.

— Не может быть! — расстраивается старик.— Неужели и вправду отберут? А он сказал, что можно сеять.

— Эх ты, старый! Поверил?! — с укором смотрит на него Сиако.— Не сегодня, так завтра, запомни, все у нас отберут.

— А я тебе что говорил? — насккивает на старика самый молодой.— Что я тебе говорил? То же самое и говорил,

— Я вот недавно читал про коммунизм, — рассказывает Куэто. — Там пишут, что коммунизм — это голод и нищета.

— Пойми, старик, это как петля: ее аккуратно, вроде даже ласково надевают тебе на шею, а потом дерг — и конец! — подает голос Сиако.

— Но он же сказал, что по крайней мере мы будем жить лучше, чем раньше, — не сдается старик.

— Без земли лучше, чем с землей? — с издевкой спрашивает все тот же молодой парень. — Ты совсем из ума выжил.

— Я-то не выжил, — распаляется старик. — А ты слушай, что говорят! Он как сказал? Лучше, чем раньше, то есть когда у нас совсем ничего не было.

— Правильно, — не сдается молодой. — А теперь у нас есть земля.

— Но он-то сказал «раньше».

— А мне наплевать, как раньше. Важно, как сейчас. И выходит, что будет хуже.

— Ясно! — поддерживает молодого Сиако.

Воспользовавшись паузой в перепалке, Куэто продолжает:

— Сами увидите, что будет. Сперва много всяких приятных слов да обещаний — говорить они большие мастаки. А потом — колхоз и полная отмена частной собственности. Я сам читал. А что такое отмена собственности? Это значит, что у тебя отберут все: землю, скот. Детей отберут и пошлют их учиться в эти... вроде приютов. Представляете? Даже детей отберут и будут их учить на свой манер, чтобы у них никакого уважения к старшим... И пойдет! Своими глазами читал, что такое полная отмена собственности. Все будет общее: и дети, и женщины, и мате, и ложки. А если тебе захочется, к примеру, зарезать поросенка и свинины попробовать — шалишь, брат. Должен есть то, что всем дают. Как в Гаване, скажем. Там все едят одно и то же.

— А если я не хочу? — удивляется старик.

— Они заставят, — вмешивается Сиако.

— Не может этого быть, — сомневается старик, — хотеть человека нипочем не заставишь.

— А вот посмотришь.

— Все равно не может этого быть! — упирается старик,

— Здесь уже и сейчас никакой жизни не стало, — зло продолжает Сиако. — Во все, понимаешь, свой нос суют. Слышали о новом распоряжении директора? Выходит, я ничего не могу продать кому захочу. Так и следят за всеми, так и вынюхивают. А не нравится тебе — уходи из своего дома на все четыре стороны. Или с нормами с этими, которые они тут установили...

Какая-то женщина, видимо хозяйка дома, молча проходит мимо них во двор.

— Так что не сомневайтесь — землю у вас отберут, — авторитетно заявляет Куэто.

— Нет, нипочем этого не может быть, — растерянно бормочет старик.

— Сам увидишь! — повторяет Сиако.

Женщина снова проходит мимо них. В открытую дверь доносится далекий собачий лай.

— Мать честная! — Старик подавлен, трет ладонью лоб. — Выходит, надули они меня...

— Ясно, надули, — поддакивает Сиако. — От такой жизни ни радости, ни удовольствия! Ты вот сам подумай, даже петухов держать запретили — сказать смешно! А помнишь, я вам говорил, что бойцовых петухов будут отбирать, так вы не верили: «Этого быть не может». Вот и получили! У них все может быть! Эти коммунисты гайки закручивают потихонечку, а потом спохватишься — уже поздно.

— Нет, нипочем этого не может быть, — поразмыслив, уверенно говорит старик.

Женщина входит с кофейными чашками и молча расставляет их на столе. Темнеет. Вдалеке лает и лает собака...

На этих дорогах, говорят, чудовища появляются вроде собак. Волокут за собой здоровенные цепи, а прыгают выше пальмы. Из носу у них дым валит, а из глаз огонь пышет. А то превратятся вдруг в быка или в лошадь. Если же белую собаку встретишь — это к смерти. Умрет, значит, кто-нибудь. Анастасио говорил, что по дороге в Лас-Десеадас ему как-то попала такая собака. Перепугался он до смерти, а потом бросил в нее камнем. Как она прыгнет — выше пальмы, говорит, — и полетела. Потом совсем скрылась из глаз. Он сам мне рассказывал. А что? Очень может быть...

Трое суток, не вылезая, сидели они в правлении. В четверг к вечеру Пабло выехал в Лас-Десеадас, а Луис — в Монте-Гранде. Бруно, Хорхе и Серхио остались на месте. Часов в десять Бруно связался по радио с бригадами, выслушал дневные сводки. Потом снова вместе с Серхио и Хорхе засел за работу, а когда поднялся наконец из-за стола, сказал:

— Наступление начинается!

(«...Два момента запомнились мне особенно: когда он диктовал свои первые распоряжения и когда после долгих споров и обсуждений был наконец выработан план создания совместных поселений и коллективных подсобных хозяйств — «микроплан». Помню, у некоторых из нас были сомнения и опасения, но он сумел убедить всех и увлечь своим энтузиазмом. «Я верю в людей, — повторял он. — И без этой веры ни минуты не оставался бы здесь». Одному из нас он поручил вести заметки, записывать, как тут все было и с чего начинались перемены, чтобы рассказать об этом тем, кто придет после нас. «Нет ничего удивительного, — говорил он, — что люди живут здесь и мыслят так, как жили они и мыслили много веков назад. И надо на деле показать людям пользу перемен. Показать, а уж потом агитировать».

Я как сейчас помню его слова о том, что, прежде чем приклеивать к людям ярлыки, надо постараться понять причины их поступков и сопоставить эти причины с результатами, потому что человек гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. «Быть последовательным революционером — это не значит быть безразличным к отдельному человеку. Наоборот, только думая о нем, мы сможем построить подлинный социализм, а не бумажный. Кое-кто видит лишь деревья, не замечая леса, другие за лесом не видят деревьев. Восторгаются лесом, а не понимают, что деревья в нем гниют. Мы же должны видеть и лес, и каждое дерево в нем. Такова наша позиция, потому что без деревьев нет леса...» — так или приблизительно так он говорил.

«Простите, товарищи, что я сейчас вспоминаю об этом, но я не могу иначе, — скажет Серхио через несколько лет людям, которые придут на то место в лесу, к той самой сосне.)

Предвечернюю тишину нарушает лишь беспокойное хлопанье крыльев или резкий крик као, сидящих на верхушках сосен. Марипоса слоняется по двору, внюхиваясь в смолистый воздух, иногда уши ее настороженно поднимаются. С печальным лицом, ссутулясь, Клаудиа сидит за столом, что-то пьет. Жалкая, опустошенная, одинокая. Даже милые ее сердцу воспоминания начинают блекнуть, яркие бугенвиллеи кажутся теперь пожухлыми, сморщенные, сухие листья их постепенно опадают, превращаются в прах.

Вдруг Марипоса пулей вылетает за ворота. Вскоре и Клаудиа слышит глухой стук копыт по земле. Уронив шитье, она поднимает голову, видит, как Сиako въезжает во двор, спрыгивает с лошади, снимает седло. Марипоса радостно вертится у его ног. Но Сиako со злостью пинает ее сапогом в морду, и собака, поджав хвост, прячется под стол, жмется к ногам Клаудии. Сиako молча проходит мимо жены, даже не взглянув на нее. Он больше не в силах выносить немой укор и недоумение, застывшие в ее глазах. Но сейчас Клаудиа не подымает взгляда от стола. Марипоса робко лижет ее босые, грязные ноги.

— Проклятая сучка! — кричит Сиako. — Безмозглая тварь! Ну погоди! Я с тобой посчитаюсь! В пыль сотру!

Клаудиа молчит. Поднимает на него глаза. И смотрит. Взгляд у нее, как у статуи, не меняется; либо он нежный и кроткий, когда обращен в прошлое, где увядают бугенвиллеи, либо безжизненный, безразличный, когда она смотрит на окружающий ее мир.

— Землю хотят отбирать! — рывкает Сиako, ни к кому не обращаясь.

Никто ему и не отвечает. Клаудиа встает, поднимает с пола упавшее шитье и, положив его на стол, направляется к плите. Двигается медленно и неуверенно, как в полусне. Разогревает кофе и, налив чашку, ставит на стол.

— Ну что ты на это скажешь? — Сиako поворачивается к ней.

Но Клаудиа не отвечает и опять садится за стол, опершись локтями на гладкие сосновые доски и обхватив ладонями голову.

— Не слышишь, что ли? Кому белье пьешь?

Клаудиа задумчиво разглаживает крошечную детскую распашонку.

— Сколько раз я тебе говорил, чтобы никого не пускала в мой дом! — раздраженно кричит Сиако. — Что тебе за выгода обшивать чужих детей?

— Это меня отвлекает.

— А я еще раз повторяю: никого не пускать! Нечего им делать в моем доме! Не нужны мне гости!

— Я знаю, Сиако... Ты сам отнесешь это белье?

— Издеваться вздумала?! — грозно переспрашивает он. — Ты и им так сказала?

— Ничего я не говорила — люди и так догадываются...

— О чем?!

— Что ты никого видеть не хочешь.

— Стерва! — словно плевок вылетает из перекошенного рта Сиако.

Едва сдерживаясь, берет чашку и медленно пьет остывший кофе. Потом Клаудиа видит, как, что-то бормоча, муж поспешно выходит из дома. Через несколько минут с улицы доносится громкий стук копыт. Марипоса, забыв об обиде, с лаем бросается за хозяином, но вскоре раздается ее жалобный захлебывающийся визг. Клаудиа выглядывает во двор, но там уже все тихо.

Тут, в нашей округе, воды почти нет. Пыль есть, этого добра хватает. А родников и колодцев почти нет. Надо немало походить, чтобы воду встретить. Родников днем с огнем не сыщешь, а колодцы, как их выроют, сразу высыхают. Но только я вам вот что скажу: с водой у нас тут не все просто, на дне некоторых оврагов — обратили внимание? — всегда есть лужицы и не просыхают. Почему? А вот почему. Говорят, в этих местах обитает мать-вода. Похожа она на большую змею и живет под землей. И где она выглядывает, там и лужицы. Величиной мать-вода бывает с пальму, а если больше вырастет, то в маленьком овражке ей не поместиться, и тогда она выливается в реку и течет к морю. А когда мать-вода с какого-нибудь места уходит, то и лужица там высыхает.

На площадке между столовой и общежитием возвышается небольшая трибуна. На электропроводах флажки, на столбах — громкоговорители. Здания украшены пальмовыми ветками. С раннего утра к поселку Монте-Гранде съезжаются рабочие всех бригад и окрестные жители. Едут на повозках, тракторных прицепах, грузовиках. Те,

кто живет неподалеку, пришли пешком — их сразу можно узнать по мокрым от росы брюкам.

Люди громко переговариваются, собираются группами, снова расходятся. Над площадью стоит глухой гул многих голосов. Вдруг в репродукторах что-то щелкнуло, раздался пронзительный визг. Кое-кто затыкает уши, но не надолго: на трибуну поднимаются Бруно, Луис и Яйо. Толпа настораживается. Яйо жестом просит тишины, гомон на площади стихает.

— Товарищи! — начинает Бруно. — Теперь вам всем уже известно, что Миле жульнически обманул нескольких товарищей из нашего хозяйства. И кроме того, он занимался противозаконными поборами, с рабочих брал деньги за транспорт. Ведь правда?

Толпа отвечает невнятным гулом.

— Это не ответ, — говорит Бруно. — Мы должны быть друг с другом откровенными. Я постараюсь говорить ясно, но если кто-то из вас чего-нибудь не поймет или в чем-то усомнится, пусть поднимет руку и спросит, а если кто хочет возразить, пусть возражает. Если кому-нибудь покажется, что я не прав, поднимайте руку и говорите. Не бойтесь перебить меня. Мы собрались сегодня здесь, чтобы сообща разобраться во всем и сделать выводы. Я еще раз спрашиваю, брал с вас Миле деньги?

— Брал, брал...

— А с меня не брал...

— Тогда давайте так: пусть поднимут руки те, с кого Миле хотя бы раз взял плату за поездку в город.

Поднялось довольно много рук.

— Но он не имел никакого права брать с вас за это деньги. Это была его обязанность: в случае необходимости, болезни например, обеспечивать бесплатным транспортом рабочих и членов их семей. Он раздавал рабочую одежду кому хотел или продавал ее, а вам говорил, что одежды нет. На собраниях в бригадах я обещал вам одежду. Выдали?

— Выдали! — несется над площадью.

— Дали.

— Мы обещали обеспечить вас веревкой для привязи скота. Дали веревку?

— Дали!

— Платите ли вы теперь за транспорт, когда вам нужно съездить в город?

— Нет! — дружно раздается в ответ.

— Но мы собрали вас не только для того, чтобы говорить о Миле. Вы знаете, что не все здесь живут в одинаковых условиях. Пусть поднимут руки те, кто пользуется огородами на землях нашего хозяйства!

Поднимаются две или три руки.

— Только и всего? — удивляется Бруно. И поворачивается к Яйо. — Неужели все? Тогда придется по списку. Яйо сейчас будет зачитывать фамилии, и кого он назовет, прошу подойти поближе к трибуне, чтобы остальные лучше слышали. Потому что именно с ними нам надо сегодня поговорить. Поговорить и договориться. Дело в том, что они занимают земли, которые государство выделило для лесоводческого хозяйства. Огороды завели, дома построили. Эти земли надо будет вернуть государственному хозяйству. Но значит ли это, что люди останутся без жилья и без пропитания? Собираемся ли мы выгнать их из домов, как это делала полиция при Алехандро Ла О, Фермине Кано, Рамоне Менендесе? Нет. Революция не может встать на этот путь. Но, с другой стороны, можем ли мы согласиться с незаконным использованием государственных земель? Нет. И на этот путь революция тоже не может встать. Так что же делать? Надо предоставить им дома лучше, чем те, в которых они сейчас живут.

Над площадью поднимается нестройный гул голосов.

— Что же это, значит, вы им вроде премию даете, — кричит кто-то из толпы, — за то, что они на государственной земле жили?

— Почему премию? — спрашивает Бруно.

— А потому. Я вот не на казенной земле живу, а на своей, и дом у меня совсем развалился. Может быть, я тоже хочу иметь жилье лучше, чем сейчас.

— Если ты законный хозяин своей земли, можешь на ней оставаться. Но если хочешь, можешь присоединиться к нашему совместному жилью и хозяйству. Тогда и тебе будет выделен новый дом.

— А что это за совместное жилье такое?

— А вот что: мы здесь создадим благоустроенный поселок. Людям не надо будет ходить за несколько километров на работу или искать машину для больного. Здесь будет свой медицинский пункт. А если кто тяжело заболит, транспорт будет у нас под рукой. В магазин вы теперь куда ездите? В Байаху. А кому не на чем ездить, тот просит

кого-нибудь из соседей да еще платит за услугу. В новом поселке мы откроем магазин. Будет здесь у нас и школа. Ясно? Что ты теперь скажешь?

— Оно, конечно. Здорово все это... А вот с землей-то как?

— Ну зачем тебе земля?

— Как зачем? А есть что буду?

— Ты что, землю ешь? Едят ведь не землю, едят то, что она дает, а этого у нас будет достаточно. В рамках государственного плана, который выполняет наше лесоводческое хозяйство, мы разработали еще один план — будем его называть «микроплан». В чем он заключается? Вы знаете, что многие окрестные холмы заросли малоценными породами леса, есть и большие деревья. Эти площади надо будет расчистить и подготовить под культурные посадки. Станем уголь жечь, что тоже принесет нам определенный доход. Часть же расчищенных участков можно будет использовать для выращивания овощей, каких именно, обсудим потом. Саженьцы требуют особого внимания, но у нас хватит времени и для огорода. И еще хочу вам сообщить, что, как только наш «микроплан» начнет осуществляться, обед для рабочих нашего хозяйства будет бесплатным. Сейчас, как вы знаете, обед в столовой стоит пятьдесят сентаво. А с течением времени мы сможем выделять с наших коллективных огородов продукты для каждой семьи по потребности и также обеспечивать ими все наши столовые.

— Как это по потребности? — спрашивают из толпы.

— А вот как: ты говоришь, сколько и каких продуктов необходимо для твоей семьи, и тебе их выдают.

— Да мало ли кто сколько скажет!

— Понятно, но правление заранее уточнит списки семей, будет организован необходимый учет и контроль...

В пестрой группе женщин, собравшихся возле общежитий, Бруно замечает оранжевый платок.

— Я хотел бы еще поговорить вот о чем, — продолжает директор. — Нам надо уже сейчас серьезно заняться учебой. Во всех бригадах организуются курсы по ликвидации неграмотности и повышению производственной квалификации. Необходимо также подготовить нескольких женщин для работы в детских садах, которые мы намерены здесь открыть. Кроме того, нескольких девушек направим на учебу в техникумы, чтобы подготовить специа-

листов для работы в питомниках. И наконец, доведу до вашего сведения, что правление назначает ответственными за «микроплан» здесь, в Монте-Гранде, товарища Луиса, в Лас-Десеадас — товарища Пабло. С завтрашнего дня они постоянно будут находиться в бригадах, обойдут все дома, и с любыми вопросами прошу обращаться к ним. Хочу сообщить вам также, что работы по расчистке заброшенных земель мы начнем уже в этом году и во всех бригадах одновременно. В этом нам помогут отряды добровольцев из Гаваны, часть которых будет заниматься и социально-политическими исследованиями в нашем районе. Могу вас порадовать: со следующей недели во всех бригадах будут проводиться вечера отдыха и демонстрироваться фильмы. Вы что-то хотите сказать?

Уже знакомый Бруно беззубый старик мнет в корявых пальцах сигару.

— Я же так и думал, — говорит он, — не могут у нас взять да отобрать землю, как раньше бывало. Нипочем не могут.

— А кто вам сказал, что отберут?

— Люди всякое говорили.

— Ну а теперь что они скажут?

— Теперь им нечего сказать.

— Еще раз напоминаю, товарищи: со всеми вопросами или сомнениями обращайтесь к нашим уполномоченным. Они обойдут все дома, — говорит Бруно, и спрыгивает на землю.

Я тогда работал в поместье Фермина Кано. У него там за эвкалиптами роились дикие пчелы. А я ходил туда мед собирать. И все бы ничего, только по дороге к эвкалиптам мне встречался белый человек. Истинный бог, весь белый: ботинки у него, штаны, рубаха, лицо, руки — все белое как мел. И сигару курил тоже белую. Появлялся он, значит, с сигарой в зубах и начинал свистеть и камнями в меня кидаться. А потом раз — и нет его, как и не бывало. И что мне особенно не нравилось — мед у меня стал пропадать. Я оставлял его на кухне, а однажды прихожу, смотрю — нет моего меда. Тогда я надумал сходить к Томасе — она ведь по всяким таким делам специалстка.

Прихожу к ней и говорю: так, мол, и так, Томаса, встречается мне на дороге к эвкалиптам белый человек, ну как

есть весь белый, сигару курит, свистит и камнями кидается. Не знаю, сразу поняла Томаса, в чем тут дело, или нет, только говорит: пойдём вместе, я хочу сама взглянуть на него. Ну пошли мы, значит, с ней, а человек-то уж тут как тут, опять выходит к дороге и свистит вовсю, курит сигару и камнями в нас бросает. Томаса, конечно, сразу догадалась, что это не человек, а дух, и говорит ему: «Ты что же это к людям-то пристаешь? Аль не понимаешь, что ты мертвец?» У меня аж волосы дыбом встали, так она с ним запросто разговаривала. Потом Томаса смеялась надо мной: «Ты,— говорит,— сам тогда стал белее мертвеца». А я и вправду готов был броситься наутек. Но тут мертвец-то ей и отвечает: «Я сюда прихожу, и свищу, и камнями бросаюсь потому, что я хозяин этой земли и никому ее не отдам». А Томаса ему: «Это ты при жизни был хозяин, а теперь нет здесь другого хозяина, кроме Фермина Кано. А если не согласен, иди к нему, с ним и разговаривай». Погрустнел мертвец и говорит: «Нет, с ним я не могу — боюсь. Это ведь он убил моего отца, чтобы завладеть нашей землей». Тогда Томаса догадалась, что это был дух внука Мундо Каррансы, и пообещала помянуть его в церкви...

Не знаю, чем это кончилось, только не мог я больше у Фермина Кано работать и ушел, нанялся батрачить к другому помещику.

Издалека доносятся монотонные удары прибоя о прибрежные скалы. Легкий бриз лениво перебирает ветви деревьев. Присев на корточки, Бебе ворошит палкой прелую листву, густо устилающую землю. Лицо его серьезно.

— Черт знает что! Час от часу не легче,— злится Роби.

— Как народ отнесся к этому? — спрашивает Бебе у Сиако.

— Кое-кто доволен. Голодранцы! — отвечает тот.

— Дурачье! — соглашается Бебе. — И когда же они думают начать?

— Начали уже, — говорит Сиако.

— Я больше не могу! — стонет Роби. — Это еще три месяца будет тянуться. Все тело болит. Я не выдержу. Две недели температура держится, а лекарства нет. — И вдруг умолкает, встретив холодный и спокойный взгляд Бебе, который, воткнув палку в землю и выпрямляясь, в упор смотрит на него.

— Что с тобой, Роби? — спрашивает он. Исподлобья поглядывая на остальных, вынимает обойму из своего пистолета и, покрутив ее, вставляет обратно.

— Не могу я больше! — обхватив голову руками, Роби валится как подкошенный. Тело его ударяется с сухим стуком, словно упал скелет.

— Ну а ты что скажешь? — обращается Бебе к тому, что постоянно жует резинку.

— Я?

— Да, ты.

— Думаю, что и правда пора что-то делать.

— Что?

— Что-нибудь. И рвать когти. Поджечь лес — и ходу!

— Точно! — вмешивается Сиако. — Трава теперь сухая — вспыхнет как порох. Тут в эту пору такие пожары бывали — по пятнадцать дней горело. Конечно, сейчас они тут лесников развели, выше понастроили. Только хороший огонь ничем не остановишь.

— Правильно, — не отрывая рук от лица, чуть оживляется Роби. — Иначе я не выдержу. И сразу выбираться отсюда к чертовой бабушке!

— Выбираться? Как? Вплавь? — Тонкие губы Бебе иронически кривятся.

— Почему вплавь? — говорит третий, не прекращая жевать резинку. — Снести с ними, доложить, что собираемся сделать, и пусть нас вытаскивают отсюда.

— Понятно! Все очень просто: мы будем им приказывать вместо того, чтобы выполнять их приказы.

— Почему приказывать? — поднимает голову Роби. — Просто подскажем им.

— Так. А ваше мнение? — обращается Бебе к Сиако и Куэто.

— Я... Я... — бормочет Куэто.

— Похоже, единственно, чего вам хочется, — это спокойно сидеть дома. Сюда вы каждый раз приходите, обмаравшись от страха. — Бебе с явным пренебрежением осматривает Куэто.

— Я тоже думаю, что пора действовать, — рассудительно замечает Сиако. — Кроме всего прочего, Роби говорит, что у вас уже три дня назад кончилось продовольствие. Конечно, можно раздобыть юкки*, вяленой трески еще

* Юкка — съедобный сладкий корнеплод.

недели на три, но учтите, что каждая наша поездка сюда связана с риском.

— Понятно,— говорит Бебе.— Однако прежде нужно узнать, смогут ли вывезти нас отсюда.

— Учтите, я еду с женщиной,— вдруг сообщает Сиако.

— С женщиной? — Бебе удивлен.

— Да, с женщиной.

— Но ты ничего не говорил...

— Я не знал, что надо говорить.

— Я тоже уеду с вами,— заявляет Куэто.— Теперь мне оставаться здесь нельзя.

— А вам-то что грозит? Что вы сделали? Штаны только пачкали, вот и все!

— Его тоже заберем с собой! — вступается Сиако за дружка.

Роби и его приятель смотрят на Бебе, который поигрывает обоймой, то вынимая ее, то снова вставляя. Тот, что жует резинку, кривит рот, словно съел что-то горькое или приторно-сладкое.

— Насчет женщины я должен спросить разрешения,— говорит Бебе.

— Я уеду только с ней,— предупреждает Сиако.— А нет — никто отсюда не уедет!

— Что-о-о? — Бебе дергается, словно получил неожиданный удар ножом.— Что ты сказал? — Он тычет пистолетом в грудь Сиако.

Рука Сиако тоже рванулась было к оружию, но замерла, остановленная резким окриком жующего резинку:

— Стой! Один выстрел — и мы пропали!

Он решительно встает между Бебе и Сиако.

— Ладно.— Бебе, словно ничего не произошло, спокойно обращается к Сиако.— Ты думаешь, поджечь лес будет нетрудно?

— Я не говорю, что нетрудно, но можно.

— Когда прибывают эти, из Гаваны? — спрашивает Бебе.

— Их уже ждут,— отвечает Сиако.

— Хорошо. Тогда идите по домам и обдумайте как следует операцию. К нам явитесь по вызову. Примите необходимые меры предосторожности... Да, насчет женщины не беспокойся, я добьюсь согласия.

Нечистая эта история с матерью-водой. На заросшей теперь дороге от поместья Ла О к морю дом стоит. Старый-престарый, перекосялся весь, оброс лианами и плющом. И дом — тоже нечистый. Главное, запах там какой-то странный. Как потянет ветерок, как пройдет между досками, так и появляется этот запах. Говорят, вода в нем живет, потому дом-то никак развалиться не может. Перекосялся весь, перекривился, а не падает, будто ждет чего-то. Крыши давно уже нет. Пальмовые листья, которыми, говорят, он был накрыт, давно уже истлели, и труху ветром разнесло, а он все стоит. Вот почему, да из-за запаха, да из-за воды, которая в нем живет, народ считает этот дом нечистым. Сами посудите: доскам-то давно уже пора бы сгнить и рассыпаться, но плющ и лианы перевили их и держат. Рассказывают, что в этом доме и теперь нет-нет да и покажется мать-вода. И еще будто у самого дома, в кустах, родник бьет, там, где мать-вода помочилась. Ла О, как состарился, не бывал в этом доме, совсем забросил его. Тогда в нем вода и поселилась. И сразу же пошли разрастаться лианы да плющ, опутали весь дом и не дают ему развалиться. Одни думают, что мать-вода — это животное, вроде змеи, вроде тех, что у нас тут водятся и частенько забираются в колодцы. А там, где они поселятся, вода никогда не пересыхает. Другие считают, что она как дух и увидеть ее может только тот, у кого особый глаз. Бабка

Антоньика, к примеру, та, что водой лечила, говорила, что мать-вода святая. А дядя мой рассказывал, что один раз видел мать-воду своими глазами. Она, как змея, лежала и грелась на мостике, а когда он стал подходить, уползла в реку. В одном только все сходятся, что смерти она не подвластна, и если кто попытается убить ее, сам и погибнет. А первой мать-вода ни на кого не нападет. И еще говорят, что она светится даже днем, а кто на нее посмотрит, того сразу лихорадка пробирает. И вылечить эту лихорадку можно только молитвами святому Луису Бельтрану...

Так вот, я про дом начал. Стоит он, значит, заброшенный и гнилой среди трухи, которая с крыши осыпалась. А кругом сквозь нее и из стен сочная трава, кусты, плющ так и прут. У самого дома — лужица, и из нее ручеек течет. А воздух вроде женщиной пахнет. Говорят, Ла О, когда был молодой, привозил сюда женщин — оттого и запах. Только я думаю, что пахнет это папоротником, травой и цветами. Там, внутри дома-то, тоже трава растет, очень густая, и цветочки в ней лиловые. А запах от них, как от женщины после купанья...

Она то приглаживает волосы, то расправляет юбку на бедрах, то идет на кухню, то снова возвращается. Делает вид, что не слушает, но не пропускает ни слова. Мужчины смотрят на ее икры, виднеющиеся из-под короткой юбки, широкие бедра. Она чувствует на себе эти взгляды и остается спокойной: вода все смоем. Только она может смыть следы этих липких взглядов, только она может очистить.

Клементе без рубашки сидит к ней спиной. Нати смотрит на его кожу, усыпанную желтыми веснушками, на глубокие морщины, врезавшиеся в шею, на крепкий дубленый затылок. Переводит взгляд на старика Панчо, его впалый беззубый рот, сморщенное темное лицо. На молодого она не смотрит... Мужчины курят не переставая, и дым густым облаком плавает у них над головами. Нати присаживается в сторонке на скамейку и, потупившись, слушает, о чем они говорят.

— Я так и говорил, — шамкает Панчо, мусоля сигару. — Теперь уже не может быть, как раньше. Нипочем не может. И мне понравилось, как директор все объяснил.

— Мне тоже, — соглашается Клементе.

— А эти,— кивает Панчо на молодого,— заладили одно: враки да враки. Говорит-то он, мол, красиво, да надо посмотреть, что на деле будет. Сиако вот тоже считает, что обманут нас.

— Сиако добром не кончит, если не переменится,— уверенно произносит Клементе.

Глаза Нати, таящие тревогу, еще больше расширяются, на лице появляется выражение беспокойства.

— А я так верю тому, что директор говорил,— продолжает старик.

— И у меня никакого сомнения нет,— соглашается Клементе.— Потому и собираюсь добровольно землю отдать, хотя я и законный владелец.

— Тебе-то за нее заплатят,— со вздохом говорит старик.

— То-то и оно, что я отдаю ее задаром. Дарю! А сам присоединяюсь к ихнему «микроплану». На кой шут мне деньги? Я пожить хочу по-человечески, работать спокойно...

Нати слушает и вспоминает, что уже тогда, когда они только собирались покупать эту землю, Клементе не правилось, что они будут жить на отшибе.

— ...Никогда я, наверно, не привыкну к одиночеству,— сказал он ей как-то вечером, когда они еще жгли уголь.— Трудно мне. Работы я не боюсь, а вот без людей не могу. Я ведь всю жизнь на шахте проработал. Конечно, там тоже было несладко — хребет гнули на эту сволочь хозяина. Вот я и скопил денег и надумал купить немного земли. А ты как смотришь на это? — спросил он у нее тогда.

Нати безразлично пожала плечами, не отрывая взгляда от дымка над кострищем.

— Можно бы, конечно, еще здесь поработать, чтобы скопить побольше денег,— продолжал Клементе,— но взять кого-нибудь в помощники. Одному-то мне становиться тяжело. Марио ушел, а тебе тоже все нездоровится.

— Нет. Ты сюда больше никого не зови,— твердо сказала она.

— Ты же говорила, что тебя это не касается, что ты будешь готовить, и все...

— Марио был тебе племянник. Это другое дело. А чужих сюда не приводи. Не надо. Не хочу.

Сказала, поднялась и пошла к реке — мыть ноги...

— Здорово они это придумали,— продолжает Клемен-

те.— Понимаешь, дома хорошие, кругом народ, все, что тебе надо, тут же под рукой! Я почему здесь купил землю? Денег у меня было маловато, а то бы, конечно, поближе к людям поселился. Тут ведь как в ссылке, я это и тогда понимал. Только уж очень мне не хотелось на хозяев работать, пропади они пропадом. Вот и купил.

— И земля-то неважная,— поддакивает Панчо.— Да тут, где ни возьми, везде плохая.

— Какая уж земля,— соглашается Клементе.— Почти как на болоте, только что москитов поменьше...

— А почему бы тебе опять на шахту не устроиться? — спросила его тогда Нати.

— Я тебе уже сказал! — отрезал Клементе.— И больше не говори со мной об этом!..

— Если бы я знал, что здесь такая земля...— продолжает он.— Ни к черту не годится! Поэтому, когда победила революция, я и пошел работать в лесничество и почти ничего не сею. Так только, для себя, самое необходимое. А теперь вот и совсем отдам ее. Подарю! Мне всегда хотелось работать и жить спокойно. Жене, правда, не нравится эта затея, не хочет она уезжать отсюда. Видать, привыкла к одиночеству. Нати! — зовет он жену.— Слышишь, Нати!

— Ну что тебе?

— Да вот говорю, что будем переезжать с тобой в новый поселок.

— Как хочешь.

— Принеси-ка нам немного кофейку.

— Сейчас.

— Что с тобой?

— Так, задумалась.

— Скоро жизнь у тебя будет повеселее,— говорит Клементе.

Среди народа, понятно, всякие разговоры. Одни одно болтают, другие — другое. А некоторые вообще молчат. Такой разброд. Народ ведь как рассуждает? На словах, говорит, все очень красиво, а ты на деле покажи, тогда поверим. Дома эти самые покажи, тогда и решать будем. Люди тут словам не верят — каждый себе на уме. Есть, понятно, которые сразу поверили: здорово, говорят, придумано. Так что одни радуются, другие призадумались, и только взглянешь на человека, сразу поймешь, как он к этому

делу относится. Некоторые, к примеру, сперва так говорили: иди, иди, отдай свою землю, а потом сиди и жди, когда ихние слова в дома превратятся! На собрании в Лас-Десеадас один прямо так и сказал директору. Только директор все сразу разъяснил. Сказал, что землю отдавать не надо, пока тебе не дадут готовый дом. Это совсем другое дело. Тут уж ничего не скажешь. Ну и, понятно, многим рты заткнул. Только слухи всякие и сплетни все равно со всех сторон сыплются, как спелые сосновые шишки. Томаса вот шепчет, что скоро в здешних горах кровь прольется, что она будто дурное знамение видела. А как она, чертова баба, рассердилась, когда я ей сказал, кто она есть. Зашипела на меня, как змея. Желтая вся сделалась.

Завтра, слышать, приезжают добровольцы из Гаваны, а тут Томаса со своими сказками. Твердит, будто бы красная звездочка, что виднеется ночью между горами, это к крови. Я подзываю ее поближе и объясняю: мол, звездочка эта вовсе и не звездочка, а лампочка. У нас тут на антенне, на самой верхушке лампочку привернули и ночью зажигают. Ты пойди да погляди как следует, говорю. А она как окрысится на меня!..

Белые кудрявые облачка плывут по синей глади неба и скрываются за горами. На гребне далекого хребта чернеют, словно зубья огромной пилы, вершины сосен. Солнечные лучи отвесно падают на сухую землю, безжалостно ее опаливая.

Там, где к асфальтовому шоссе подползает пыльная проселочная дорога, Бруно встречает добровольцев из Гаваны. Те вылезают из автобусов, здороваются и рассаживаются в грузовиках. Подняв до неба столб желтой пыли, колонна направляется к главной усадьбе. Едва все приехали, Бруно собирает в правлении руководителей групп. Студенты между тем осматривают постройки, толпятся у плана лесоводческого хозяйства, вывешенного на стене столовой. Закончив инструктаж, Бруно выходит на улицу, вокруг него сразу же собираются студенты. Молодежь слушает внимательно, воодушевленная задачами, которые ставит перед ними Бруно. Снова по машинам рассаживаются лишь тогда, когда солнце уже опустилось к горизонту и тени деревьев стали длинными. «Газик» Бруно выезжает первым, увлекая за собой вереницу грузовиков. Колонна

медленно поднимается по склону холма навстречу наполняющей из-за гор ночи. Свежий ветерок подхватывает и разносит далеко вокруг веселые студенческие песни.

Распределив приехавших по общежитиям, Пабло и Яйо подходят к Бруно, который беседует с преподавателями.

— Сами убедитесь, что работа здесь будет очень интересная, — говорит Бруно. — Вы столкнетесь с невероятными вещами.

— Постараемся сделать все, что в наших силах, — заверяет один из преподавателей.

— Как обстоят дела с «микропланом»? — обращается Бруно к Пабло.

— Могу рассказать одну интересную историю, — отвечает тот. — Есть здесь у нас один рабочий — Клементе. У него собственный участок земли. Так вот, приходит он к нам и говорит: «Хочу передать свою землю лесхозу». Я спрашиваю: «Продать хочешь?» «Нет, — говорит, — дарю. А сам присоединяюсь к вашему «микроплану». Яйо его знает: хороший работник, серьезный, трудолюбивый. Ни одного прогула.

— Работник что надо, — подтверждает Яйо. — Я тут вот еще о чем думал, — обращается он к Бруно. — И с Пабло советовался. Этот товарищ, который землю отдает, несколько лет занимался рубкой леса и уголь жег, так что надо его назначить ответственным за эту работу.

— Хорошо! — соглашается Бруно. — Так, пожалуй, и сделаем.

В разговор вмешивается один из приехавших преподавателей.

— Извините, но из ваших слов мы поняли, что «микроплан» — единственный способ разрешить специфические проблемы, возникшие в вашем хозяйстве. И кроме того, он создает предпосылки для ликвидации в будущем частной собственности на землю, для пролетаризации крестьянина, что в свою очередь позволит создать организованную и подготовленную рабочую силу для целлюлозного комбината, который намечено здесь построить.

Бруно утвердительно кивает. А Яйо в недоумении тащит на него глаза и удивляется: какого еще комбината?

— Что люди говорят? — спрашивает Бруно.

— Многие довольны, но есть и такие, что пока выжидают.

— Я тут останусь на несколько дней, поработаю вместе с вами,— говорит Бруно и добавляет, обращаясь к остальным: — Извините, пожалуйста, мне нужно связаться с бригадами.

Он направляется к радиостанции. Но вдруг замечает Мерседес, идущую ему навстречу.

Детей у меня шестеро... Слушай, парень, а почему ты мне столько вопросов задаешь? А-а, понятно. Ну, насчет сказок и историй разных это к Анастасио Риосу надо. Он их тьму знает. Понятно, к нему другой пойдет. Ну ладно. Только хочу предупредить, что с таким блокнотиком, как у тебя, у него делать нечего. Вдвое больше — и то не хватит. Так тебе тоже что-нибудь рассказать? Хорошо, расскажу о том, что случилось на дороге из Ла О в Лас-Десеадас лет одиннадцать тому. Я сам видел эту женщину. Первый-то заметил ее Пипе. Он говорил, что шел по этой самой дороге и вдруг смотрит: женщина сидит, прислонившись к сосне. Ну, он подошел, потрогал — теплая. Тогда Пипе быстро взвалил ее на плечи и бегом по дороге. Кричит изо всех сил — на помощь зовет. Но кругом ни души. А он чувствует, что женщина холодеть начала. Добежал до первого дома, положил ее там и людей созвал. Я тоже ходил смотреть. Красивая была, даже очень, но никто ее у нас тут не знал и никогда раньше не видел. Ну, конечно, сообщили куда надо: врач приехал, судья, полицейский. Врач тут же при всех раздел ее — это я хорошо помню,—осмотрел всю, но ни раны, ни единой царапинки не нашел. Девушка была еще совсем молодая, на лицо красивая и фигурой складная. Очень жалко было. Потом увезли ее. Слух, понятно, сразу всю округу облетел. Все спрашивали друг друга: «Не знаете, что это за женщина была, лицо у нее вот такое, а одета она вот этак?» Очень, конечно, странно, что никто ее не знал. А Пипе говорит, что нашел ее неподалеку отсюда. Сидела в траве, прислонившись к дереву, будто отдохнуть решила. Хотите, у самого Пипе спросите, он в питомнике работает...

— Были?

— Недавно ушли.

— Что спрашивали?

— Разное. Спрашивали, сколько мне лет и сколько тебе; есть ли дети, женаты ли мы. Интересовались, работаешь ли ты в хозяйстве, работал ли на шахте, что у себя на земле садим, сколько зарабатываешь. Даже спросили, сколько классов мы окончили, выписываем ли газеты или журналы, есть ли у нас уборная, слушаем ли радио...

— Про радио что сказала? — грубо прерывает Сиако.

— А что я могу сказать?

— Мать честная! Когда надо, слова из тебя не вытянешь.

— Это когда врать заставляют...

— Ответишь наконец, что ты им сказала?

— А что мне было говорить? Сперва я решила ответить, что нет у нас радио, а потом вспомнила Росу. Она же знает.

— Тварь! Так тебя расперетак и мать твою с Росой вместе!.. — кричит Сиако и пинком отшвыривает табурет в угол. Потом подходит к кухонному столу и, взяв бутылку, делает большой глоток. Вытирая рот рукавом, снова поворачивается к Клаудии. — Что еще спрашивали?

— Спрашивали, не думаем ли мы пожениться. Они какую-то операцию задумали.

— Что еще за операция?

— Всех, кто хочет, поженят в один день. И общий праздник устроят. «Коллективная свадьба» — по-моему, так они сказали.

— А ты что?

— А что я? — Клаудиа смотрит куда-то в сторону. — Сказала, что не знаю, согласишься ли ты, что поговорю с тобой.

— Подонки! — бормочет Сиако, возвращаясь к кухонному столу. — Еще что спрашивали?

— Да всякое.

— Вот и выкладывай!

— Я уж и не помню всего.

— Вспоминай! Шевели мозгами! — командует Сиако, снова поднося бутылку ко рту.

— Спросили, местные мы или нет. Ты больше не пей, Сиако. Давно ли живем здесь.

— Дальше!

— Где ты раньше работал.

— Что ответила?
— Сказала, что держал бойцовых петухов.
— Дура набитая!
— А что я еще могла сказать, если все вокруг про это знают.

— Знают! — передразнивает Сиако. — Могла бы сказать что-нибудь другое, не пойдут же они проверять.

— Ты же знаешь, Сиако, я не умею врать. Только хуже получается. Как с радио...

— А напакостить человеку умеешь?!

— Успокойся, Сиако. Я боюсь, когда ты такой.

— Еще что спрашивали?

— Просили рассказать что-нибудь про мертвецов, привидения всякие, про клады...

— Точно, — бормочет Сиако, — Пипе тоже про это спрашивали. Черт те что! Во все лезут. Даже про мертвецов им рассказывай. Ничего святого у них нет. Соображаешь? — обращается он к жене.

— Сперва я им ответила, что ничего такого не знаю, что сама боюсь страшных рассказов. Но потом... Они, понимаешь, такие приятные в обхождении...

— Сукины дети они!

— ...и говорят, что не обязательно про мертвецов и про страшное. Тогда я им рассказала историю, которую слышала от бабушки: о том, как ударила молния и расколола дорогу.

— Записывали?

— Нет, просто сели напротив меня и слушали. У них такой блокнотик, и они только отмечают, кто и про что рассказывает. Вежливые такие.

— Вежливые! — передразнивает Сиако. — На нашу голову!

— Не надо, Сиако, я боюсь, когда ты такой.

Я только про грозу могу рассказать, а больше ничего не знаю... Я тогда девчонкой была. Стояла у окна и вижу — мой дядя верхом к нам едет. И мама из двери ему улыбается, а он ей рукой машет, готовь, мол, кофе. И дождя-то совсем не было, солнце светило. Вдруг гром ударил, молния сверкнула и лошадь покатила кувыркком, а дядю я так больше и не видела. Мне не дали на него посмотреть. А потом уж и дождь начался, ливень... А еще мне мать

говорила, что все собаки ясновидящие, и если положить себе в глаз собачью ресницу, тоже будешь видеть по ночам души усопших. Я, правда, никогда не пробовала.

— Сюда!.. Сюда!..

Голос доносится из кустов, и через мгновение оттуда, словно порождение ночных теней, появляется темная фигура.

— Опять запаздываете?

— Пришлось сделать большой крюк.

— Ладно, пошли.

Не видно ни зги. Впереди глухая темная стена, которая, расступаясь, хлещет их по лицам, ранит колючками и снова смыкается, мокрая от росы, враждебная.

— Ходят по домам, расспрашивают,— говорит Сиако.

— О чем?

— Всякие вопросы задают.

— А кто это?

— Добровольцы приехали. Из университета. Утром работают на расчистке леса, а после обеда и вечером ходят по домам.

— Много их?

— Человек сто.

Идут как слепые — гуськом, скользят, спотыкаются о торчащие из земли корни, поддерживают друг друга.

— Когда уедут?

— Через несколько дней.

— А вообще как дела?

— Дома начали строить.

В голосах ощущается та же тревога и настороженность, что и в окружающих их растениях.

— Кто строит?

— Тоже приезжие.

— А их сколько?

— Человек тридцать. Потому и пришлось сделать крюк, ходят везде, чтоб им провалиться. Даже сейчас по дороге одного встретили. Правда, ничего не сказал.

Наконец выбирают на небольшую поляну. Среди поредевших ветвей видны яркие крупные звезды. Возле шалаша прикрытый светлым пледом лежит человек.

— Занемог наш приятель,— кивает Бебе в сторону Роби.— Ничего, пройдет.— В голосе слышится легкая издевка.

— Что с ним?

— Лихорадит.

Роби высовывает наружу обтянутое бледной кожей лицо, с заметным усилием садится и вдруг кричит срывающимся тонким голосом:

— Он меня ножом! Вот! — Он показывает на плечо. — Убить хотел.

— Перестань, Роби, не болтай глупостей! Пристал ко мне, прямо с ума спятил, — говорит Бебе. — Пришлось его немного успокоить. Эй, Роби, не хочешь еще лекарства?

Роби как подкошенный снова валится на землю.

— Он тут заговариваться начал. Лучше, говорит, умереть, чем так сидеть. Ну, я и дал ему свой кипжал. На, говорю, умирай. Он схватил его да как пырнет себя в плечо. Правда, Роби, ты ведь не хотел зарезаться насмерть?

Роби молчит.

— Нервы все это, — продолжает Бебе. — Зло его берет, а на кого тут будешь злиться? Вот и пырнул сам себя. Но когда увидел, что кровь из плеча брызнула, заорал: «Не хочу умирать!» С тех пор и успокоился.

У Куэто мурашки побежали по спине.

— Так вот, приказ получен. Садитесь, — приглашает Бебе. — Кстати, с твоей красоткой все в порядке, возьмем ее. Но прежде нам придется серьезно поработать. Надо все как следует обмозговать и спланировать, чтобы не получилось осечки.

— Понятно, — говорит Сиako. — Давай рассказывай по порядку.

— Сначала дождемся, когда эта орава добровольцев отсюда уберется. А в общем, задача такая: прикончить нового директора, поджечь леса и потом сматываться. Подготовить надо все заранее, но операцию начнем только тогда, когда подойдет наш катер и вышлет за нами лодку. Подумай, как лучше устроить засаду, но учти, надо действовать тихо, без единого выстрела. Набросай план, пометь место для засады. Потом доложишь. Он один ездит?

— Когда как.

— Оружие при себе имеет?

— Да.

— А те, кто с ним?

— Не все.

— Ладно, давай обдумай все как следует, выбери место. Не торопись, все равно придется ждать, пока разъ-

едутся эти чертовы добровольцы. И запомни — действовать надо наверняка.

— Придумаем что-нибудь, — говорит Сиако.

— Ну, а этому дадим что-нибудь полегче, — пренебрежительно кивает Бебе в сторону Куэто. — Слышите, вы! Вам не придется самому участвовать в деле. А то еще обмараются, по запаху нас и обнаружат.

Куэто так трусит, что и не думает оскорбляться. Опустив голову, он внимательно разглядывает в полутьме ворох опавших листьев.

Слушай, а ведь это Педро Бульдозер. Он! Говорю тебе, он. Я, правда, всего несколько раз его видел, никак не больше, он ведь недолго пробыл у нас. В Сьерра-Гранде ушел. Но это точно он. Как-то ночью, помню, пришлось мне с ним даже разговаривать. Конечно, в темноте лицо как следует не рассмотришь, но голос его и выражения его, точно говорю. Я, как услышал его на собрании, сразу понял. Не иначе он. Конечно, переменялся, времени-то сколько прошло, все мы переменялись. И все-таки это он. И голос его, и выражения, точно он.

— Сиако, ты знаешь, что бабка Антоныка говорила?

— Нет.

— Она говорила, что, если мужчина носит с собой фотографию женщины и прядь ее волос, он будет принадлежать этой женщине навечно. А фотография будет хранить мужчину от всех опасностей. Он только должен одной рукой перекреститься, а другой — крепко прижать к себе эту фотографию. Она еще, знаешь, что говорила? Чтобы мужчина был твой, надо прокипятить свои волосы в кофе и дать ему выпить. Но я никогда не пробовала. Мне казалось, что, если я сделаю такое без твоего ведома, а потом ты узнаешь, мне будет стыдно и никогда уже нам с тобой не будет хорошо. Я очень боюсь за тебя, Сиако. Знаешь, у меня есть фотография. Когда я еще работала в «Лос-Ботес», какой-то заезжий фотограф снял меня вместе с клиентами. Я их всех отрезала и осталась одна. Возьми ее с собой, Сиако.

— Брось, Нати, вечно ты со своими глупостями.

— Значит, ты не хочешь, чтобы даже моя фотография была при тебе. А говорил, что увезешь меня. Я отрежу немного волос, а, Сиако?

— Нет, уж тогда я сам.

Он обнимает Нати и целует ее за ухом, пытаясь ухватить зубами завиток черных волос.

— Мне щекотно, Сиако!

— Ничего,— бормочет он, крепко прижимая Нати к себе.

— Больно! — кричит она.

— Пройдет! — Сиако с силой дергает головой.

На глазах у Нати выступают слезы, и от этого они кажутся еще выразительнее и прекраснее.

— Ой, Сиако, ты всегда что-нибудь придумаешь,— говорит она уже с улыбкой.— Ну как мне тебя не любить?!

Нати встает, достает из шкафчика иголку и красную нитку, присев рядом с Сиако, она пришивает прядь к своей фотографии.

— Всегда будешь носить ее с собой?

— Всегда.

— Запомни: этот талисман защитит нас от всех несчастий!

ЧАСТЬ IV

И сразу наступила тишина, затих веселый гомон, не слышно больше дружного смеха молодых голосов. Опустела площадка перед правлением, которую студенты прозвали «Рампой» *. Умолкли горячие споры и задушевные вечерние беседы в конторе — в «ЦК», как говорили студенты. Всему они дали свои названия, и, пока работали в хозяйстве, столовая была уже не столовой, а рестораном «Копелией», а дощатая стена, побеленная известью, — экраном кинотеатра «Трианон».

И вот они уехали. «Рампа» опять стала пыльной площадкой между правлением и общежитиями, «Копелия» — столовой, крытой пальмовыми листьями, «Трианон» — побеленным щитом возле питомника. Поселок погрузился в грустную тишину. Впрочем, это была даже не грусть, скорее воспоминания об отшумевшем веселье, которые охватывают нас в самых заброшенных местах.

После отъезда добровольцев поселок будто вымер. На прощальном вечере они обещали вернуться, уверяли, что дни и вечера, проведенные здесь, надолго останутся в их памяти. Да и как их забыть, если даже в строгих, умных глазах преподавателя Марре вдруг блеснула слеза, а у многих ребят комок подступил к горлу, совсем как в тот вечер, когда бабка Лусиа во время киносеанса вдруг вскочила со своего места и, шамкая беззубым ртом, заковыляла к экрану, чтобы заглянуть за него и узнать, где там прячутся артисты, потрогать своими руками сверкающие

* Рампа — часть Двадцать Третьей авениды, выходящая на Малекон — океанскую набережную Гаваны; любимое место гуляний молодежи, туристов.

автомобили, рассмотреть поближе роскошные здания. Ее корявые, узловатые пальцы, не находя ничего, долго и растерянно шарили по шершавому деревянному экрану, пока Марре не подошел к ней и не увел на место, что-то тихонько объясняя на ухо.

Ответственный за социологические исследования Марре не один вечер провел с бабушкой Лусией, знавшей бесчисленное множество сказок, преданий, поверий. Старая, больная и суеверная женщина рассказывала их в полутьме хрипловатым приглушенным голосом.

На следующий после случая в кино вечер Марре решил навестить к ней, узнать о впечатлениях. Бабушка оказалась ему какой-то странной: беспокойный, бегающий взгляд, порывистые движения, сбивчивая, невнятная речь. Встревоженный Марре пытался успокоить Лусию, а ее дочка Ремихия со слезами на глазах рассказала, что мать с самого утра нервничала и бестолково хлопотала по дому, все повторяя, что к ним сегодня должны приехать какие-то гости. Старуха дважды заставила дочь убрать в комнате, приказала приготовить праздничный обед и особенно беспокоилась о том, чтобы не забыли сварить кофе. Так и не поговорив с бабушкой, Марре ушел очень расстроенный и рассказал о случившемся Бруно.

А Лусия в тот вечер снова пришла к экрану и до самой ночи стояла там, отгоняя любопытных. Она показывала на побеленные доски и говорила, что оттуда вот-вот должны появиться ее гости: «Через эту дверь войдут, по этой дороге проедут. Мои гости! И смотрите у меня, чтобы никто не смел их к себе зазывать!» Ее пытались уговорить, успокоить, но она никого не хотела слушать и под конец стала сердиться. На следующий вечер повторилось то же самое, поэтому на третий день Бруно и Марре усадили бабушку Лусию в «газик» и отвезли в город. Возвратились оба печальными, и Бруно с трудом произнес: «Сошла с ума».

Словом, нетрудно понять, почему отъезжающие говорили, что у них в памяти надолго останутся проведенные здесь дни. Не только из-за случая с бабушкой Лусией, и не потому, что мы вообще нелегко забываем места, щедро политые нашим потом, но еще из-за того, что произошло в «день общественного содействия».

Началось все хорошо. Нуждающимся оказывали медицинскую помощь, женщины толпились возле импровизированной парикмахерской — там делали прически и даже

маникюр. Сапожники чинили обувь, портнихи давали советы. Ближе к полудню в торжественной обстановке был заложен первый камень будущего поселка. Под вечер детям было показано кукольное представление, их угощали лимонадом, сладостями. Все шло как по-писаному, пока не стали раздавать мороженое. Несколько малышей схватили свои порции и с удовольствием стали есть, однако большинство детей, едва дотронувшись до мороженого, в испуге отдергивали ручонки или роняли мороженое на землю. Поднялся крик. Ребята с плачем отказывались есть мороженое, говорили, что оно дымится, обжигает пальцы и рот. И городские жители не только удивлялись тому, что дети впервые увидели мороженое и боятся его,— им было жаль этих детей.

Нет, не пустые это были слова, когда, прощаясь, они говорили, что надолго запомнят дни, проведенные здесь.

— Каждый вечер возвращается в правление вот по этой дороге, по этому мостику. Здесь самое подходящее место.— говорит Сиако, ткнув пальцем в карту.— У моста, по обе стороны дороги — заросли.

— Итак, завтра! Ждать больше нельзя. Обычно он возвращается один? — уточняет Бебе.

— Когда как.

— Нехорошо только, что место это далеко от побережья,— задумчиво говорит Бебе.— Сколько времени потребуется, чтобы добраться до моря?

— На джипе часа полтора, на лошади можно проехать напрямик за час, пешком часа три понадобится,— отвечает Сиако.

— Да, далековато.

— Но это единственно верное место. Здесь он обязательно проедет.

— А если нас кто-нибудь обнаружит по пути туда?

— Будьте спокойны, я проведу так, что ни одна собака не заметит,— заверяет Сиако.

— Еще раз повторяю, мы должны избежать стрельбы,— говорит Бебе.

— Потому и говорю, что место самое подходящее,— продолжает Сиако.— Выманить его из машины там будет легко — положить заранее бревно поперек моста, и все.

— Заранее нельзя,— возражает Бебе.— Если кто-нибудь раньше поедет через мост, пиши пропало! Нужно

установить наблюдение, чтобы точно знать, что едет именно он и едет один.

— А если не один?

— Все равно придется действовать, но тогда выстрелов не избежать. Если услышишь выстрелы, леса не поджигай. Подавайся сразу к побережью.

— А как задержать его у моста?

— Как только убедимся, что едет он, вывесим красную тряпку, а если будет темно, зажжем фонарь. Откуда лучше всего вести наблюдение?

— Да с любого холма весь поселок как на ладони.

— Я думаю, наблюдение поручим Куэто,— решает Бебе,— лучше, чтобы его не было с нами, когда начнем действовать. Он может все дело испортить. Тут нельзя терять хладнокровие. А его задача — выбрать удобное место для наблюдения за поселком, и как только увидит, что директор выехал, пусть гонит на своем джипе к мосту и сообщит нам, один он выехал или с кем-нибудь, а потом пусть ждет нас вот здесь, неподалеку. Понятно?

— Понятно.

— А ты со своей кобылой ждешь нас подальше, но так, чтобы мост был виден. Как только убедимся, что мы с ним покончили, сразу запаливай в нескольких местах и подавайся к берегу. А начнется стрельба, здесь не поджигай — скачи в сторону моря и только там пустишь им где-нибудь «петуха». Ясно?

— Ясно.

— О'кей. Надо сообщить о нашем плане. Если все будет четко скоординировано, я думаю, операция пройдет успешно. Только запомни: услышишь стрельбу — сразу же к берегу. А этому Куэто дай что-нибудь от нервов, или пусть он себе заткнет одно место тряпкой.

Я спросил у Пабло: он это или не он, и Пабло ответил, что он. Я ему: «Что же ты мне раньше-то не сказал?» А он: «А ты спрашивал?» Ну ладно. Главное, что это он. Еще я, значит, спрашиваю у Пабло: «Говорят, что он адвокат, университет окончил?» А Пабло отвечает: «Ну какое это имеет значение?» Я, понятно, удивился и спросил, как же все-таки получилось, что он тогда оказался у нас, да еще как простой рабочий. Тут Пабло мне и рассказал, вернее, пересказал то, что когда-то слышал от Бруно. Бруно в тот вечер лихорадило, и Пабло принес ему марианьо-

ны, чтобы сбить температуру. Он сам просил чего-нибудь кислого — внутри у него все горело. Тогда-то он кое-что и рассказал, хотя не любил вообще о себе говорить. А тут рассказал и про то, как попал на бульдозер и как ушел, оставив записку. Пабло говорит, что вся эта история почище любого кино или романа.

А дело было так. У него там, в Гаване, в адвокатской конторе однажды утром полиция устроила обыск. Сам-то он скрывался с товарищами в другом доме. Но когда они узнали про обыск, пришлось и оттуда уйти и искать новое убежище. Но в тот же вечер полицейские напали на их след. Тогда и погибли его друзья: Рене, Мачито и Роке, с которыми он работал в Гаване. Куда ему было деваться? Руководителем их ячейки был Мачито, а его пополам разрезало автоматной очередью. И у Бруно — ни адресов, ни связей. Сам-то просто чудом уцелел. Он — к одним друзьям, к другим, но все под разными предложениями отказывались его спрятать. Потом все-таки с одним инженером договорился. Знал его немного, однажды выступал в суде по какому-то делу его фирмы. Объяснил он этому инженеру свое положение, а тот сказал, что спрятать его у себя не может, но свяжет с одним своим другом, работающим на строительстве дорог в горах. Там Бруно под видом рабочего может находиться сколько ему угодно. Вот как получилось, что Бруно попал в наши края. Не сюда, понятно, а ближе к побережью. Работал какое-то время на бульдозере, пока не установил связь со своими, а потом ушел в горы. Пабло мне это рассказал, вернее, пересказал. Вот, оказывается, кем Бульдозер-то был на самом деле!

Копыта стучат по сухой дороге, взметая клубы пыли... Клаудиа задыхается, кашляет, поворачивается в постели и проводит рукой по потному лицу. Стук копыт приближается. Она стоит у дороги, укрывшись в зарослях бугенвиллеи. Земля трясется и раскалывается под ее ногами. Цокот копыт разносится в воздухе, и воздух дрожит, и Клаудиа дрожит, и кусты бугенвиллеи дрожат тоже и вдруг мгновенно засыхают и рассыпаются в пыль у нее над головой. Клаудиа ворочается на кровати, кашляет, проводит рукой по потному лицу и чувствует, как сверху ей на голову сыплется эта пыль, и она сама постепенно превращается в пыль, смешивается с пылью на дороге и той, которая сыплется с зарослей. А лошадь топчет эту

пыль копытами, Клаудиа вскрикивает и просыпается от собственного крика. Сжимает пальцами виски, проводит ладонью по лицу, осматривается: Сиако нет. Какое-то время она лежит, словно все еще оставаясь во власти сна, потом медленно поднимается и бредет по дому, ссутулив плечи, волоча ноги по пыльному полу. «Сиако! — кричит. — Сиако!» В ответ — тишина. Зовет Марипосу, в ответ — тишина. Знает, что Марипоса никогда больше не прибежит на ее зов, и сама не понимает, почему зовет ее, как не понимает, почему вдруг начинает звать детей, которых у нее нет. Никто ей не отвечает. Снова проводит руками по лицу. Помутневшие глаза глубоко ввалились, губы сжались в одну горькую линию, и без того худое тело словно еще усохло. Срывающимся, не похожим на человеческий голосом Клаудиа кричит: «Сиако! Марипоса! Сиако, Мигель! Флора!..» Ей по-прежнему отвечает тишина. Женщина съеживается, деревенеет. Неуверенно, как во сне, идет она к двери. Одна, опять одна выглядывает за порог, на пустынную дорогу, и кажется ей, что она слышит, как где-то далеко-далеко замирает стук копыт. Взгляд ее оживает, напряженно скользит вдоль дороги, шрамом рассекающей сумрак ночи, словно хочет тоже устремиться по ней. Клаудиа долго стоит в дверях, глаза закрыты, непослушные губы что-то шепчут. Иногда она вдруг умолкает, приоткрывает глаза, и тогда в них отражается слабый свет наступающего утра.

Никто не знал, на что он жил и где, откуда пришел и куда ходил каждый день. Он не любил об этом говорить, и если кто-нибудь спрашивал, сразу переводил разговор на другое. Казался он человеком воспитанным: никогда ни на кого не сердился и не выходил из себя, даже если над ним насмехались. Целыми днями бродил пьяный по дорогам в надежде встретить кого-нибудь, поговорить. Старый уже, и, хотя трудно было точно определить его возраст, никто не сомневался, что умрет он в самом скором времени. Худющий, в одном и том же черном костюме, выпцветшем и мятом, в белой засаленной сорочке и выдавшем виды галстук. Станный был человек — появлялся вдруг ни с того ни с сего, как привидение. Только не был он привидением; перегаром от него так разило, что при ветре за километр можно было учуять. Ну каждый божий день был выпивши. Щупленький, маленький, с седой бородашкой, бредет,

спотыкаясь, того гляди упадет. И очень любил поговорить. На любой вопрос отвечал. Особенно насчет деревьев: говорил, что они мудрые. И подолгу смотрел на их кроны и слушал, как они шепчутся на ветру. Его считали сумасшедшим, и мы, тогда еще мальчишки, чтобы подразнить старика, спрашивали: «Скажите, сеньор, а что такое сумасшедший?» Он не сердился. Становился серьезным, но не сердился. И всегда отвечал одно и то же. Я это хорошо запомнил, потому что он все время повторял: «Видите ли, я не уверен, что есть на свете человек, который мог бы точно объяснить вам, что такое сумасшедший». И опять начинал говорить о деревьях. «Деревья мудрые. Они-то знают, что все проходит и уходит навсегда. Слышите, как листья шумят? Это они прощаются с нами». Теперь-то старик, наверное, уже помер. А может быть, ушел куда — никто не знает. Просто однажды пропал, и больше его здесь не видели.

— Пора, — говорит Сиако.

Они вылезают из лесной чащи. Темная стена смыкается за ними. На фоне светлеющего неба видно, как черный силуэт джипа удаляется по гребню холма, постепенно растворяясь в полумраке. Ночная темнота борется с рождающимся утром, заполняя в низины, прячась меж холмами. Окружающий нас мир в этот час кажется нереальным, расплывчатым, расстояния искажаются. Четыре призрачные фигуры медленно движутся вверх по склону, оглябая выступы скал, окунаясь в сумрак ущелий и впадин и вновь появляясь в неясном свете. Идут тихо, пригибаются в высокой траве, изредка настороженно переглядываются. Сиако впереди. Время от времени он останавливается, внимательно смотрит по сторонам, прислушивается. Солнце уже выглянуло из-за гор. Теперь наклоняться приходится еще ниже, тщательнее осматривать окрестности и ближайшие вершины, потому что идут они по открытому месту. Чем дальше, тем реже и суше становится трава, в воздухе появляется пыль, поднятая утренним ветерком. Выходят к оврагу и по неровному, изрезанному склону начинают спускаться вниз, цепляясь за острые выступы и увлекая за собой лавину мелких камней. Низ оврага порос кустарником, а на другом его, более пологом склоне раскинулась эвкалиптовая роща. Достигнув дна, по которому когда-то протекал ручей, Сиако говорит:

— Вот-это самое место и есть.

— Неплохое,— одобрительно замечает Бебе.— Как в траншее.

Ручей пересох, но земля в его русле еще влажная и мягкая, и к ней жадно тянутся щупальца лиан и корни ближних растений. По этому руслу они и приходят к деревянному мостику, подступы к которому тоже прикрыты густым кустарником.

— Оставайтесь здесь,— говорит Сиако,— а я пока схожу за ней.

Трое укрываются на дне оврага, а Сиако выходит к роще, где у него привязана лошадь, и внимательно всматривается в вершину холма, на которой должен находиться Куэто. Ему вдруг показалось, что за ним наблюдают, и он оборачивается туда, где в неглубокой ложине виднеется дом Нати. Потом садится на лошадь и направляется к нему. Привычной бело-красной скатерти на веревке нет, поэтому, прежде чем приблизиться, Сиако несколько раз свистит, и тут же Нати с распущенными волосами выбегает из дома и торопится к изгороди. Не слезая с лошади, он говорит:

— Пора, Нати.

— Уже?

— Да, поехали.

— Дай хоть я сбегая искупаюсь на счастье.

— Вечно ты со своими глупостями. Времени в обрез. Ты должна ждать меня на берегу, как договорились, а туда добрых два часа ходьбы. Ну, быстро забирайся ко мне.

— На лошадь? Нет, Сиако, нас могут увидеть.

— Какая теперь разница. Больше они нас никогда не увидят.

— Все равно, Сиако, на лошади не поеду. Лучше я пешком.

— Ну как хочешь, иди пешком, только быстро!

— Дай хоть узелок собрать.

— Никаких узелков. Пошли.

Сиако слегка придерживает свою кобылу, а Нати шагает рядом, на ходу собирая волосы в пучок.

— Рада?

— Очень. Только боюсь чего-то. Лучше бы я все-таки искупалась.

С горы поселок Монте-Гранде похож на детские кубики, разбросанные среди песчаных холмов. Растянувшись на траве, Куэто из-за сосны рассматривает поселок в бинокль. Долго регулирует резкость, пока красный трактор, стоящий у водонапорной башни, не вырисовывается перед его глазами четко и ясно. Потом переводит бинокль на контору, общежития, столовую, видит, как Хесус и Туте, беседуя, пересекают пыльную площадку. Затем следуют питомники, антенна радиостанции, плантации ярко-зеленых влажных саженцев, женщины, работающие там, а еще дальше — строящиеся дома. Куэто рассматривает дальние холмы и сосны на них, их стройные прямые стволы, темную неровную кору. Снова нацелив бинокль на поселок, видит, как к столовой подъезжает «газик» и останавливается в ее тени. Из машины выходят трое. Он узнает Бруно и Хорхе, третьего не знает — никогда прежде не видел. Отведя взгляд от поселка, Куэто смотрит на часы: ровно половина одиннадцатого. Когда он опять подносит бинокль в глазам, трое входят в контору...

— Как дела с «микропланом»? — спрашивает Бруно.

— Люди работают с большим подъемом, — отвечает Луис. — К концу месяца домов восемь заселим.

— Я думаю, нам лучше подождать и начать переселение, когда будут готовы все дома.

— Ну что же, можно и так, — не возражает Луис. — А завтра начинаем расчистку на склоне Орасио. Руководить теми, кто будет рубить лес и жечь уголь, назначим Кlemente.

— Неплохо, — соглашается Бруно. — Свяжись с Лас-Десеадас и бригадой «Феликс Лопес», передай Бланко, чтобы тоже приезжал сюда вместе с Аресио и Пабло. Пора уже нам поговорить о создании партийной ячейки. Отсюда поедem в правление. Да и спроси там: товарищи уже выехали?

...Куэто видит, как они выходят из конторы и, поднимая облачка пыли, шагают к питомнику. Какое-то время разговаривают с женщинами, потом направляются к строящимся домам. Бинокль десятикратный, и, приглядевшись внимательнее, Куэто может различить даже, во что они одеты. На Бруно — серая спецовка, одна штанина заправлена в башмак, другая выбилась. Куэто убеждается, что

оружие только у Бруно. Они обходят стройку. Останавливаются. Бруно поворачивается к горе, и Куэто мгновение видит его совсем рядом. Бруно глядит на него в упор и что-то строго говорит, словно спрашивая: «А зачем это вы оттуда за нами подглядываете?» Куэто отчетливо видит его безбородое продолговатое лицо, карие глаза. Вздвогнув, опускает бинокль и с облегчением убеждается, что Бруно далеко, а потому неопасен. Когда он снова подносит бинокль к глазам, Бруно уже отвернулся и, вытянув руку, что-то объясняет тем, кто стоит рядом с ним. Потом вся группа снова возвращается в поселок, заглядывает в общежитие и скрывается в столовой.

Над Куэто раскинулось знойное небо. Солнце ожесточенно жжет притихшую, словно в ожидании чего-то, землю. Все вокруг пышет жаром. Воздух поднимается от раскаленных камней, и в его восходящих струях деревья и скалы будто дрожат. Солнечные лучи больно жгут спину Куэто, и, отбросив бинокль, он поворачивается вверх лицом. Долго лежит так в траве, раскинув руки и стараясь ни о чем не думать. Встать его заставляет жажда. Он бредет к своему джипу и, достав из-под сиденья термос, отпивает несколько глотков, ругая себя за то, что не догадался захватить еды. Возвращается на свой наблюдательный пункт под сосной. Устроившись было на ее вершине као, увидев приближающегося человека, тревожно кричит и, распластав по небесной сини большие черные крылья, улетает.

Куэто опять ложится в траву, берет бинокль и пробегает взглядом по пустынному, залитому ярким солнцем поселку. «Газик» стоит, как и раньше, прижавшись к стене столовой, но тень теперь уже не защищает его. Мысли Куэто возвращаются к тем, кто ждет его у моста, к Сиако, к тому, что должно произойти. Ему становится еще жарче, душу охватывает тоскливое чувство страха, в голове проносятся какие-то обрывочные мысли, то четкие и ясные, то неопределенные и расплывчатые, сути которых ему никак не удастся ухватить. С трудом освободившись от этого беспокойного полусна, Куэто снова прижимает бинокль к глазам и вглядывается в далекий поселок. Там по-прежнему все спокойно. Через площадку перед столовой не спеша бредет собака. Глухой повар, неподвижно стоящий у дверного косяка, внимательно следит за ней и не оборачивается, когда сзади почти вплотную к нему под-

катывает еще один «газик». Из машины выпрыгивает Бланко и быстро входит в контору. Куэто успевает кинуть взгляд на его пояс.

Часов около трех пополудни к конторе подъехали Пабло и Аресио. Пабло вооружен. Аресио нет. Куэто провожает их взглядом до дверей.

По мере того как солнце совершает свой извечный путь по небу, нервность Куэто растет. Маленькие, глубоко посаженные глаза его затравленно бегают. Прощуршала где-то рядом в траве ящерица, и сердце у него испуганно екает. Осмотревшись вокруг, он немного успокаивается и облизывает пересохшие губы. Воды в термосе уже не осталось, а воздух по-прежнему сух и горяч, хотя солнце и начинает потихоньку склоняться к зубчатому хребту.

Куэто видит, как повозка с рабочими отъезжает от питомника. А двери конторы все еще не открывались. Солнце уже прячется за горами. Вот золотистый край его диска царапнул каменистую вершину, разбросав во все стороны снопы ярких лучей, а из дверей конторы по-прежнему никто не появлялся. Наконец солнце устало закатилось за сразу почерневший гребень гор, и только тут Куэто увидел, как из конторы выходит Бруно. Положив руку на плечо Луиса, он что-то говорит...

— Засиделись мы, — говорит Бруно.

— Поезжайте сейчас, — советует ему Луис, — а мы догоним...

Улыбнувшись, Бруно садится в машину. «Газик», ловко развернувшись на площадке, выезжает на дорогу. Руки Куэто дрожат от волнения. Отбросив бинокль, он стремглав бежит к своему джику, быстро заводит мотор и, не разбирая дороги, летит вниз, к оврагу. У знакомого моста останавливается и растерянно оглядывается: никого. Наконец замечает Бебе, подающего ему сигнал из кустов. Скороговоркой докладывает:

— Едет. С ним еще двое.

Прогромыхав по мосту, джип скрывается за поворотом дороги. Бебе и его приятели кладут поперек моста несколько бревен, вешают на перила красную тряпку и зажигают фонарь.

Говорят, что войти в лес ночью не всякий может. Сперва надо спросить разрешения у желтых ночных бабочек и поздороваться с ними; они сторожат лесной покой. У наших горных зарослей свои законы, и законы эти нельзя нарушать. Надо их знать, чтобы почью войти в лес. Лучше всего, говорят, идти в новолуние, тихонечко посвистывая. В лесу будто бы обитает вся ненависть и вся любовь нашего мира. Дремлют там, затаившись в корнях. А деревья корой и листвой чутко прислушиваются, охраняя их сон. Говорят, что и святые по ночам спускаются на землю и гуляют в лесу. А в самых темных зарослях прячутся души покойников. Старая Карлота, говорят, знала, как надо входить в лес, поэтому и могла беседовать с деревьями, и они рассказывали ей, какие мечты, какая любовь и какая сила таится у них в корнях.

Сумерки едва опустились на землю, а в лесу уже совсем темно. Хорхе сидит за рулем; рядом с ним — Бруно, а Суарес, член провинциального комитета партии, устроился на заднем сиденье. Зажженные фары шарят по дороге, и кажется, это они поднимают в воздух клубящуюся впереди пыль и тучи мошкары.

— Действительно, неплохо получается с «микропланом», — говорит Хорхе. — А я, признаться, сомневался.

— Дело в том, — поворачивается к нему Бруно, — что люди, познавшие настоящий голод, всегда поймут и под-

держат нас. Кроме того, Луис и Пабло отлично ведут развяснительную работу.

Выбравшись из низины, «газик» некоторое время едет склоном торы, а потом снова сворачивает вниз, туда, где через русло сухого ручья перекинут небольшой мостик...

Метрах в ста от моста, не убирая дрожащей руки с кнопки стартера, сидит в своем джипе Куэто. В стороне и несколько выше, крепко натянув поводья, прячется за чахлыми пальмами Сиако. У самого моста притаились в кустах трое. Чувства и мышцы напряжены до предела. Один из них, скорчившись в непролазных колючих зарослях марабу, раздирающих при каждом движении и одежду и тело, держит наготове большой тяжелый кинжал. На противоположной стороне укрылись Бебе и Роби: у них в руках автоматы. Пока только ветерок с легким шорохом поглаживает ветви, других звуков не слышно. Но вот издалека доносится гул мотора. Все настораживаются. Машина быстро приближается. Из-за поворота появляются два огненных глаза и, пронзив темноту, освещают завал у моста. Машина резко тормозит. Из нее выходит Бруно и быстро шагает к лежащим поперек дороги бревнам. Тут же от черной стены марабу отделяется тень и набрасывается на него. Хорхе пытается дать задний ход, Суарес вытаскивает пистолет, выпрыгивает из машины, но стрелять не решается: две темные фигуры, сцепившись, катаются в пыли, и невозможно разобрать, которая из них Бруно.

— Ни с места! — слышится резкий окрик с другой стороны.

Суарес стреляет туда, откуда раздался голос. И сразу же звучит несколько ответных выстрелов. «Газик» медленно ползет назад, неуклюже скатывается с дороги и, уткнувшись в эвкалипт, останавливается. Перепрыгнув через завал, Суарес приседает и стреляет по вспышкам. На сероватом фоне дороги ему видно, как Бруно пытается подняться, а над ним заносит руку какой-то человек. Суарес стреляет, человек оседает, валится на бок и медленно ползет к кустам. Суарес стреляет еще раз и чувствует, что его ранили в левую руку. Быстро обернувшись, он успевает сделать еще несколько выстрелов по удаляющимся вспышкам и падает, но тут к мосту на полной скорости подлетают еще два «газика». С пистолетами в руках из них выпрыгивают Пабло и Луис. Но выстрелы уже смолкли, и над лесом нависла зловещая тишина, нарушаемая

лишь вздохами ветра. В свете луны на сиденье «газика» видна фигура Хорхе: руки лежат на руле, голова неестественно откинута назад. Подойдя поближе, Луис различает на его лице и шее струйки крови. Хорхе мертв. Ветровое стекло, как и сама машина, изрешечено дырками от пуль. Ближе к мосту находят Бруно, лежащего поперек дороги. Его левая рука подвернута под спину, правая — на кобуре. На животе и чуть выше расплываются два темных пятна. Склонившись над Бруно, Пабло и Луис убеждаются, что он еще жив: дышит и веки его едва заметно подрагивают. Вдвоем они поднимают Бруно и укладывают на заднее сиденье машины. Пабло садится рядом, а Бланко включает мотор, разворачивает машину, и тут они замечают Суареса. Видны только его ботинки, тело свисает с моста, уйдя головой во влажное, мягкое дно ручья. Луис спускается вниз и убеждается, что Суарес тоже мертв. Спрыгнув на мост, Луис командует:

— Яйо! Быстрее в поселок! Поднимай людей! Надо немедленно оцепить берег. Их нельзя выпускать. — И, обращаясь к Аресио: — А мы пойдем по следу! Далеко уйти они не могли.

Бабка Антоньика, та, что лечила водой, говаривала, что женщина, если она хочет ночью идти в лес, должна быть чистой, должна вымыться речной водой с листьями альбоаки и белыми цветами. Она говорила, что это будто бы нужно для того, чтобы отогнать страх, потому что страх может сделать с женщиной все что угодно...

Торопятся. Бегут, спотыкаются, падают, поднимаются и снова бегут. Выйти на дорогу боятся, выбирают места поглуше, потемнее. Колючие ветви рвут одежду, хлещут по лицам. Ноги путаются в невидимой паутине лиан. Ближе к вершине холма, где заросли кончаются, ложатся и ползут вверх, прячась в сухой траве. Карабкаются по-кошачьи. Дрожащими руками и ногами цепляются за небольшие выступы и камни. Срываются, молча смотрят друг на друга, дышат тяжело, но продолжают продвигаться вперед, только вперед. Широко раскрытыми ртами ловят воздух и лезут дальше, нащупывая опору. На душе у обоих бессильная ярость и страх. Камни осыпаются из-под ног, но они снова цепляются за уступы и упрямо дви-

жуются вверх. Издалека доносятся одиночные выстрелы. Преодолев вершину, останавливаются передохнуть. Особенно плох Роби. Он чувствует, что больше не выдержит. Его тошнит, тело покрывается холодным потом. Трясущиеся руки едва удерживают автомат. Он ненавидит свою слабость, ненавидит Бебе за то, что тот устал меньше его, ненавидит не дождавшегося их Куэто. Временами ярость сменяется в нем острой жалостью к самому себе, и злость на Бебе, заставившего его, больного, приехать сюда, становится еще сильнее. Бебе подает знак: «Пора идти». Но Роби лежит неподвижно, уставившись на него ненавидящим взглядом.

— Вперед! — приказывает Бебе. — Надо торопиться!

Роби поднимается и, машинально переставляя ноги, делает несколько шагов. Но тут яркий свет разрывает темноту ночи. Оба замирают на месте...

Нати видит, как ракеты одна за другой взвиваются в небо, и начинает потихоньку дрожать. Сиако не пришел за ней и теперь уже не придет — она это знает. Путь ему преградили эти яркие огни. Ее бьет крупная дрожь, голова, как от резкого удара, запрокидывается назад. Она смотрит на неестественно светлое в зените и черное по краям небо, и в глазах ее начинает рябить от взлетающих и падающих огней. Ей кажется, что сейчас они упадут на нее. «Сиако!» — зовет она, но ее одинокий крик ей самой кажется глухим и бессильным среди тревожных залпов ракетниц. В страхе озираясь, Нати бросается бежать, куда и зачем она и сама не знает. Остановится на миг, оглядится, позовет Сиако и опять бежит. Впереди небольшая поляна. В свете занимающегося утра Нати видит маленький домик без крыши, обвитый буйной растительностью. Сгнившие доски накрепко стянуты мощными побегами плюща. Она проводит рукой по глазам, словно стараясь прогнать какое-то смутное воспоминание, слышит, как совсем рядом журчит вода. И вдруг время словно останавливается, и чудится ей журчание другой воды другой ночью...

Женщина медленно подходит к источнику, раздевается и, черпая ладонями прозрачную воду, льет ее на себя. Потом входит в дом и ложится на заросшем травой и фиолетовыми цветами полу...

К полуночи мы отрезали подступы к морю, к четырем часам замкнули кольцо. Народ пу прямо рассвирепел. К утру приехал команданте. Он сказал... Точно я не помню, как он сказал, то есть помню, но не могу повторить слово в слово. В общем, примерно так: люди умирают, а идеи нет. Человека, значит, можно убить, а идею нельзя. И это правильно. То, что говорил Бруно, теперь живет в нас, мы за это боремся, и это не умрет. Пускай ему пришлось погибнуть, а его идеям мы погибнуть не дадим, и я уверен, что здесь у нас все будет так, как он говорил. А вот кто не знал, за что борется, так это Куэто. Он и сам в этом признался, когда его привели и посадили на скамейку в столовой. Лицо в слезах, сам весь грязный, и штаны мокрые... Его в лесу тогда первого схватили, потому что он стоял и кричал: «Я здесь, вот он я! Только не убивайте! Только не убивайте!» И когда команданте его спросил, за что он боролся, Куэто так ничего и не смог ответить. На колени упал, хотел ботинки команданте целовать, плакал и просил, чтобы его не убивали. Потом все рассказал. Рассказал, что втянул его в это дело Сиако и что Нати тоже хотела убежать вместе с ними. Рассказал про троих, заброшенных сюда с оружием: одного звали Бебо, а как двоих других, не запомнил. Сказал, что не дождался их, как ему было приказано. Оп их должен был до моря довести на своем джипе, но, как только слышал стрельбу, понял, что добром их затея не кончится. Плакал, в соплях весь — ну прямо как маленький. Медалька у него на шее висела с изображением девы Марии — все целовал ее. Только, я думаю, хоть он и плакал, и рассказывал все, и по полу ползал, пощады ему не должно быть. Не должно!

А Кlemente возьмите. Каково ему было, когда он узнал, что Нати связалась с Сиако? Команданте сказал, что с теми троими уже покончено. И Сиако тоже никуда не уйдет.

Светает. Напуганные ночной стрельбой птицы молчат. Все тихо кругом. Бесшумно пролетает над головой черная птица. Вдруг кобыла, издав какой-то странный звук — будто охнув, — оседает и валится на бок, и только тут Сиако слышит выстрел, многократно повторенный горами. Из шеи лошади бьет струя ярко-красной дымящейся крови. Копыта судорожно дергаются в воздухе. Сиако бес-

сильно опускается на траву рядом с затихающим животным и, медленно поворачивая голову, осматривается вокруг. Он видит, как что-то ударилось о ствол ближней сосны, куски коры сыплются ему на голову, а по долине разносится звук еще одного выстрела. Встрепенувшись, Сиако быстро ползет в сторону, прячась за стволами. Там, где трава высокая, он поднимается и, согнувшись, делает короткие перебежки. Из-под ног его с шумом катятся камни, оставляя пыльную завесу в воздухе. Выстрелы все приближаются. Сделав еще несколько шагов, он неожиданно оказывается на голой каменистой площадке. Здесь каждое мгновение его может настигнуть пуля. И уже чувствуя, как раскаленный свинец впивается в его тело, он, обдирая в кровь пальцы, начинает быстро карабкаться вверх по крутому склону. Достигнув вершины, недалеко от себя видит глубокий, густо заросший овраг. В мозгу Сиако вдруг проносится вся его жизнь. Он поднимает голову, слышит голоса преследователей, крестит лицо, ставит пистолет на боевой взвод и вынимает из кармана фотографию Нати с пришитыми завитками волос. Бросив взгляд на фотографию, зажимает ее в кулаке и бежит вниз, к оврагу. Громкий топот его сапог сливается с треском выстрелов, но он уже ничего не слышит, он бежит, бежит, изредка оборачиваясь и отстреливаясь на ходу, и вдруг резко останавливается, словно наткнувшись на невидимую стену. Рука его разжимается, выпуская смятую фотографию, тело неуклюже сгибается, падает и сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее катится к краю оврага, увлекая за собой лавину мелких камней.

— Я должна ехать! Ты возьмешь меня! — в отчаянии кричит Мерседес.

— Сначала успокойся.

— Я должна! Отвези меня к нему!

— Ладно, садись.

Стены коридора в больнице окрашены в спокойный бледно-зеленый цвет. Возле дверей палаты стоят врачи и военные. Когда они отходят, Мерседес приближается к сестре и прерывающимся голосом спрашивает:

— Как он себя чувствует?

— Снова будут оперировать.

— Очень плохо?

- Положение тяжелое.
- Но он не умрет?
- Положение очень тяжелое. Вы его родственница?
- Я...

Сестра опускает глаза и кладет руку на плечо Мерседес.

- Пропустите меня.
- Сейчас нельзя.
- Но я должна его видеть.
- Подождите.

Сестра скрывается за дверью палаты. Кусая пальцы, чтобы сдержать подступающие к горлу рыдания, Мерседес стоит в коридоре. Смутно, как сквозь мокрое от дождя стекло, видит Пабло, который, приближаясь, поднял было руку, да так и остался. Дверь палаты открылась, из нее вышел Луис. Лицо его очень серьезно.

— Мне надо его увидеть! — подбегает Мерседес к Луису.

— Сначала успокойся!

— Ладно, успокоилась, — говорит Мерседес, вытирая глаза.

Пабло и Луис, разговаривая шепотом, удаляются. Дверь приоткрывается, и сестра жестом приглашает девушку войти. Мерседес наклоняется над его кроватью. Бруно, с трудом подняв руку, проводит ее по оранжевому платку.

— Вам нельзя двигаться, — предупреждает врач.

Бруно опускает ладонь на руки Мерседес.

— Не плачь, — тихо говорит он, — не надо.

— Ведь правда с тобой ничего не будет? Ты выздоровеешь! Правда?

— Я знаю, положение серьезное, — говорит Бруно. — Я никогда не боялся смерти. Но сейчас...

— Ты понял, зачем я надевала этот платок?

— Конечно. И все будет...

— Вам нельзя разговаривать, — прерывает его врач.

Вместе с вошедшим Луисом сестра пытается увести Мерседес, но она не выпускает рук Бруно.

— Оставьте меня!

Сестра отходит.

Луис, глядя на осунувшееся лицо друга, вспоминает другого Бруно... Гимнастерка, пропитанная потом, грязью и кровью. Задумчивый, рассеянный взгляд. Это было пе-

ред самым боем, они стояли, прислонившись к дереву, докуривая по последней сигарете. «Надо заранее определить перед собой и перед людьми свое отношение и к смерти, и к любви, и к жизни. Надо сделать выбор, идти на риск, а может быть, что-то и потерять, но найти главное...» Подняв глаза, Бруно всматривался в изменчивые облака, словно пытаясь решить какую-то очень важную задачу. И вдруг сказал, что, если нужно умереть, он готов, но все же сначала хотел бы увидеть осуществленной свою мечту. «Подобно тому как творец покончил с хаосом небесным,— говорил он,— человек должен навести порядок на земле». «Важен лишь конечный итог, только он определяет, что было главным, а что второстепенным». Потом он вдруг вспомнил известный рассказ Джека Лондона о человеке, который, прислонившись спиной к дереву, готовится достойно встретить смерть... «В жизни не все происходит так, как ждешь, но никогда нельзя терять достоинство»,— всплывают в памяти Луиса слова Бруно. И еще: «Никто из нас не знает себя до конца». «Я всегда верил в людей. В жизни нет невозможного...»

Луис видит, как лицо Бруно вдруг становится неподвижным. Мерседес чувствует, как тяжелеет его ладонь, а взгляд, обращенный к ней, застывает навеки.

— А ее где схватили? — спрашивает Пипе.

— Да не схватили, просто увидели, и все,— рассказывает Туте.

— Ну? А тут народ черт те что болтает.

— Еще бы!

...Было уже позднее утро. Мужчины, растянувшись цепочкой, прочесывали лес, двигаясь к побережью. И вдруг скомвоз красноватую пыль, висящую в воздухе, увидели домик, ярко-зеленый от густо обвивших его растений. Цепочка продолжала двигаться в сторону моря, а Нати оставалась лежать на заросшем травой и цветами полу, прислушиваясь к шагам, которые становились все ближе и отчетливей...

— Ну и как же вы ее увидели? — нетерпеливо спрашивает Пипе.

— Лало заглянул и...

— Куда?

— В дом.

— А она разве в доме была? В каком?

— Да в том, что без крыши стоит на дороге, идущей от Ла О к берегу. Про этот дом еще говорят, будто он заколдован, потому что покосился весь, а никак не развалится,— объясняет Туте.

— Вон куда ее занесло! — удивляется Пипе.— А дом? Правду говорят, рассыпался?

— В один миг,— подтверждает Туте.

— Да ты рассказывай, не тяни!..

...Сначала в дверях показался ствол винтовки, а потом и голова Лало появилась. Нати не шелохнулась, не сказала ни слова и даже не прикрыла своей наготы. Широко раскрытыми испуганными глазами, мокрыми и покрасневшими то ли от слез, то ли от бессонной ночи, она молча смотрела на Лало. Одежда ее, связанная в узелок, лежала рядом. «Оденься! — приказал ей Лало.— Слышишь, оденься!» А она вдруг схватила узелок и забросила его подальше от себя...

— Значит, лежала она там совсем голая,— продолжает Туте.

— Неужели голая? — восхищенно восклицает Пипе.— И ты сам видел?

...Лало вышел из дома и крикнул товарищам: «Здесь она, только одеваться не хочет!» К нему подошел лейтенант, руководивший операцией. «Что вы сказали?» «Я говорю, здесь она. Голая и одеваться не желает»,— ответил Лало. Лейтенант раздвинул ветви зарослей, пролез в дом...

— И ты видел ее голую?

— Видел, только потом. Все как-то чудно было...

— Дальше-то что, рассказывай.

— Сперва, понимаешь, зашел Лало, а потом лейтенант, а когда он вышел, лица на нем не было,— не торопится Туте.— Лейтенант послал за Кlemente, он где-то рядом был, в нашей же цепи. И вдруг дом прямо на глазах стал разваливаться. Доски так и посыпались; будто их до сих пор держала какая-то паутина. Остались стоять только дверные косяки. И тут мы ее увидели...

...Нати лежала среди папоротника и фиолетовых цветов. Потом встала и, раздвинув вытянутыми руками мешавшие ей ветви, пошла к роднику. Опустилась на колени и, зачерпывая воду ладонями, стала плескать ее себе на лицо и на тело...

— Голая? — никак не может поверить Пипе. — На коленях и совсем голая? Вот это я понимаю! Небось вы-то так и обомлели, а?

— Нет, — отвечает Туте. — Ты не согласишься, но что-то такое со мной сделалось... Да и с другими, по-моему, тоже...

— Что сделалось? — не терпится Пипе. — Да не тяни ты, говори!

— Понимаешь, даже не знаю, как тебе объяснить. Она стоит перед нами на коленях, а мы вроде и не замечаем, что она голая. Жалкая она была какая-то.

— Погоди, что ты плетешь?

— Не знаю, но что-то с нами случилось. Чудно все как-то было...

...Мужчины молча толпятся вокруг развалившегося дома. Нати, по-прежнему стоя на коленях, сосредоточенно плещет на себя воду, не обращая на них никакого внимания.

— Не может быть! — категорически заявляет Пипе. — Что-то ты не то говоришь!

— Нет, то самое. Какая-то она другая сделалась, не такая, как всегда. Ну, ты сам знаешь, идет она, бывало, мимо, так глаз от нее не оторвешь, словно хочешь взглядом ее раздеть, поглядеть, какая она. А тут, наоборот, будто эти наши взгляды одели ее.

— Вот дураки! — искренне удивляется Пипе. — Ты что, стариком стал, вроде Анастасио Риоса?

— Нет, ты не понимаешь. Мы не смотрели на нее как на женщину. словно перед нами была вещь.

— Так, — все еще недоумевает Пипе.

— Трудно тебе это объяснить. Все там было как-то чудно. Клементе и то не хотел ее видеть. Лейтенант заставил его подойти. А Нати тоже вроде не замечала, что вокруг люди и смотрят на нее. Подошел, значит, к ней Клементе, положил на плечо руку, а она и не взглянула на него: стоит себе на коленях и брызгает водой.

— А Клементе что?

— Он вообще ничего не хотел делать, даже подходить не хотел, это лейтенант его уговорил.

— А она что, когда Клементе увидела?

— Да тоже ничего. Вроде даже и не заметила его и не почувствовала, что он ей руку на плечо положил. Он что-то сказал, а она как будто не слышала. Нет, тебе надо

было самому там быть, тогда б ты понял. А так трудно рассказывать. Странно все как-то было.

— А Клементе что? — не успокаивался Пипе.

— Да я же говорю: положил ей руку на плечо и что-то стал говорить. Я думаю, чтобы она оделась.

...Зеркало воды отражает Нати и Клементе. Он молча стоит над ней, с силой сжимая ее плечо, а она смотрит в воду, на его круглое лицо, густо усыпанное веснушками и каплями пота, искаженное гримасой. Пальцы Клементе с силой впиваются в тело Нати, и она, чтобы умерить боль, зачерпывает пригоршню воды и брызгает себе на шею, на плечи. Лица в воде дрожат, расплываются, но рука Клементе продолжает больно сдавливать плечо.

— И она оделась?

— Мы стояли в стороне, а он что-то говорил ей. Только она не обращала на него внимания, все смотрела в лужу. Я тоже далековато стоял и не слышал, что он ей говорил...

Пальцы так больно сдавили плечо, что Нати, не выдержав, посмотрела на мужа. Его бледное лицо, обрамленное рыжеватыми волосами, показалось ей залитым ярким электрическим светом, хотя солнце уже стояло высоко, а в глазах мужа она прочла ту же решимость, что и тогда в «Лос-Ботес». ...Нати пошевелинулась, чтобы подняться, но рука Клементе прижимала ее к земле. Тогда она взглянула на мужа и спокойно сказала: «Теперь я чиста, как эта вода...»

— И долго они так стояли?

— Да, он ей что-то говорил, наверное, чтобы оделась, а она — ни с места.

...Нати чувствует, как рука Клементе по-прежнему стискивает ее плечо, она хочет вырваться, но сильные пальцы хватают ее за шею и толкают вперед. Нати падает в воду.

— А дальше-то, дальше что было?

— Клементе толкнул ее. Похоже, надоело ему так стоять, ну он и толкнул ее прямо в источник. Надо было слышать, как она закричала! Барахтается в воде, стонет, хрипит, воет, как зверь... У меня и сейчас в ушах стоят ее вопли.

— А чем кончилось-то?

— Наверное, Клементе стало ее жалко. Какое-то время он смотрел на нее, а потом вдруг отвернулся и пошел

прочь. Когда проходил мимо, посмотрел и на нас, но ничего не сказал и запыхтел вниз по дороге. Тут прибежала какая-то женщина, принесла простыню. Лейтенант вместе с нею и еще двумя мужчинами вытащили Нати из воды. А она еще отбивается, не дается. Ну, завернули ее кое-как в простыню, втокнули в машину и увезли... Только знаешь... — Туте на мгновение задумывается. — Когда завернули ее и простыня прилипла к мокрому телу, мы опять словно увидели ее голой. Теперь ты понимаешь, как все это странно было...

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС ДЕ КАСКОРРО

РАССЕЯТЬ МГЛУ

Перевод В. Капанадзе

RAUL GONZÁLEZ DE CASCORRO
ROMPER LA NOCHE

LA HABANA, 1976

Пороки прошлого переносятся в настоящее в индивидуальном сознании, и нужно вести постоянную работу, чтобы искоренить их.

Чтобы построить коммунизм, одновременно с материальной базой надо создавать нового человека.

Эрнесто Че Гевара. Социализм и человек
на Кубе

I

В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ

Это было жуткое утро, сплошная нервотрепка. Мы съезжались с разных сторон, и никто из нас не знал имен остальных участников задуманного.

Дочка проснулась чуть свет и сразу же нацепила на себя купальник с маркой «Янсен», что ей подарила перед отъездом жена доктора Вароны, и не то чешский, не то немецкий надувной круг из тех, что завезли на днях в магазины. Она спрыгивала с кровати, ложилась на пол и начинала ритмично работать руками, будто плыла. Потом вновь забиралась на кровать, прыгала с воображаемого трамплина, делала вид, что погружается в воду, и опять принималась загребать руками воздух. Жена весело смеялась ее забавным движениям и ужимкам. Я знаю, этим смехом она хотела ослабить напряжение.

— Что с тобой? — неожиданно повернулась она ко мне, сразу посерьезнев.

— Ничего.

— Я смотрю, ты ходишь взад-вперед с таким похоронным видом...

— Просто в машине обнаружилась кое-какая неисправность. Да и вообще, дело ведь серьезное. Это тебе не игрушки.

Она пристально посмотрела на меня. Так, как она умеет смотреть, когда хочет упрекнуть меня в чем-то либо поставить на своем.

— Что, уже струсил?

Кровь бросилась мне в голову, лицо мое запылало. Она смотрела на меня все с тем же выражением, и мне вдруг стало обидно, что мы ссоримся перед самым отъездом.

— Меня беспокоит Карлитос. Похоже, он что-то подозревает.

— Это все твои домыслы. Ребенок собирается на пляж, он возбужден. Психологически это совершенно оправданно. Разве ты не испытывал аналогичных чувств, когда был маленьким?

Вечно эти ее заумные словечки, стремление выставить напоказ свою ученость: как-никак она преподает испанский язык, и не где-нибудь, а в институте. И разумеется, психология, не зря же она изучала ее в университете. Меня это всегда бесило. Сам-то я в свое время дальше коммерческого училища не пошел.

— Когда я был маленьким, я не ездил на пляж. Мать у меня была простая негритянка, да вдобавок без мужа. Она день и ночь стирала, чтобы хоть как-то прокормить нас. А по воскресеньям мы ходили убирать дворы в богатые кварталы...

— Не говори об этом при детях. Незачем вспоминать о том, с чем навсегда покончено.

На пороге комнаты стоял, молча глядя на нас, Карлитос. Я повернулся, чтобы идти в гараж, и тут только заметил его. Дочка по-прежнему резвилась в своем новом купальнике марки «Янсен», нацепив на себя спасательный круг.

— Мы уже скоро поедем. Машина немного не в порядке. Потерпи еще чуть-чуть, Карлитос.

Жена произнесла эти слова с естественностью героини Бетти Дэвис*, которой удастся провести окружающих, сделав вид, что все обстоит благополучно, хотя ее мнимая

* Популярная американская киноактриса.

невозмутимость лишь маска, в чем постепенно и убеждается зритель по ходу фильма.

— Я не хочу ехать.

Карлитос возражал нам обоим, и в первую очередь жене, с серьезностью, которая в его двенадцать лет выглядела довольно странно.

— Не глупи! Мы чудесно проведем время... Вот послушай: мы захватим с собой еду, расстелим скатерть где-нибудь под соснами... И наверняка встретим там кого-нибудь из знакомых, какого-нибудь твоего приятеля. Это будет настоящий пикник.

— Я хочу остаться. Мне хочется сходить в кино.

— С кем же ты останешься?.. Разве ты не понимаешь, что мы запрем дом, и потом, кто тебя здесь накормит? — убеждала его жена.

— Хосеито сказал, что я могу побыть у них. Это русский фильм, про войну...

Наступил момент, когда больше уже пользя было притворяться, приходилось сбрасывать маску. Она повернулась ко мне, взывая к моему отцовскому авторитету, требуя от меня решительного вмешательства, которое, впрочем, никогда не бывало решающим. Ее голос был исполнен драматизма. Мимика и жесты, заимствованные у Бетти Дэвис, убеждали красноречивее слов.

— Видишь?.. И все это потому, что мы разрешаем ему дружить с кем понало. С сыном комитетчицы. И смотреть русские фильмы. Эту грубую пропаганду. Это же с точки зрения психологии...

— Ладно, хватит, — нетерпеливо прервал я ее, потому что нервы у меня уже не выдерживали.

— Позволь мне договорить! Что у тебя за отвратительная привычка не давать человеку высказаться, закончить свою мысль... Поэтому-то я и не хотела переезжать сюда. Это была твоя идея, когда мы приобрели полис на покупку дома. Я хотела...

— Совершенно верно. Ты хотела в другое место. Но в другом месте не хотели нас. Разве не так?

Вот как ужасно все началось. И мне понятно почему. Вполне объяснимое волнение. Отказ Карлитоса. Неисправность в «шевроле». Стремление, чтобы все выглядело как можно естественнее. Чтобы соседи знали, что мы собираемся провести это воскресенье на пляже.

Я спустился в гараж. Стал продувать карбюратор, провозился с ним дольше обычного. Наверное, где-то в глубине души я мечтал, чтобы это была серьезная поломка, чтобы мои руки, проверявшие контакты и свечи зажигания, вдруг стали неловкими, неуклюжими. Чтобы все можно было свалить на руки.

То и дело приходила Беба, торопила меня. Говорила, что машиной надо было заняться заранее и что теперь мы приедем слишком поздно.

Дочка стояла рядом с грустным личиком. Она боялась, что ей придется расстаться с купальником и надувным кругом. Карлитоса не было видно. Это меня тревожило.

— А где Карлитос? — спросил я, когда Беба в очередной раз появилась на пороге гаража.

— В своей комнате, читает Джека Лондона.

— Он не передумал?

— Разве детям уже дано право отменять решения своих родителей?

Я промолчал, продолжая копаться в моторе.

— Ты еще не выяснил, в чем дело?

— Скорее всего, в карбюратор попала грязь.

— Вечно у тебя что-нибудь не в порядке.

— Что же ты хочешь, это не новый «шевроле»: как-никак пятьдесят третьего года выпуска.

— Ты мог бы уже купить новую машину.

— Да? А ты забыла про взносы на дом? Скажи спасибо, что мне пошли навстречу и разрешили немного отсрочить выплату. Ты же знаешь, компания не прощала задолженности...

— Ты еще будешь благодарить их за то, что внес собственные деньги...

— По крайней мере мне не нужно прятаться от сборщика квартплаты. Или ждать повестки в суд... Мою мать однажды выставили на улицу из-за каких-то несчастных пятнадцати песо. Я тебе об этом никогда не рассказывал?

— Когда я с тобой познакомилась, ты уже занимал приличную должность. И потом мог получить повышение.

— Да. С твоей помощью. Насколько я понимаю, именно об этом ты хочешь мне напомнить. Что ж, спасибо. Мне пришлось несладко после того, как меня провалили на экзаменах в Электрической компании...

— Не будем терять время. Поторопись, и так уже почти полдня прошло.

Тут наконец включился и ритмично заработал мотор, и она просияла.

— Можно звать детей?

— Зови. И скажи Карлитосу, что он может дочитать книгу на пляже.

— Что ты выдумываешь? Это же будет лишний груз...

— Ее всегда можно оставить в машине.

Она замолчала. И только улыбалась соседям, окружившим машину. Ребяшня расспрашивала, куда мы едем, некоторые даже просили взять их с собой.

— У нас очень плохие шины. Вы же знаете, теперь новых не достанешь, — говорила жена председательнице Комитета *.

— Хосейто мы можем захватить. Он мало весит, — сказал Карлитос.

Беба посмотрела на него так, как она одна умеет смотреть. В обычный день этого было бы достаточно, но сегодня ей пришлось изменить своим правилам. Она улыбнулась сыну и проговорила ележным голосом:

— Дитя мое, мы не можем взять на себя такую ответственность. Море полно опасностей. В любой момент может произойти несчастный случай, и я не хочу, чтобы меня потом мучила совесть.

И толкнула меня ногой, чтобы я поскорей ехал.

В пути мы почти не разговаривали. Я старался наверстать потерянное время, прежде чем мы доберемся до развилки, где кончался асфальт и начиналась плохая дорога. Сквозь неплотно закрытые окна в машину проникала пыль, толстым слоем оседавшая на наших лицах, что было не очень приятно.

— Когда только они приведут дорогу в порядок! — вздохнул я.

— Когда захватят все виллы на побережье, — сказала Беба без тени улыбки.

В свое время мы хотели приобрести участок в дачном поселке на побережье. Не у самого моря, конечно, и вообще не на центральных улицах, а на окраине, за которой начинались мангровые заросли — одним словом, болото. И то под разными предложениями сделку пытались расстроить. Тогда жена стала предлагать свои услуги: дескать,

* Комитеты защиты революции — массовая организация на Кубе, имеющая свои ячейки в каждом жилом квартале.

она может заниматься с детьми во время летних каникул, готовить отстающих к переэкзаменовкам. Ей почти удалось уговорить основных участников сделки. Но пайщиков было слишком много, и это осложняло дело. А тут как раз началась национализация, и бесконечным потоком хлынули отъезжающие...

Дети едут на заднем сиденье. Карлитос читает книгу. Как жена не настояла на своем, уму непостижимо. Это так же необъяснимо, как ее улыбка, адресованная председательнице Комитета. А девочка задремала. Еще бы, встала в такую рань.

Я не стал ставить машину перед самым зданием, которое построил здесь ИНИТ*, остановился чуть поодаль. Красивое здание, ничего не скажешь. Только зачем было строить его в таком глухом месте? Глупо. Ни хорошей дороги, ни автобусного маршрута. Вот так они все делают: никакого разумного планирования. Невежды. Им бы только попасть в «Боэмию»**, на экраны телевизоров, в газеты.

— Яхт-клуб красивее, как-то шикарнее, — говорит Беба. Мы шагаем по песку под сенью миндальных деревьев.

— Нет. С точки зрения архитектуры это здание лучше. И просторнее.

— Зато стоит оно в неудобном месте. Яхт-клуб расположен в жилой зоне. И выглядит так шикарно.

Всего несколько месяцев назад мы впервые получили возможность побывать там, думаю я. При въезде в жилые кварталы была натянута цепь и располагался пост. Без приглашения туда нечего было и соваться. Теперь там нет ни поста, ни цепи. Дома сдаются внаем. В некоторых из них еще остались хозяева. Но таких немного. Действительно, кроме одного-единственного здания, они ничего здесь не построили. И то в самом начале, когда еще с уважением относились к частной собственности. Если бы нам удалось тогда купить дом, теперь бы мы с ним распрощались.

— Смотри, Манолито...

— Кто? — с надеждой в голосе переспрашивает Беба.

— Муж Каридаситы, твоей портнихи.

* Национальный институт туризма.

** Популярный на Кубе журнал.

Они подходят, весело здороваются с нами, не подозревая, что мы участвуем в задуманном. Впрочем, и мы не знаем, участвуют ли они.

— Прогуляться приехали? — спрашивает Маполито в своей обычной развязной манере.

— Да. Решили вывезти детей. В городе такая жара.

— На чем вы приехали?

— На своей машине.

— А мы на автобусе с экскурсией.

Наверняка они не имеют отношения к задуманному. Автобус отходит в определенное время, и, если они не появятся, их будут искать. Начнут строить разные догадки, подумают, что с ними что-то случилось, и, если понадобится, под землей отыщут. Машина — другое дело. Неожиданная поломка, как у меня сегодня перед отъездом, и весь разговор. Никого это не удивит, ведь теперь так трудно достать резину и запчасти... Придется задержаться. Либо оставить машину и попытаться вернуться попутным транспортом.

— Что же вы так поздно приехали? Пропустили самое интересное. Тут выступал отличный ансамбль, потанцевали от души. Моя и то не усидела! Пива было — залейся! Заказывай жоть целую бочку. Холодненькое, прямо со льда... А сейчас можно перекусить в кафетерии. Не хотите составить нам компанию?

Во взгляде жены я читаю, каким должен быть ответ.

— Спасибо, мы привезли с собой закусить. Расположимся где-нибудь под тентом либо в соснах...

— Для чего вы тащили сюда еду?.. В воскресенье надо забывать о домашнейстряпне. Здесь такие креветки и лангусты! А рис по-моряцки? Просто пальчики оближешь, верно, Каридасита?

— Мы предпочитаем привозить все с собой. Дело в том, что наши дети не привыкли к определенным блюдам...

— Ну а моим стервецам положи камней, они и камни уплетут за милую душу! Простите, сеньора, вы не знаете, какого я страху только что натерпелся, до сих пор поджилки трясутся, как вспомню. Видите, даже гусиной кожей покрылся... Ведь один из них чуть не утонул. Хорошо, его заметил тот тип, что дежурит на верхотуре.

Жена снова бросает на меня многозначительный взгляд. Я должен прервать беседу.

— Не будем вас задерживать... Желаю приятно провести время.

— И вам того же, дружище!

Они направляются в кафетерий. Беба, не дожидаясь, пока они отойдут подальше, недовольно ворчит:

— Что это еще за панибратство такое?

— Я-то тут при чем! Ты же шила что-то у его жены.

— Это было очень давно.

— Ну да. Да ты не обращай внимания, ничего особенного не случилось.

— Только бы они тоже там не оказались.

— Там? А-а, да нет, вряд ли. Они же приехали с экскурсией.

— Жалкие людишки. Какая лексика! А он-то хорош: живет на заработок своей жены.

— Ты за него не беспокойся.

Мы проходим по просторным залам. Беба отводит дочку в туалет. Карлитос не разговаривает со мной — наверное, до сих пор дует за то, что мы не разрешили ему пойти на этот русский фильм про войну. Он уселся в кресло в вестибюле и делает вид, что читает Джека Лондона. Возвращается жена.

— Ты видел? Там, у стойки, доктор Хименес... Интересно, он в группе?

— Не знаю. Говорят, он не очень симпатизирует... всему этому.

— А кто симпатизирует?

— Ну, впадать в крайность тоже не стоит...

— Расскаиваешься?

— Да нет... Что это тебе взбрело в голову?

— Я же вижу, ты начал колебаться. Еще немного, и передумаешь...

— Ты ошибаешься.

— По дороге ты вспоминал разговор с директором провинциального управления...

— Не будем говорить здесь на эту тему. Давай поищем местечко, где никого нет. Не нужно забывать об осторожности.

Мы расположились на песке под соснами, расстелили скатерть. Прекрасный тут пляж. Потому-то поблизости и возник поселок. Именно в этой части песок лучше и водорослей меньше. Дочка ушла на детскую площадку.

— Карлитос, сходи поищи свою сестренку, пусть немного побарахтается в воде, пока мы не сели за еду.

Зачем она его отослала? Действительно поискать сестру или ей захотелось вернуться к недавнему разговору?

— Если бы ты был порешительнее, наш отъезд так бы не затянулся...

— *Знаете что, Картосо, пусть ваше заявление постоит у меня несколько дней, а вы хорошенько подумайте над своим решением...*

— Я уже достаточно думал...

— Вот именно. Если бы ты не тянул столько времени, мы бы уже были там.

— *Мне не хотелось бы вас обидеть, но разве вы не читаете газет, не слушаете радио?*

— Родиться мулатом — это еще не грех...

— Там все равны. Я же тебе показывала фотографию моей двоюродной сестры Антонии... У нее даже брали интервью для «Голоса Америки».

— *Вы думаете, что там вас ждет кабинет с кондиционированным воздухом? Что к вам будут относиться с таким же уважением, как здесь, на вашей родине?*

— Пусть меня не ждет кабинет с кондиционированным воздухом, но я все же не законченный болван...

— Разумеется! Ты сразу же пойдешь в гору. Пускай поначалу придется немного потрудиться, зато у твоих детей будет все. Они вырастут в свободном, демократическом обществе.

— *Подумайте, Картосо. Мы все вас ценим. Помните об этом... Помогите нам в строительстве нашего общества. Вы умный человек, и потом, вы же сами вышли из народа... Вы должны это понять.*

— Хорошо. Я постараюсь понять. Если бы я мог...

— Не верь тому, что пишут в газетах. В телевизионных передачах тоже все чересчур раздувают. Подумаешь, какой-то негр из Лос-Анджелеса... и из-за одного наглеца столько шуму... Мы к этому не имеем никакого отношения.

— *Очень рад. Очень рад, что вы все взвесили. Дайте вашу руку. Можете сами порвать свое заявление...*

— Мы бы уже были там. Ничем не рискуя, на законных основаниях.

— Ты не захотел снова подать заявление. Смалодушничал.

— Я не решился вновь начать с ними этот разговор...

— Так решишь на другое.

— Я решился. И поэтому мы здесь.

— Видишь ли, ты как-то так говоришь... Будто ты боишься или рассказываешься.

— Не станешь же ты отрицать, что мы все-таки рискуем. И в первую очередь детьми.

— Но только так мы сможем привлечь к себе внимание. У нас будут брать интервью для радио, о нас напишут в газетах. Ты должен поговорить со своим другом, чтобы у тебя обязательно взяли интервью... Ты же знаком с Маноло еще со старых времен, когда он начинал диктором.

— Да, я его давно знаю...

Этот разговор должен был состояться. Поначалу нас сковывало нервное напряжение, не покидало ощущение подавленности, какой-то беспомощности. Но вот мы очутились на шумном пляже: скачущие по песку дети; взрослые, плещущиеся в море; матери, то и дело одергивающие своих сорванцов; музыкальный автомат, наигрывающий мосамбике; холодное пиво, которое мы пили, пока дочка барахталась у берега со своим не то чешским, не то немецким кругом, — вся эта обстановка беззаботного веселья подействовала на нас успокаивающе, вселила уверенность.

— Добрый день, Картосо! Давно вас не встречал.

Жена ущипнула меня, чтобы вывести из оцепенения. Я не узнавал говорящего. Но не поэтому остолбенело смотрел на него, не зная, что сказать. Дело было в его форме оливкового цвета. И в новеньком, изящной формы автомате, свисавшем с плеча.

— Чехословацкий автомат, — заметил Карлитос.

— Точно. Вот подрастешь немного, и тебе выдадут такой же, — улыбнулся в ответ юноша и своей шершавой рукой погладил по шелковистым волосам сына.

Тут я опомнился. Кажется, я все-таки его знаю. Эти голубые глаза, которые вдруг становятся зелеными. Коротко подстриженные волосы, словно опаленные солнцем. Сильное мускулистое тело. А за ним второй солдат: черный как уголь негр с ослепительно белыми, ровными зубами, которые он обнажил в радостной улыбке, хотя мы ему не улыбались и вообще видели его впервые.

— Мать обрадуется, когда я расскажу ей, что видел вас. Она всегда мне ставит вас в пример: «Посмотри на Картосо, сына негритянки Чеа. Он хорошо учился, а теперь работает с большими начальниками, заведует школами». И рассказывает, как часто давала в долг Чеа жареную треску, когда вы сидели голодные.

Жена с силой сжимает мне руку. Она не выносит возвращения к дням нищеты, к плачущим от голода ребятишкам, к молитвам моей матери перед образом пресвятой девы Эль-Кобре. А я возвращаюсь назад. Это мои дни, не ее. Когда она со мной познакомилась, я учился в коммерческом училище и уже работал в книжном магазине. Ко мне домой она никогда не заходила. Моя мать надевала свое лучшее платье (отрез подарила ей Беба в День матерей) и шла к ним в гости. Ее отец работал в железнодорожных мастерских, так что у них в семье был постоянный заработок. Они могли покупать в рассрочку мебель, пользовались кредитом в магазине, оплачивали поездки своей дочери в Гавану, когда она поступала в университет. В их семье было двое детей: она и ее брат. Нас же у матери было семеро. И мы росли без отца. Я единственный из всей семьи работал, то есть, я хочу сказать, единственный имел постоянную работу. Мать целый день проводила у корыта, сестры ей помогали, а младшие братья относили выстиранное белье заказчикам. А когда-то, когда я был поменьше, это была моя обязанность.

— Я вас сразу узнал, как только увидел. И подумал: «Вот моя старуха обрадуется, когда я ей расскажу, что видел на пляже Картосо». Она вас часто вспоминает: «У него теперь даже своя машина есть»...

Ну конечно. Это же младший сын испанки Бенигны, которая держала крохотную закулочную на углу. Она тоже была вдовой. С раннего утра становилась она за стойку и подавала своим многочисленным посетителям кофе с молоком, хлеб, масло, котлеты, жареную рыбу...

— Это ваш сын? Вылитый вы.

— А вон та девочка в красном купальнике и с кругом, что играет на берегу, — моя дочка. — Благодаря активному вмешательству жены я постепенно прихожу в себя и уже в состоянии выдать эти слова.

— Как они выросли! Знаете, приятно встретить человека, с которым знаком еще по тем, тяжелым временам...

У него убили брата. Он руководил одной из боевых групп. А учился тоже в коммерческом училище. Это случилось тридцать первого декабря. Никогда не забуду, как кричала Бенигна, когда ей сказали. И как она разговаривала с полицейскими, делавшими обыск в доме. Это был высокий юноша лет шестнадцати, не больше. Этот паренек очень похож на брата. Тогда-то он был совсем маленький. У того тоже были светлые глаза и рыжеватые волосы. Рейнальдо его звали.

— Как поживает твоя мама?

— Хорошо. Но, знаете, она так и не сумела оправиться после гибели Рейнальдо. Ее словно обухом по голове ударили.

Ей не разрешили привезти тело сына домой. Бросили на кладбище, рядом с двумя другими его товарищами. Училище закрылось. Я не смог закончить последний курс, но все равно это было справедливое решение. Мы все тогда его поддерживали. По крайней мере большинство из нас. Рейнальдо очень любили в училище. Он был веселый, общительный, входил в Ассоциацию учащихся и вечно организовывал экскурсии. Он не боялся дубинок полиции. Еще он любил играть в волейбол. Теперь я припоминаю...

— Нельзя оставлять без присмотра девочку. Очень большие волны, — прерывает жена мои воспоминания и наш разговор.

— Сходи за ней. И подождите меня под соснами, — говорю я, чтобы как-то разрядить обстановку.

Я знаю, что сейчас она смотрит на меня, как одна она умеет это делать. И старательно избегаю ее взгляда, дабы не утратить спокойствия. Она направляется к берегу и хочет увести с собой Карлитоса.

— Оставь его здесь. Не видишь, он не может оторваться от оружия.

На этот раз я вынужден взглянуть ей в глаза и слышу то, чего не слышит ни юноша с чехословацким автоматом, ни его спутник негр, продолжающий скалить зубы, словно он рекламирует пасту «Кольгатес».

— Давненько я не видел Бенигны. — Бебы нет рядом, и голос у меня звучит более дружелюбно.

— Она переехала в Гавану. Живет теперь с моим старшим братом. С тем, что ушел к повстанцам, когда убили Рейнальдо.

— А как ты?

— Тогда я был еще маленький. Теперь-то другое дело. Я в армии после Плая-Хирон. Меня не хотели брать из-за возраста, но я обманул их. Не мог же я сказать, что мне всего четырнадцать.

Его старший брат работал в каком-то кафетерии. Не то в гостинице, точно не помню. Его звали Оскар. Все трое были похожи между собой. А Бенигна была неплохая женщина. Иной раз моя старуха посылала меня к ней, дав для приличия монету и наказав: «Передай Бенигне, что ребята сегодня ничего не ели». Поначалу мы не шли, отказывались. Бенигна улыбалась, потом делала вид, что сердится, ворчала, что, если все ее клиенты будут так поступать, она по миру пойдет... И накладывала нам целый кулек жареной трески, котлет и булочек. В душе она была очень мягкая и ласковая. «Ты уже большой, пора тебе устраиваться на работу и учиться, чтобы помогать Чеа. Ведь ты же не хочешь, чтобы у нее от стирки сделалась чахотка». Она и заплатила за мое поступление в коммерческое училище. А потом упросила одного своего земляка, что имел книжную лавку на улице Индепенденсия, чтобы он взял меня к себе уборщиком и рассыльным. Да, Бенигна была славная женщина. Пусть порою ее видели в компании пьяниц, а иногда она даже дралась. Она была вдовой, так же как и моя мать. И сама должна была постоять за себя.

— Может, пойдем выпьем пива? — предлагаю я юноше, стараясь завоевать его расположение и еще больше разрядить обстановку.

— Нет, спасибо, Картосо. Мы несем службу.

Я забыл про того, другого. Про негритенка, который словно рекламирует: «Паста «Кольгатес» необыкновенная, запах изо рта уничтожает мгновенно». Забыл про Бебу. Про дочку, про сына. Несут службу? Какую службу? Меня начинает знобить. Хотя стоит полуденная жара. Хотя теплый ласковый ветерок веет с моря. Хотя люди вокруг ищут, где бы укрыться от солнца. От них пахнет йодом, зноем. Музыкальный автомат без конца наигрывает мосамбике. И потные тела изгибаются в танце. Когда я начинал ухаживать за Бебой, в моде было ча-ча-ча. Мы ходили в клуб общества «Масео». В тот, который посещали мулаты из средних классов. Потому что был другой клуб — для негров из простонародья. И еще один — для негров с тугим кошельком.

— Ничего, не огорчайтесь. Мы еще увидимся.

Юноша протянул мне руку. Сынишка не отрывает глаз от автомата, он буквально пожирает его взглядом, с трудом удерживаясь, чтобы не потрогать. Мы обмениваемся рукопожатием. Негр, спутник юноши, тоже протягивает мне руку.

— Это Данило, мы с ним из одной роты.

Еще одно рукопожатие. И вот наконец мы расходимся в разные стороны, удаляемся друг от друга. Карлитос крепко держит меня за руку. А во мне еще бьется, отдаваясь в висках, эта фраза: «Мы несем службу». Что они делают здесь, на пляже, именно в это воскресенье?..

Мы молча перекусили под соснами. Плотные облака на некоторое время закрыли солнце, и сразу посвежело. Здесь песок прохладный. А там, где тень граничит с солнцем, он погорячей. Девочка ест с большим аппетитом. И бутерброды, и мясной салат, и сладкое. «Нужно хорошо пережевывать пищу». Запачкала в чем-то руки. «Ты должна есть, как полагается воспитанным людям. Как я тебя учила? Конечно, все, что я пытаюсь привить тебе дома, в школе никак не закрепляется». Мальчик почти не прикоснулся к еде. Точно так же, как и я. «Я не виновата, что не могу предложить тебе ничего другого. Теперь не то, что раньше. Сходила бы в Grosery*, купила сосисок, горчицы, бутербродов с ветчиной, фаршированных маслин...» Я думаю о рыжеволосом пареньке. Вспоминаю жареную треску. И мне почему-то кажется, что и Карлитос думает о том же самом. О мире, который он не застал. Потому что, когда он родился, его отец уже имел приличное место, а мать окончила университет. И мы могли кое-что купить. С трудом, но все-таки могли. «Я столько времени потратила, чтобы все это приготовить, а они не едят. Ты просто вылитый отец...» Я смотрю на нее. Угадываю упрек в ее глазах, спрятанных за зелеными стеклами очков. Вновь вернулось нервное напряжение. *Мы несем службу*. Эти слова не выходят у меня из головы.

— Оставь его. У него нет аппетита. Вот увидишь, попозже он с удовольствием поест.

* Гастрономический магазин (англ.).

— И не стал купаться. Приехать на море и не искупаться, разве это нормально? А сегодня все должно быть нормально.

В ее последних словах ощущается особый смысл. Намек. Точный расчет. «Все должно быть нормально». Так оно и есть: пляж, небо, снова ослепительно голубое; волны, с монотонным шумом то набегающие на берег; то отступающие в море; чайки над самой водой; ветер, на разные голоса поющий в ветвях сосен; неутомимый проигрыватель в танцевальном зале: «Станцуем мосамбике, Мария Караколес...» Мы сами, устроившиеся под соснами, скатерть, расстеленная на песке. Все нормально. Все должно быть нормально.

Не нужно ни о чем говорить. Надо постараться отключить свой мозг. Не думать. Пусть бегут, катятся часы... Пусть наваливается на нас послеполуденная дремота и убаюкивает монотонный шум пляжа. «Ты собираешься читать после еды? Это вредно...» Карлитос захлопывает Джека Лондона. Его внимание переключается на краба, оставляющего след на песке. Дочка прикорнула на большом полотенце, так и не сняв своего купальника марки «Янсен», плотно обтягивающего ее фигурку. Беба прислонилась к стволу сосны, падела темные очки, скрывающие ее глаза, и, должно быть, думает о будущих временах. Неизвестно, станут ли они для нас радостными... Усилием воли я стараюсь отключиться. Чтобы не думать. Чтобы все оставалось таким же. Глаза слипаются. Голова становится тяжелой. Муравей, ухватив хлебную крошку, взбирается с нею по стволу сосны. Руки и ноги наливаются свинцом, я перестаю их ощущать...

II

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ДНЕМ

Послеполуденная жара соперничала с легким ветерком, который прилетал с моря, шевеля сосновые ветви и приятно освежая тело. Волны настойчиво бились о берег, вздымались, как горы, захватывая на своем пути все новые территории, чтобы потом, выплеснувшись в последнем усилии на пляж, вновь отступить. Несколько ребятешек, то приближаясь к берегу, то отходя назад, в зависи-

мости от того, наступали или откатывались волны, терпеливо дожидались момента, чтобы ощутить босыми ступнями щекотание пены, податливость зыбкого песка, уносимого отступающей волной.

Перед моими полузакрытыми глазами сновали чайки, проплывали облака. А вдали, у самой линии горизонта, маячило небольшое судно. Его принадлежность я не смог определить. Поговаривали, что сюда заходят американские сторожевые катера. Как-то раз в Гаване из окна отеля я видел их. Они подошли так близко, словно наносили дружеский визит.

Я повернул голову. Ветер, подняв тучу белого, как соль, песка, немедленно запорошил мне глаза. Я зажмурился и вернулся в прежнее положение. Медленно открываю глаза, часто моргаю. Оставляя ровный след на песке, краб заползает в норку. Метрах в трех от сосен растет раскидистая кокколоба. Где-то там, должно быть, и Карлитос. Я не окликаю его. Все в порядке. Чудесный день, проведенный на берегу моря.

Я снова закрываю глаза, переворачиваюсь на живот и ложусь лицом вниз на полотенце, раскинув руки в стороны. Лучи солнца щекочут затылок. Можно с легкостью восстановить окружающий пейзаж с помощью слуха и осязания: легкий ветерок, противоборствующий зною; волны, разбивающиеся о берег; дети, с веселыми криками шлепающие по лужицам, оставленным волнами; крики проносящихся мимо чаек; облака, время от времени загораживающие солнце; мелкий песок, осыпавшийся под руками...

— А сейчас, уважаемые радиослушатели, мы хотим предложить вам в программе «Свидание с Кубой» специальное интервью, взятое у одного из последних беженцев, который только вчера достиг берегов Флориды. Он прибыл сюда с женой, двумя детьми и другими кубинцами, бежавшими от коммунизма Кастро и доверившими свои жизни хрупкому суденышку, которое потеряло управление и было замечено в открытом море прогулочной яхтой из Майами-Бич... Скажите, уважаемый Картосо, что побудило вас покинуть Порабощенный остров таким образом?

— Я был вынужден пойти на этот ужасный риск, потому что мне не давали разрешения на выезд. Я постоянно был объектом издевательств, от меня требовали, что-

бы я стал милисиано, за мной следили члены местного комитета защиты революции, так как знали, что я не поддерживаю режим...

— Чинили ли вам препятствия на вашей работе?

— Все время. Когда я просил официального разрешения на выезд с Кубы, мне наотрез отказали, заявив, что, поскольку я негр, здесь меня вместе со всей моей семьей линчуют куклуксклановцы. Я возразил им, подчеркнув, что здесь находится колыбель демократии и свободы и что они-то как раз и проводят политику дискриминации негров...

— Простите, уважаемый Картосо, я на минутку перебую вас. Вы можете сообщить жителям Свободной Америки и в первую очередь вашим соотечественникам с Порабощенного острова, что любая из трех крупнейших американских компаний готова открыть вам счет в банках Майами, Вашингтона и Нью-Йорка.

— Спасибо, большое спасибо... Итак, преследования усилились, и однажды ночью, обманув бдительность сторожей, я сбежал вместе со всей семьей через соседний двор, поскольку все там ненавидят коммунизм и помогают друг другу... Нам удалось достичь берега и на лодке приплыть в эту свободную, пользующуюся всеобщим уважением страну...

— А что вы можете сказать о кубинской экономике?

— Полная разруха. Совершенно ничего нет. Ничего... люди умирают с голоду... нет врачей, больниц... ничего нет, ничего... (Нет, не так. Это все говорят. Это прозвучит неубедительно. Они поймут, что я говорю неправду, если меня покажут по телевидению и все увидят, какой я толстый... И жену увидят, и детей... Нет, нет...)

— Что с тобой? Что ты говорил?.. Проснись, проснись!

Голос жены прервал мой сладкий сон. Я верю в сны. Поэтому я улыбнулся и ответил словами поэта: «Ничего, это был просто ветер...» Она тоже улыбнулась, видя мое приподнятое, почти счастливое настроение.

Под вечер, часов в пять, мы все искупались. Странно было бы приехать на пляж и никому, кроме девочек, ни разу не окунуться. Мы переоделись в кабинках. Карлитос в точности повторял все мои движения. Я незаметно наблюдал за ним, вглядывался в его лицо, следил за его мимикой, жестами. Насколько я мог заметить, за последнее

время он сильно вырос и возмужал. Да, это был уже не тот Карлитос, который еще совсем недавно играл в ванной комнате со своей сестренкой. Они открывали краны и брызгались, обливая друг друга водой, пока не вмешивалась мать и не устраивала им нагоняй. Да, мой сын уже не ребенок. Скоро ему исполнится тринадцать, но он выглядит взрослее. Судя по всему, приближается опасный возраст.

Он уже надел плавки и теперь ждал меня. Мы положили одежду в шкафчик, а ключ я опустил в кармашек шорт. Карлитос все время молчал. Я не видел радости на его лице, хотя, «психологически рассуждая», он должен был ее испытывать. И только когда мы уже шли к морю в тени миндальных деревьев и я положил ему руку на плечо, он, видимо, почувствовав ко мне доверие, спросил:

— Папа, мы скоро поедем?

— Ты уже не успеешь посмотреть фильм: дорога плохая, а ехать далеко, — попытался я избежать прямого ответа.

— Да нет, я не об этом.

— А о чем же тогда?

— Я хочу знать, вернемся ли мы.

Вдали показалась жена. В голубом купальнике, который ей тоже кто-то оставил. Он ей идет. У нее всегда была хорошая фигура. И материнство сделало ее еще более женственной. Возможно, ей пошло на пользу и то, что она сбросила несколько фунтов за последние месяцы, когда разыгралась эта история с моим заявлением. Тогда все было: и слезы, и переживания, и ссоры. Но сейчас мне напоминает об этом не она, а сын, который пристально смотрит на меня.

— Пойми, машина не в порядке. Вспомни, как было утром. Чем встать посреди дороги, лучше переночевать здесь.

— Отсюда пойдет автобус.

— Экскурсионный. Там все места заняты.

— Нет. Кое-кто остается здесь.

Это для меня новость. Уж не Манолито ли?.. Жене об этом не стоит говорить. У нее сразу испортится настроение. В конце концов, какая разница, кто едет. Надо понимать, что, раз они думают, как мы, они ничем не хуже нас.

— Ладно, потом поглядим. Ты не волнуйся.

Похоже, он успокоился. И уже забыл о возвращении, когда мы немного удалились от берега. Плавает он хорошо. У них в колледже был бассейн, и он быстро выучился. Правда, и пробыл он там недолго. А мы так надеялись. Обучение у святых отцов было поставлено совсем неплохо. Кроме того, воспитанников столь привилегированного заведения охотно принимали в обществе. «Ребята косятся на меня. Я не хочу больше ходить в эту школу». Это было в первые дни. Потом он постепенно освоился. «Видишь? Они даже приходят заниматься к нам домой». Жена подтягивала их перед экзаменами и, кроме того, угощала разными вкусными вещами. «Но они не приглашают меня на свои праздники». Новые доводы, новые возражения. И медленное приспособление, дававшееся ценой огромных усилий.

— Сколько метров ты можешь проплыть без отдыха?

— Это зависит от температуры воды.

И он демонстрирует мне, что может, не устав, доплыть до берега. Правда, по пути его накрывает случайная волна, и он наглатывается воды.

— Против волн плыть тяжелее, — оправдывается он.

Мы ложимся на спину и отдыхаем. Потом к нам присоединяется дочка со своим не то чешским, не то немецким кругом. Она визжит, когда брат брызгает на нее или, нырнув, кусает за ноги, изображая большую хищную рыбу.

— Пора выходить. Уже поздно.

Дочка упрямится. Карлитос помогает вытащить ее из воды. Беба уводит девочку в душ, где они задерживаются дольше, чем мы. Когда они выходят, мы уже поджидаем их под зонтиком из пальмовых листьев, разложив еду.

— Сеньора Перес Лопес приглашает нас пообедать вместе с ними.

Что-то не припомню такой. Беба спохватывается:

— Ее сын учится в моей группе в институте.

Понятно. Одно из приятных знакомств, завязанных благодаря дополнительным занятиям, помогающим детям успешно закончить очередной учебный год, получить степень бакалавра либо подготовиться к поступлению в университет. В другой помощи эти люди не нуждались. Им ничего не стоило снять для своего отпрыска квартиру либо номер в гостинице. В свое время я мечтал о медици-

не. Помню, как, вооружившись лезвием «Жиллет», я оперировал во дворе ящериц и лягушек. Когда учительница из нашей 15-й школы просила принести ей какое-нибудь животное для опытов, в первую очередь она возлагала надежды на меня. Беба хочет, чтобы наш сын стал врачом. Но его совершенно не интересует медицина. Беба говорит, что он еще слишком мал, чтобы определить свое призвание, и что профессия врача одна из самых уважаемых, «Они оба у нас будут врачами». Она мне это твердила вплоть до недавнего времени. Но с тех пор, как наши планы изменились, больше об этом не заикается.

Сеньора Перес Лопес высокая и худая как палка. Беба, разумеется, усматривает в этом благородство. Брильянт размером с крупную горошину кажется естественным наростом на ее руке. Кроме того, на ней еще браслеты, ожерелье, серьги. Вырядилась, будто собралась на прием или новогодний бал в «Лицеуме». Беба всегда в мельчайших подробностях описывала мне, во что были одеты барышни и дамы на каждом таком балу. Как будто она сама там побывала.

Сеньор Перес Лопес тоже весьма худощавый господин с часами на золотой цепочке и очках в круглой блестящей оправе. Он напоминает мне филина, затаившегося в тени миндальных деревьев. Крючковатый нос, тонкие губы поджаты, что одинаково может означать твердость характера, недовольство или высокомерие. Руки его тоже в перстнях. Он молчалив, но меня это мало волнует: женщины умудряются болтать за всех нас.

Их сыну можно дать лет девятнадцать. В нем есть что-то от родителей, но в отличие от них он широкоплеч, у него густые, коротко подстриженные волосы, а улыбка говорит о бьющей через край молодости, когда с удовольствием подставляешь свое тело любому ветру. Одет он в полосатый пуловер и узкие джинсы. Карлитосу он пришелся по душе. Они совсем забыли о нашем существовании. Отошли в сторонку и оживленно беседуют о Джеке Лондоне, Агате Кристи, об «Острове сокровищ» Стивенсона, будто ровесники. Я внимательно наблюдаю за юношей. С трудом верится, что это их сын, так невероятно далек от супругов Перес Лопес их запоздалый наследник.

— Фредди нам не уберечь. Я знаю, ему не дадут получить бакалавра. Их злоба не знает границ. Отобрали все у отца, так теперь до сына добираются: и его хотят у нас

отобрать под предлогом всеобщей воинской повинности... Столько лет ждали ребенка, и вот...

Ее голос прерывается. Жена утешает ее. У Фредди такие способности, он лучший ученик. Скорее всего, его не тронут.

— А где он будет учиться? Сейчас, чтобы куда-нибудь поступить, надо сначала получить стипендию. Причем сам ты не вправе выбирать. И Вильянуэву* закрыли. Ты можешь представить Фредди рядом со всякими... со всякими людьми?

Она явно недоговаривает. Могла бы сказать: со всякими голодранцами, мужичьем, неграми... Но хочет обидеть. Ведь жена — ее союзница. И поэтому она ничего не скажет, даже если внутри у нее все кипит и клокочет... «Всякие голодранцы, мужичье, негры...» Дочка ушла от нас к Карлитосу и Фредди. С ними ей, конечно, интересней. Мы же, двое мужчин, слушаем разговор наших жен и разглядываем проходящих мимо купальщиков. Среди них много девушек. Перес Лопес смотрит на них из-под своих круглых очков и становится похожим уже не на филина, а на маскирующегося хамелеона. Кажется, даже окраску свою поменял. Он не отрывает взгляда ни от бодер мулатки, что разговаривает, повернувшись к нам спиной, ни от груди юной блондинки, наклонившейся над журналом мод, который разглядывает ее смуглолицая подруга. Я бы сказал, что один глаз у него смотрит на бедра, другой на грудь. Почтеннейший кабальеро Перес Лопес понимает толк в женщинах. Он меня не узнал. Я же теперь хорошо его вспомнил. Разве его можно забыть? Это было, когда мы с Хильберто, объединившись, открыли свою контору — правда, конторы как таковой у нас не было — и за три-пять песо в месяц вели бухгалтерские книги у мелких лавочников и торговцев дешевой галантереей, которые видели нашу задачу в том, чтобы скрывать их истинные доходы от налоговой инспекции. Перес Лопес представлял для нас лакомую добычу: он был владельцем нескольких небольших отелей... вернее, публичных домов, которые приносили ему немалую прибыль, так что он даже стал членом «Лицеума». И вот как-то раз мы с Хильберто отправились к нему. У него был свой кабинет, секретарша —

* Привилегированное учебное заведение на дореволюционной Кубе.

словом, все как полагается. Злые языки называли его приемную «вратами ада». Но у него было много денег, и, заполучи мы его в клиенты, мы смогли бы значительно поправить наши финансовые дела. Он не удостоил нас взглядом. И даже не предложил сесть. «Если хотите, можете прийти попрактиковаться. Бухгалтерия у меня хорошо поставлена, так что вы сможете многому научиться». Он так и сказал: «попрактиковаться». Нам, дипломированным счетоводам, совладельцам будущей процветающей фирмы, существовавшей, правда, только в нашем воображении. Откуда ему знать, что Хильберто впоследствии занял большой пост и что благодаря его помощи я тоже продвинулся по службе и на самом деле обосновался в кабинете с кондиционированным воздухом? У меня было несколько подчиненных и даже собственная секретарша...

Как-то раз, дело было вечером, Хильберто сказал мне: «Ты знаешь, что мы собираемся конфисковать все дома у «кабальеро» Переса Лопеса? У этого благочестивого католика». Секретарша называла его «кабальеро», словно слуганка. Хильберто ухмылялся. А меня взорвало от злости, я выругался. «Так ему, подлюге, и надо. Ты помнишь, как тогда он даже не взглянул на нас?» Хильберто сразу сделался серьезным. «Нет, дело не в этом. Мы не можем, не должны приносить свои личные чувства в решения Революции». Он изменился, Хильберто. Я бы сказал, преобразился. Он был из нашего квартала. Один из тех, кто завтракал жареной треской с хлебом в закусочной Бенигны. Вместе со своими сестрами он вырезал цветы из гофрированной бумаги, а потом шел продавать их на центральные улицы. У него был хороший нюх, у этого Хильберто. Он выдвинулся вместе со всеми этими людьми. Правда, он был в подполье, много раз рисковал жизнью. И не забывал своих друзей. Мне он очень помог. Конечно, я и сам кое-что делал. Этого никто из порядочных людей отрицать не будет. «Стало известно, что он привозил крестьянских девушек и принуждал их заниматься проституцией. А в секретарши брал только тех, кто соглашался с ним спать. Этот «кабальеро» — законченный мерзавец и подонок, хотя и носит на шее ладанку». Ну и физиономия была у него в день конфискации! Надменная, неприступная. Готов биться об заклад, он и тогда на нас не взглянул. Как, впрочем, и сейчас. Стоит небось и думает про себя, зачем это его жена пригласила обедать цветных ком-

мунистов. Хотя вряд ли. Его жена знает, что Беба всегда держалась в стороне от всего этого. И хотя ее назначили преподавателем в институте в самые первые дни, когда и мы прибили на входной двери табличку «Спасибо, Фидель!», она выражала соболезнование супругам Перес Лопес, когда закрыли Теннис-клуб и «Лицеум». И когда начали конфисковывать имущества, усадьбы и магазины.

— Не знаю, что мы будем делать. Сколько раз я говорила Ньико: «Поддай заявление, поддай заявление, мы же скоро одни останемся...» Но он все уверял, что это долго не продлится, что он не может покинуть свой боевой пост, что остались считанные дни... И каждый вечер ловит «Голос Америки», можешь себе представить.

— Так он и не подавал заявления?

— Подавал. Фредди не разрешили выехать по причине призывного возраста. Сплошное беззаконие.

— А нашему Карлитосу только-только будет тринадцать...

— В самый раз. Чего вы ждете?

— У мужа много друзей в управлении образования. И они ему отсоветовали, заставили разорвать заявление... Мы бы уже давно уехали. Но это его старые друзья еще с тех времен, когда дела у него шли не так хорошо...

Я слушаю их разговор, хотя они об этом не подозревают. Я не смотрю на них, а наблюдаю за «кабальеро» Пересом Лопесом, который, высунув язык, облизывает губы, точь-в-точь как хамелеон. Теперь он пожирает взглядом пышную блондинку в черно-красной косынке с египетскими узорами. На ней узкие, плотно облегающие брюки, подчеркивающие каждое движение бедер. Она медленно проплывает мимо нас. Песок то и дело набивается в дырочки ее сандалий, и это, по-видимому, ее очень раздражает. Ее ведет под руку представительный мужчина. Высокий лоб с залысинами, каштановые волосы, темные очки. Чувствуется, что это образованный, интеллигентный человек. У меня такое впечатление, что пышная блондинка и старый «кабальеро» обменялись взглядами. Наверное, знакомы по Теннис-клубу. И очень может быть, оба участвуют в задуманном.

Сердце начинает так колотиться, что, того и гляди, выскочит из грудной клетки. Жена все секретничает со своей подружкой. И тут прямо перед нами возникают фигуры ры-

жеволосого сына Бенигны и его черного как уголь приятеля.

— Вы не успеете вернуться засветло.

Они останавливаются около нас. У обоих автоматы. Под лучами яркого солнца волосы одного из них кажутся огненными; белые зубы второго сияют, словно он только что почистил их пастой «Кольгатес».

— Мы встретили друзей... — говорит жена. — Скоро поедем. Теперь темнеет поздно.

Она, как всегда, тут как тут, когда надо выручить меня. Исполненная апломба и решительности, приобретенной за годы неустанной борьбы, стараний выдвинуться, не стать одной из многих, не затеряться в толпе. Я делаю глубокий вдох. Мне не хватает воздуха, хотя на пляже его предостаточно. Нет, надо взять себя в руки.

Карлитос и его новый друг прямо-таки прилипли к солдатам, отошли с ними в сторонку, рассматривают оружие. Они болтают между собой, словно всю жизнь были знакомы.

— Они едут с нами. Она мне только что об этом сказала, — шепчет жена. — Как я рада!

Я почти забыл об этом. И даже чуть ли не всерьез подумал о том, как мы все вместе будем возвращаться в город, к себе домой.

— Позови Карлитоса. Скоро уже идти.

Я смотрю на часы: половина седьмого. Солнце еще не село. Надо дожидаться, пока стемнеет. Многие собирают свои вещи. Я вижу, как одна за другой отъезжают машины, оставляя после себя клубы красноватой пыли на повороте. Собираются уже и возле экскурсионного автобуса. Большая группа направляется к двум грузовикам, стоящим там, где дорога забирает в сторону от болота. Они похожи на цыган. С разными банками и склянками. В самой разнообразной одежде. И сами разные: белые, черные, мулаты, толстые, худые, беззубые, зубастые, высокие, низкорослые... Те, кого они называют «народ», а мы — «простонародье». Не выношу этого. Помню, в детстве, когда я был маленьким, Панчито на своем грузовике каждое воскресенье возил людей на пляж. Это стоило один песо. Грузовик всегда был полон жителей нашего квартала. Только мы никогда не ездили. У матери не было семи песо, чтобы заплатить за всех нас. Да и одного-то песо не было для меня, ее старшего сына. Сестренки и братья под-

нимали рев, а мать всякий раз говорила: «У вас что, недостаточно темная кожа? Хотите, чтоб совсем черная стала? Девочки должны помочь мне сегодня со стиркой. А ребята пойдут подметать дворы. Или вы думаете, что на этом свете можно что-то получить бесплатно?» Так она говорила моим братьям и сестренкам. А я вставал на рассвете, так чтобы она не услышала, и вместе с другими мальчишками бежал смотреть, как будет отъезжать грузовик. И всегда какой-нибудь парень кричал нам что-нибудь из кузова. А мы швыряли в грузовик камнями.

— Папа, они хотят попросить тебя...

Карлитос подходит ко мне вместе с сыном Бенигны. Негр остался позади, делая вид, будто что-то рассматривает.

— Картосо, знаете что... Мне неудобно просить вас. Но ваш сын меня надоумил... Дело в том, что Данило, моему приятелю, сегодня вечером необходимо попасть домой. Вот мы и подумали, что, поскольку вы будете проезжать мимо его городка, может, вы подбросите его...

Я вновь с тоской ощущаю, что все висит на волоске. Только этого еще не хватало. Я пристально гляжу на сына. Он выдерживает мой взгляд. Оба ждут ответа. И получают его от Бебы, которая потом, при случае, не преминет сказать: «Не знаю, что бы ты делал без меня!»

— Какое совпадение! Мы только что договаривались с этой семьей. Их привезли сюда знакомые, которые снимают здесь дом. Так что им не на чем возвращаться. А больше мы, к сожалению, никого взять не можем. Кроме того, шины у нас очень плохие...

Лицо ее выражает крайнюю степень сожаления. Он не должен сомневаться в ее искренности. Но Карлитос все не успокаивается:

— Я сказал ему, что у нас есть одно свободное место на заднем сиденье...

— Понимаю, моя радость... Но дело в том, что Перес Лопесы попросили подвезти их. Если бы они нам заранее сказали...

— Ничего страшного, сеньора. Найдем другую машину. Видите ли, у него мать заболела, и ему дали увольнительную на сутки.

— Он мог бы попробовать уехать на одном из этих грузовиков, — говорю я, желая им как-то помочь, но и не без задней мысли, что они наконец оставят нас в покое.

— Да, в самом деле.

Один из грузовиков уже трогается с места. Юноша делает знак негру. Оба бросаются наперерез грузовику, помахав нам на прощанье. Грузовик останавливается. Сын Бенигны разговаривает с шофером, тот согласен. Негр ставит ногу на колесо. Из кузова ему протягивают руки. Грузовик удаляется. Сын Бенигны, стоя на дороге, машет своему товарищу. Я бросал в них камни, когда они дразнили нас из кузова, потому что мы оставались в городе, у нас не было песа, чтобы заплатить...

Мы собрали тарелки, приборы, остатки еды. Жена деловито укладывает все в сумку. Сеньора Перес Лопес делает то же самое. Ее сын идет со мной к машине и помогает поставить сумки в багажник. Мы так тщательно устанавливаем их, как будто они нам еще когда-нибудь понадобятся.

— Вы тоже уезжаете? — внезапно спрашивает он меня.

Багажник не захлопнулся как следует. Я пользуюсь тем, что приходится вновь приподнять и с силой захлопнуть крышку. И пока молчу. Я не знаю, что ему известно. Но его слова не оставляют сомнений.

— Куда? — отвечаю я вопросом на вопрос, притворяясь непонимающим.

— Ваш сын слышал, как вы спорили. Он не хочет уезжать.

Я вдруг многое понял. Весь зной, вся жара пляжа словно обрушились на мою голову. Лицо пылает.

— Дети обязаны следовать за своими родителями, пока не достигли совершеннолетия.

— На будущий год я могу поступать в университет. У меня самые высокие оценки, и директор сказал, что я могу выбирать. Хочу стать архитектором. У меня много разных идей. Вы обратили внимание, как красиво это здание? Скоро сюда проведут и шоссе... А впереди строительство тысяч и тысяч новых зданий. Рабочие поселки, туристические центры, школы, заводы... Такой размах кажется невероятным. Только слепец может не замечать всего этого. Или совсем выживший из ума.

— Ты остаешься?

— Дети обязаны следовать за своими родителями, пока не достигли совершеннолетия.

Я опускаю голову. Он стоит передо мной, не сводя с меня глаз. От этого взгляда у меня начинает ломить затылок, стучит в висках, кровь закипает от бешенства, от непонятной тревоги.

— Вы еще не понимаете... вы слишком малы...

— Как я обрадовался, когда узнал, что у него отобрали всю эту мерзость. Однажды он повел меня с собой. Мне еще не было пятнадцати, но я выглядел старше.

— Повел тебя?..

— Хотел приобщить.

— К чему?

— Как вы не понимаете. Вы же не ребенок.

— Все так запуталось...

— Вы не читали По? Я чувствовал себя как его герой: потерянным, застигнутым врасплох, запуганным. Женщина заметила это по моему лицу и расхохоталась. Это для него было тяжелым ударом. Меня вырвало. Тогда меня раздели и стали растирать каким-то вонючим лосьоном. Этот запах потом долго преследовал меня.

— Все мы в молодости ходили в публичный дом. Это в порядке вещей.

— Девушка могла быть моей сестрой, совсем молоденькая. У нее даже грудь еще не сформировалась. Разве не похоже на рассказ По?

— И однако она расхохоталась тебе в лицо.

— Не она. Она не смеялась. Она заплакала, когда увидела, что я не похож на других клиентов, когда я спросил, как она попала туда... Хохотала другая, хозяйка, беззубая ведьма, которая неожиданно заглянула в комнату и увидела, что я даже рубашки не снял, хотя девушка уже разделась.

— Какое потрясение!

— Свинство. А сейчас меня хотят заставить сделать еще одну мерзость.

— Ты уже большой.

— Вы не знаете, что пережила из-за него моя мать. Да, тяжело все-таки быть единственным ребенком.

Теперь он смотрит на море. Его взгляд неподвижен. Кажется, он далеко-далеко отсюда. Я могу наконец как следует разглядеть его: зеленые глаза, очень темные короткие волосы, синий полосатый пуловер, плотно облегаю-

щий его широкую грудь, ноги слегка расставлены. Не расскажи он мне всего этого, я ни за что не заподозрил бы, что ему знаком мучительный мир Эдгара По...

— Нас, должно быть, ждут, — говорю я ему.

Он идет за мной, как-то машинально переставляя ноги. Жена заметно встревожена. Уверен, она применит все свои познания в психологии, чтобы выведать, о чем мы разговаривали. Да только все будет бесполезно. Ей ничего не удастся из меня вытянуть. Или я тоже выжил из ума? Мне тридцать три года. На год меньше, чем ей. Нет, я не успел еще выжить из ума.

— А где же несессер?

Приходится возвращаться к машине. Зову с собой Карлитоса. Может, он что-нибудь мне скажет? Думает ли он так же, как Фредди? Как мне хочется, чтобы он заговорил, попробовал бы убедить меня. Но он еще мал. Дети обязаны следовать за своими родителями, пока не достигли совершеннолетия.

Мы расположились в беседке на берегу моря и отдыхаем после обеда, дожидаясь условленного часа. Фредди улегся прямо на пол и внимательно разглядывает асимметричную крышу беседки. Сделано и красиво и надежно. Творение какого-нибудь молодого архитектора. Дочка положила головку на колени матери. Ей хочется спать. Я уже предупредил служащего ИНИТ, чтобы он присматривал за машиной, поскольку в ней обнаружилась неисправность и мы поедем назад в автомобиле наших друзей... Ровно в восемь мы должны собраться в роще неподалеку от пристани, расположенной на косе. Еще через два часа за нами придет лодка. С этой стороны нам ничто не угрожает: хозяин лодки уедет вместе с нами. Одним дезертиром будет больше. Они и не подозревают, какими «надежными» людьми окружены. Трудно было собрать столько денег: по тысяче песо на человека, но я собрал. Здесь детских билетов не продают. По тысяче с каждого, и никаких разговоров. Пришлось продать даже дочкино пианино. Вообще все. «Шевроле» я не продал лишь потому, что меня могли заподозрить, если бы я вдруг перестал на нем ездить. И потом отобрали бы машину у того, кому бы я ее продал. Вот с пипущей машинкой не было никаких хлопот. И с телевизором тоже. Когда они взломают дверь, они увидят, что дом пуст. Все вещи я перевозил на машине — потихоньку, одну за другой. Конечно, кроме

пианино. Его я отвез... к настройщику. Смехота. Такие они все бдительные со своим комитетом, и на тебе... Вдалеке прогуливается доктор Хименес. А вон и Манолито со всем своим семейством... Мы должны ждать, пока не стемнеет. С этим распрекрасным летним временем в восемь еще совсем светло... *Надо бы прогуляться по берегу... Дети ничего не знают... вернее, не знали. Правда ли, что Карлитос?.. Нельзя доверять детям. Вот будет сюрприз для соседей... и на работе. Когда директор управления узнает... Хотя одним глазком взглянуть бы на него в этот момент! Интересно, какого цвета он станет. Хорошую шутку я с ним сыграл. Умный какой нашелся. Держать меня рядом, чтобы не была заметна его бездарность, «Подумайте, Картосо... Мы все вас ценим...» Идиот. Как будто человек, решившийся на такое, не продумает все тысячу раз. А потом они услышат мое интервью... Вот когда мне по-настоящему хотелось бы увидеть их физиономии...

— Который час? — спрашивает Беба.

Карлитос не спускает с меня глаз. Фредди разглядывает ящерицу, которая дремлет в укромном уголке под крышей. С раскатистым шумом волны обрушиваются на песок. А потом с приглушенным шипением откатываются назад. Дочка ворочается, никак не может найти удобную позу. Супруги Перес Лопес похожи на манекенов: худые, невозмутимые, словно окаменевшие.

— Половина восьмого, — отвечаю я, взглянув на часы.

Супруги Перес Лопес одновременно встают, словно их подтолкнула какая-то незримая сила.

— Мы еще увидимся, — сухо говорит «кабальеро».

Фредди не двигается с места. Лопесы застыли в ожидании. Но вот он начинает медленно вставать, словно его тоже подталкивает какая-то непонятная сила. «Дети обязаны следовать за своими родителями, пока не достигли совершеннолетия». Фредди уже не ребенок. По своему физическому развитию. По своему мышлению. У него зрелые мысли. «Вы не знаете, что пережила из-за него моя мать». Он подходит к ним и вдруг снова кажется мне мальчишкой. «Все-таки тяжело быть единственным ребенком». Они удаляются. Постепенно Фредди становится совсем маленьким.

* Летом на Кубе действует декретное время, стрелки часов переводятся на час назад.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧЕРОМ

Уже восемь. Жена выразительно смотрит на меня. Мы берем с собой несессер с дорожными вещами. Не надо вызывать подозрений. Нас предупредили, чтобы мы не брали с собой багажа. Ничего, кроме самого необходимого. Драгоценности, разумеется, при нас. Мы выходим на берег. Дети собирают ракушки. Солнце садится. Какое это великолепное зрелище — закат на берегу моря. Замечаю впереди нас семейство Манолино. Жена делает мне знак. Мы укрываемся под навесом из пальмовых листьев. Ждем, когда они вернутся. Но они не возвращаются, затерявшись вдали за деревьями. Мы молча переглядываемся. Теперь еще эти люди путаются под ногами. А вон и доктор Хименес. Он наверняка будет нашим спутником. С врачом всегда ехать спокойнее. В случае чего будет кому оказать помощь. Моя жена того же мнения. Она снова делает мне знак. И мы продолжаем свой путь.

А вот и коса. И причал. Вокруг ни души. Отсюда начинается лесок. Нас никто не видит. Нужно идти вглубь...

— Хорошая погодка, не правда ли?

Это пароль, Мужчина, произнесший его, стоит в зарослях кустарника на опушке, прислонившись к стволу сухого дерева.

— Для рыбалки в самый раз, — отвечаю я ему.

Он делает знак следовать за ним и идет куда-то влево. Мы углубляемся в лес. Там нас поджидает второй проводник. С трудом различаю его лицо: мясистый нос, во рту сигара, густые брови под надвинутым на лоб армейским кепи. На нем желтый поношенный пуловер. Жирные руки со вздувшимися венами, татуировка. Не разберу, что там наколото. Хриплый, грубый голос повторяет вопрос. Я отвечаю. Мы напоминаем вновь посвященных в какую-то таинственную секту. Проводник ведет нас сквозь прибрежные заросли. Трудно продираться через это переплетение ветвей и колючек. Наконец мы доходим до небольшой прогалины в глубине леса, надежно укрытой от постороннего взора, и присоединяемся к тем участникам операции, что пришли сюда прежде нас. Мы не пытаемся разглядеть их. Уже темно, и к тому же на небе нет луны.

Всего их будет, пожалуй, человек десять, среди них и взрослые и дети. С трудом различаю вокруг какие-то узлы, сумки. Видимо, еще не все собрались, так как наши сопровождающие ушли обратно. Никто не произносит ни слова. Молчание по молчаливому согласию. Не доверяют друг другу. Кажется, какая-то женщина молится. Или даже две. Я слышу тихое бормотание. Жена становится рядом с ними и тоже начинает молиться. Дети тут же, мы сказали им в конце концов, что отправимся в путешествие.

— А почему мы прячемся? — спрашивает Карлитос.

— Нас никто не должен видеть. Иначе нам не дадут уехать, — отвечаю я не слишком вразумительно.

— Мы нелегально переправимся в Майами? — вновь спрашивает он.

— Да, — говорю я с решимостью и вместе с тем с некоторым облегчением.

— Я не хочу ехать, — заявляет он с пугающей меня твердостью.

— Ты поедешь туда, куда едут твои родители, — обрываю я его.

И он умолкает.

Дочка сжимает мне руку. Когда мы размещались на полянке, она мне шепнула:

— Я боюсь.

Я ничего не ответил. Что я мог ей сказать? Что я тоже не привык к такой темноте, к шепоту, дыханию незнакомых людей, сбившихся в кучу, — людей со своими историями, со своими проблемами, похожими или не очень похожими на наши? Но всех нас объединила в эту летнюю ночь отчаянная авантюра, в которой я никогда и не собирался участвовать, о которой даже не помышлял. Тем не менее она вдруг стала реальностью, чудовищной реальностью.

И я — это я. Один из группы недовольных, тех, кто уезжает. *«Картосо, положи руку на сердце: вам так плохо с нами?»* Да не с ними мне было плохо. Мне было плохо, когда я приходил домой и выслушивал бесконечные жалобы жены, когда дежурил в комитете, когда должен был облачаться в форму милисиано (которую, впрочем, я так и не взял со склада), когда закрыли все католические колледжи, когда созывались летучие митинги, устраивались бесконечные демонстрации. *«Знаешь, кто уехал?»*

Доктор Луис Мартинес. Пусть они не говорят глупостей, вся интеллигенция эмигрирует; здесь невозможно оставаться». Субботники, нехватка продуктов, ставшая всего лишь реликвией форма маристов и салезианок, жалобы жены, бездарность начальства, закрытие частных клиник... «Супруга доктора Рамиреса Пеньи объяснила мне, какие инстанции надо пройти. Это совсем не трудно. Нужно только, чтобы кто-нибудь прислал тебе вызов...» Разрыв с американцами, сближение с Россией, разоблачения, сбор кофе, слухи об отмене отцовских прав, сахарный тростник, жалобы жены... «Я рад, что вы решили остаться с нами. Вы нужны нам. Ведь для таких людей, как вы,— из бедных, эксплуатируемых слоев — и была главным образом совершена Революция», а не для сеньоров Перес Лопес, которые сидят сейчас где-то неподалеку от нас, потому что так же, как и мы, принадлежат к числу несогласных, тех, кто ненавидит призывы и лозунги на работе, дежурства, рубку тростника...*

Дочка вновь стискивает мою руку. Я боюсь, что сейчас она опять повторит те же слова. Я чувствую, как меня начинает бить дрожь. Ладони и лоб становятся влажными от пота. Во рту, наоборот, пересохло. Я боюсь ее маленькой ручонки, будто это какая-то скользкая тварь... Печально, что ничем не можешь утешить ее, приободрить. Ручка выскальзывает из ладони и цепляется за мои дрожащие пальцы.

— Папа, я боюсь.

— Не бойся. Ничего с тобой не случится. Я же здесь, рядом.

Больше я ничего не говорю, потому что не могу произнести еще хотя бы слово. Я совершенно обессилен, близок к обмороку. И дочурка это чувствует. Она отпустила мою руку и прижалась к матери. Слышу твердый голос Бебы, выговаривающей ей за то, что она плачет. Я закрываю глаза и сдерживаю дыхание — только бы это скорее кончилось...

— Который час?

Не знаю, кто это спросил. Но вопрос привел меня в чувство. Как важно знать, что рядом с тобой единомышленники, что они точно так же волнуются, переживают, тревожатся.

* Учащиеся католических колледжей.

— Девять, — произносит кто-то резким голосом, взглянув на часы со светящимся циферблатом.

— Мы должны были уже выехать, — замечает тот, кто спросил про время.

— Они знают. Не надо форсировать события, — заявляет обладатель грубого голоса и часов со светящимся циферблатом.

После нас появилось еще шесть человек. Я их смог сосчитать, потому что все они проходили мимо меня. Они возникали молча и рассаживались вокруг в надежде встретить восход солнца в открытом море, когда можно будет рассмотреть лица друг друга, неожиданно встретить старых знакомых, с радостью ощутить, как все породнилось в опасности, приняв нелегкое решение, которое нам дорого обойдется. Я имею в виду не тысячу песо с человека. А то, что мы можем пойти на дно, остаться без пресной воды, получить солнечный удар... Или будем вынуждены возвратиться с поджатым хвостом, ожидая побоев, издевательств... смерти. Я предпочитаю смерть. А как же дети? Была ли у них возможность выбора? *«Дети обязаны следовать за своими родителями, пока не достигли совершеннолетия».*

— Сколько нас? — спрашивает кто-то тонким голосом.

— Всего двадцать человек, — отвечает какая-то женщина.

— Сеньоры, нельзя разговаривать! — напоминает нам обладатель грубого голоса.

Все замолкают. Даже дети. В тишине слышны лишь звонкие плепки: люди хлопают себя по рукам, по затылку, отгоняя moskitov, которых слетелось великое множество. Они начинают нам серьезно досаждают.

Дочка уже не плачет, а лишь всхлипывает, поскольку жена всякий раз, как она начинает плакать в полный голос, шикает на нее. Я взял шапочку и обмахиваюсь ею, чтобы отогнать moskitov. Таким способом я защитил руки, зато лицо у меня все искусано. Карлитос не издает ни звука. Но он не спит: я вижу, как блестят его полные слез глаза, устремленные в пустоту. Слышно только его прерывистое, напряженное дыхание, словно он сдерживает готовый вырваться из его груди отчаянный крик протеста. Жена все старается разглядеть наших попутчиков, но тщетно: ночь нарочно выбрали безлунную.

— Отправляемся?

Этот вопрос мы задали чуть ли не хором. Появился мужчина с жирными руками и в желтом пуловере. Он держит фонарь, который освещает маленький кружок на траве и, отбрасывая свет снизу вверх, деформирует фигуру мужчины, искажает черты его лица.

— Надо подождать. У причала стоит военный катер.

Женщины начинают причитать. У меня эта неожиданная помеха вызывает раздражение. Человек в попошенном желтом пуловере вынужден навести порядок, причем делает он это довольно неделикатно.

— Ну, помирать еще рановато. Катер стоит не у нашего причала, а у Яхт-клуба. Здесь мы в безопасности.

Тишина постепенно восстанавливается.

— В котором же часу мы выедем? — спрашивает владелец часов со светящимся циферблатом.

— Едва лишь они уедут. У нас все готово.

Подумать только, мы могли бы уже уехать. Тихо, под покровом безлунной ночи прокрасться к нашей лодке. Один за другим подняться на борт: сначала женщины и дети, потом мужчины. Завести мотор, отойти от берега, встретить восход в открытом море, познакомиться друг с другом, посмеяться вместе, вспомнив минуты напряженного ожидания, увидеть вдали берега Флориды, почувствовать себя в полной безопасности. Очнуться от этого кошмара.

— Ты заметил? Сюда, на «народный пляж», как они его называют, они не ездят. Яхт-клуб им подавай, — шепчет мне на ухо жена.

— А как же иначе? Гулять так гулять, — в тон ей подхватываю я.

— Они теперь у нас самые привилегированные. Интересно, сколько продлится их попойка? Наверно, до утра.

— Солдаты вроде не говорили, что у них сегодня праздник.

— А чем же им еще заниматься? Публичные дома покрывали, так теперь у них свои есть, передвижные.

Это она говорит специально для жены Переса Лопеса, произнося слова так, чтобы та могла расслышать. По оживленному шепуканью жены, по доносящимся молитвам я уже знаю, что они наши соседи.

— Что-то непохоже на этих людей...

Я начинаю говорить и тут же замолкаю. Ее взгляд действует на меня даже в крошечной темноте. А пальцы мертвой хваткой впились в мою коленку. Глаза у нее немного навывкате, рачьи. Моя рука касается ее ноги, и я чувствую, что и ее бьет дрожь. Ужас, панический ужас пронизывает нас обоих. А они гуляют себе в Яхт-клубе, попивая холодное пиво и отборные сорта рома. Ласкают своих женщин и плевать хотели на всех нас...

— Я отлучусь на минутку,— говорю я Бебе.

— Смотри не заблудись. Иди влево.

Я поднимаюсь на ноги, весь распаренный, искусапный москитами. Иду налево, потом забираю немного в сторону, чтобы не вляпаться во что-нибудь неподходящее. Пробираюсь сквозь густые заросли. Острый шип вонзается в меня, я вздрагиваю от боли. Вытаскиваю колючку, высасываю из ранки кровь и иду дальше. Выйдя на небольшую полянку, расстегиваю брюки. Воспользовавшись тем, что я остановился, москиты облепляют меня. И тут я вдруг слышу вздохи, приглушенные стоны, прерывистое дыхание животной страсти, бессвязный полуобморочный лепет, потом наступает тишина. Неужели возможно заниматься этим в столь критический момент? Наверное, случайная пара забрела сюда из центра отдыха ИНИТ. Да, скорее всего. Публичные дома позакрывали. Надо искать другие места. Говорят, в цивилизованных странах этим тоже занимаются в лесу. Более естественно, более романтично. И необязательно жениться. Неужели и моя дочка будет делать то же, когда мы поселимся на Севере? Все дело в обычаях, в степени цивилизованности. Мне многое порассказал один мой сослуживец, репатриант, вернувшийся «с Севера, взбешенного и злого». Возвращался он окольным путем, через Прагу. Потом ездил с делегацией в Германию. Работает он техником. Очень симпатичный парень, немного сумасброд. *«Забудь о таком понятии, как девственность. Она просто помеха. И вдобавок воздержание негигиенично»*. Как он мог так измениться? Кто из нас согласился бы жениться на девушке, не сохранившей чистоту? *«Ну, эта-то прошла огонь и воду...»* Значит, стала кандидаткой в заведение «кабальеро». *«Запомни: бедная девушка должна крепко беречь свою честь»*. Как беспокоилась моя мать, когда к нам начинал наведываться какой-нибудь хлыщ. А когда Матильда убежала однажды ночью с водителем автобуса, мать три дня пролежала в

постели. И больше не упоминала даже ее имени. Но все же приняла ее, когда та вернулась из Лас-Тунаса, больная, опустошенная. *«Ты только своему старшему сыну все прощаешь»*. Простит ли она мне, что я оставляю ее, даже не поцеловав перед разлукой? Как-то она проживет без тех денег, что я давал ей каждый месяц?

— Невозможно было больше ждать. Я очень люблю тебя, Мария Кристина.

— Я тоже люблю тебя, Роберто. И ради тебя готова решиться на этот шаг.

Готова решиться? Как, разве еще не решилась? Или все же это наши попутчики в долгом и опасном путешествии, которое уже началось?

— Ты не раскаиваешься?

— Нет.

— Я боялся, что ты испугаешься и в последний момент обманешь меня.

— Теперь уже поздно. Какими глазами я смотрела бы на них?

— Это и не понадобится. Скоро мы будем уже далеко.

— Я боюсь.

— Боишься из-за того?..

— Не из-за того, что мы сделали. Я хотела этого так же, как и ты. Я боюсь умереть.

— Лодка у нас надежная. Я ее видел днем.

— А если нас поймают?

— Ну и что? Тогда твоим родителям уже ничего не останется делать.

— Отец убьет тебя.

— Он благоразумный человек.

— А остаться нам никак нельзя?

— Ты с ума сошла! Тетка обнаружит пропажу двух тысяч.

— Да, ты прав. О деньгах я забыла. Значит, выхода нет.

Я вспоминаю душещипательную радиопостановку под названием «Мыло Крусельяса». Моя мать не пропускала ни одной передачи. И Бебина мать тоже.

Он снова начинает целовать ее. Снова слышатся вздохи, они ласкают друг друга, шепчут что-то сдавленными голосами. Я спешу покинуть их и вернуться к Бебе, к моим детям. Ко всем членам нашей группы. Моим будущим спутникам.

В полночь опять пришел тип с фонарем, свет от которого так искажал его фигуру.

— Военные продолжают гулять в клубе. Видимо, останутся на всю ночь. Значит, и мы должны остаться.

Вновь истерические выкрики, ропот, возмущенные жалобы.

— Хочу предупредить вас всех: теперь уже никто не может дать задний ход. Мы с хозяином лодки рискуем жизнью. Так что одним больше, одним меньше, нам все равно.

Вспомнил. Когда Рейнальдо отвезли на кладбище, нам разрешили вечером пойти туда. Мы представляли Ассоциацию учащихся. Пойти на кладбище мне предложил Хильберто. Это было рискованно. Но Рейнальдо был хорошим парнем, а его мать столько раз была матерью для меня и для всех нас... Кто-то установил на зомло свечи. Он лежал в задней части кладбища. Тело одного из двух его товарищей, у которого был влиятельный отец, разрешили забрать. Его увезли в похоронное бюро, дав обещание, что все будет тихо, без скандала. А Рейнальдо лежал прямо на земле, обнаженный. Кто-то уже смыл кровь с его ран. Глаза у него были открыты. Голубые глаза, казавшиеся бездонными при свете свечей. Он смотрел вверх, на звезды. «Надо закрыть ему глаза», — сказал Хильберто. Мы наклонились над Рейнальдо одновременно. Но пальцы Хильберто успели раньше дотронуться до его лица и закрыть его сияющие глаза. И вот тут-то я впервые обратил внимание на эти жирные руки, испещренные веревками жил. Увидел татуировку на обоих предплечьях. Пуловер кричащего желтого цвета. Черты лица, искаженные светом, идущим снизу.

Сейчас я опять взглянул на эти руки. Татуировку трудно было разглядеть в темноте. Но тогда, на кладбище, я хорошо разглядел оба изображения. На правой руке — змея, обвивающая обнаженную женщину. На левой — два кровоточащих сердца, пронзенные стрелой, и надпись: «Не забывай меня». А рядом инициалы его и, по всей вероятности, какой-то женщины. «Он бывший моряк. Теперь работает на СИМ*», — сказал мне потом Хильберто. Он не был вооружен. Единственным его оружием были руки:

* Служба военной разведки. Следственно-репрессивный орган на Кубе времен диктатуры.

жирные, узловатые, безволосые. Казались они вполне безобидными. На пальце у него был перстень. Он неторопливо разъяснял нам и родному дяде Рейнальдо: «Тело забрать нельзя. Необходимо произвести вскрытие и все оформить юридически. Мы показали его вам, чтобы молодые люди поняли, что должны хорошо себя вести. Они хотели взорвать трансформаторы. Покушались на государственный порядок». Чуть поодаль, у мраморных досок и крестов, располагались люди, вооруженные автоматами. Мы так и оставили его на земле и ушли, все еще не веря, что он мертв, что никогда больше мы не увидим его на волейбольной площадке, никогда больше он не будет призывать нас к забастовке и шутить в самые трудные минуты, чтобы мы не корчили унылых рож. У входа на кладбище тоже стояло несколько солдат с автоматами. Они никого не пропускали. А теперь автомат — в руках у брата Рейнальдо. Я чувствую, что у меня, наверное, унылая рожа, но уже некому шутить и смеяться заразительным смехом.

— Надо запастись терпением. Вот увидишь, все будет хорошо, — шепчет Беба мне на ухо.

Меня потрясает ее спокойствие. Дочка спит. Карлитос пристально глядит на нас. Я бы предпочел, чтобы он заговорил, упрекнул нас, спросил: «По какому праву вы втянули меня в эту авантюру?» Да, дети должны следовать за родителями. Он ребенок, но пройдет год, и детство для него окончится. Что он тогда будет думать? Что скажет нам?

— Послушайте, начальник, когда мы в конце концов поедем?

Это голос Манолито. Его нельзя спутать ни с чьим другим: Жена тоже его узнала, сжимает мне руку и сердито бормочет: «Эти люди здесь...» Она просто исходит желчью, так их не выносит. Тем более что они, как оказалось, придерживаются тех же взглядов, что и она. А она не хочет, чтобы хоть что-то связывало нас с ними.

— О часе отправления мы вам сообщим. Придется потерпеть. Никто не должен выходить из укрытия. А чтобы справить нужду, кустов вокруг хватит.

Никто не откликается на его слова. Все молчат. Даже дети. Он тушит фонарь и уходит. Мы догадываемся об этом по звуку удаляющихся шагов. Потому что нужно какое-то время, чтобы снова привыкнуть к темноте. Свечи

вокруг тела Рейнальдо постепенно таяли, пока там, в глубине кладбища, не наступила полная темнота. Но тогда все небо было усеяно звездами. А сейчас не видно ни одной. Очень душно. Наверное, пойдет дождь. И хорошо бы, а то эта духота и москиты совсем прикончат нас. Дочка захныкала. Я вытаскиваю платок и стараюсь прикрыть ей лицо. Жена накрывает ее своей косынкой. Карлитос неподвижен. Его, должно быть, совсем заели москиты.

— Все, что достается с трудом, больше ценится, — философски замечает жена.

То же самое мне говорил и Хильберто: «Ты вспомни, какая шла борьба. Сколько народу погибло. И теперь надо защищать завоеванное всеми силами, чего бы это ни стоило». Откуда в них такая убежденность? Они упрямые, неутомимые и все время изобретают что-нибудь новое: летучие митинги, декларации, конгрессы, мобилизацию, учебу в милиции, ночные дежурства, кружки политзанятий, и конца этому не видать. Подобно вихрю, эти их мероприятия вовлекают всех в свой хоровод. Всех, кроме меня. Кроме нас. «Вся грязь всплывает кверху во время прилива и остается на берегу после того, как вода схлынет». Я — эта грязь. Мы для него — всплывшая грязь, налип. Потому что мы много размышляли и все продумали до конца. Потому что мы не похожи на них. «Теперь ты можешь посещать Теннис-клуб. А раньше ты мог переступить его порог только в качестве лакея либо музыканта». Я обиделся: «Тебя тоже туда не пускали». «Разумеется. Но если бы у меня были монеты, пустили бы. А вот тебя...» Обязательно надо напомнить о цвете моей кожи. Это было еще до того, как я подал заявление. Они все время твердили: «Ты мулат, не забывай об этом». Или подчеркивали мое происхождение: «Твоя мать была прачкой, не забывай об этом». Нет, так прямо они не говорили. Но постоянно болтали о равенстве; о том, что все мы теперь равны. Не понимая, что все не могут быть равны.

— Мне неприятно, что они тоже едут. Как они могут равняться с нами? Но я усматриваю в этом и положительную сторону: даже плебеи от них отворачиваются.

Глубокомысленное рассуждение. Жена наверняка изначала в свое время право: все на свете она приравнивает к собственной выгоде.

— Мама, мне нужно отлучиться, — говорит сын.

— Пусть отец тебя проводит, — предупреждает мать.

Я иду вместе с ним. Но не туда, куда ходил в прошлый раз. Как знать, может, парочка все еще там. Вести сына туда — все равно что взять его с собой на фильм, запрещенный церковью. «Не будь наивным. Девчонки специально смотрят списки запрещенных фильмов, чтобы знать, на какие надо сходить. А потом исповедаются в грехах, прочтут несколько раз «Отче наш» и «Аве, Мария», и все в порядке». Так говорил Рейнальдо, когда мы спорили о религии. Он издевался над наказаниями вроде тех, когда на коленях отстаивают мессу, смеялся над запретами священников, которые лишь подогревали интерес девчонок, рассказывал о монахинях, которые жили со священниками, о детях падре Басульто, о подземном ходе, прорытом из мужского в женский монастырь. Рейнальдо был законченным еретиком. Хотя Бенигна ходила в церковь. Вот моя мать никогда не ходила. «Если бы был бог, вы не ложились бы спать голодными», — часто говорила она нам. Но не решалась выбросить изображение пресвятой девы Эль-Кобре, которое висело у нас в комнате. Однажды я рассказал обо всем этом Бебе. Она пришла в ужас. «Все это от отсутствия культуры», — сказала она. Я обиделся. Потому что мы тогда устраивали детей в школу и начали ходить в церковь. У меня и впрямь болели колени от долгого стояния на деревянном полу. «Когда это кончится?» — спрашивал я у Бебы. А она злилась, что я до сих пор не знаю службы.

— Карлитос помочился и стоит не двигаясь.

— Пошли? — окликаю я его.

— Почему мы уезжаем? — спрашивает он с очень серьезным видом.

— Потому что так надо! — раздраженно бросаю я в ответ.

— Должна быть причина.

Просто удивительно. Он не горячится, а старается осмыслить, понять.

— Видишь ли, есть вещи, о которых ты пока не можешь судить...

— Никто не делает нам ничего плохого.

— Ты просто не замечаешь. Вот смотри: они закрыли колледж. И ты не смог больше учиться в приличной школе.

— И очень хорошо. Там все готовы были съесть меня.

Я не верю своим ушам. Карлитос еще никогда так не выражался. Чем же они его допекли? Сказать такое после

того, как мать столько хлопотала, а священники относились к нему так доброжелательно.

— Ты просто неблагодарный мальчишка.

— Мне не за что их благодарить. В этой школе я чувствовал себя паршивой собачонкой.

— Это ты все придумал...

— Вот теперь я такой же, как и все остальные ребята. А учимся мы в той же самой школе.

— Нет, не в той же самой. Здание то же, да школа не та.

— Да, теперь она мне кажется совсем иной. И мне нравится учиться в ней. Так почему же я должен уезжать?

— Есть другие причины. Например, все продается по карточкам, ты уже не можешь купить себе то, что хочешь, а должен довольствоваться тем, что они тебе предлагают.

— В колледже некоторым ребятам покупали такое, чего вы мне не могли купить.

— Это другое дело. Там учились ребята из богатых семей. У их родителей были свои имения, магазины, дома...

— А сейчас нас всех уравнили.

— Где это ты нахватался? Дома ты такого услышать не мог.

— Об этом рассказывают в школе... Теперь историю преподают не так, как раньше.

— Как же, знаю! Новый подход. Забивают вам голову всякой дрянью.

— Никого не заставляют в это верить.

— Ты меня не обманешь, Карлитос. Тут замешан еще кое-кто. Хосеито, сын председательницы комитета. Не зря мать не хотела, чтобы ты с ним дружил.

— Он тут ни при чем; папа. Дело во мне самом. Мне ведь скоро исполнится тринадцать лет.

— Да. А когда тебе исполнится пятнадцать, тебя заберут в армию и дадут автомат.

— А там? Там разве не сделают того же самого?

— Там все по-другому. Все.

— Да, всё. Фредди мне уже говорил: умирать во Вьетнаме там в первую очередь посылают негров.

Я начинаю злиться. Подумать только, такой разговор за несколько часов до отъезда. Но я не могу отступить. Я должен поставить на своем.

— Пора возвращаться. Мы еще поговорим об этом. Тебя ввели в заблуждение.

— Почему мы уезжаем?

Опять тот же вопрос. Никогда раньше Карлитос не отличался упрямством. Он всегда был послушным ребенком. Вот их тактика: расколоть семью, столкнуть нас лбами.

— Послушай, не будем сейчас обсуждать этот вопрос. Ты должен ехать, потому что твоя мать и я так решили. Вот тебе объяснение. Что касается остального, ты все поймешь, когда сравнишь.

— Позволь мне вернуться. Я вас не выдам. Просто вернусь и никому ничего не скажу.

— Ты что, спятил?

— Я не хочу ехать, папа. Если вы хотите, поезжайте.

— Ты думаешь, мы оставим здесь тебя одного? А кто тебя будет содержать?

— Буду учиться в интернате. У меня есть один знакомый мальчик, который отказался уезжать прямо на аэродроме. Родители его уехали. А он учится сейчас в интернате.

— Все это вранье, пропаганда! Просто его оставили, чтобы потом забрать в армию.

— Пусть. Но он хотел остаться. И сейчас доволен.

— А его родители теперь страдают..

— А зачем они уезжали?

Все бесполезно. Так мы ни до чего не договоримся. Карлитос смывленный мальчик. Он всегда был развитым ребенком. Но никогда не разговаривал так с нами. Носил, оказывается, все это в себе. Враг в собственном доме. Как это он не донес, что я все продал? А может, уже донес? Нет, надо поискать другие доводы.

— Сыночек, ты слышал, что сказал мужчина в желтом пуловере?

— Я не попадусь, не беспокойся. Я уйду незаметно и спрячусь в машине.

— Думаешь, я разрешу тебе рисковать собой? Послушай... этот мужчина... этот мужчина убил однажды под Новый год моего товарища по коммерческому училищу. Я видел его потом на кладбище. Это был он, и в том же самом пуловере. Он стоял рядом с трупом Рейнальдо. Да! Рейнальдо был брат этого паренька с автоматом. Помнишь, он вспоминал о нем?

— Почему же мы согласились, чтобы он нас вез?

— Я не знал, что это будет он... Мы договаривались обо всем через третье лицо. В таком деле нужна особая

осторожность, понимаешь? Уже слишком поздно. Слишком поздно...

Похоже, я убедил его. Он поворачивается и шагает по направлению к нашему лагерю. Я иду за ним. Голова у меня раскалывается на части. Мой сын Карлитос. Сын председательницы комитета. Сын Бенигны. Сын Переса Лопеса. Рейнальдо в окружении четырех свечей на кладбищенских задворках.

— Что вы так долго? — спрашивает Боба скорее подозрительно, чем обеспокоенно.

— Да ерунда... Карлитос тут сказал мне...

— Что именно?

— Что он не хочет ехать.

— С каких это пор в нашей семье командуют дети?

— Я ему то же самое ответил. Но понимаешь, когда так редко его видишь... Чужое влияние неизбежно.

— Поэтому я их и уволю. Чтобы они были только моими.

— Но он так обо всем рассуждает!

— Говори потише. Ни к чему устраивать спектакль.

— Не знаю... Действительно, этот тип с фонарем... Карлитос, возможно, прав. Почему мы сдем с ним?

— Любой, послушав тебя, сказал бы, что ты трусишь.

— Это не трусость, а элементарная щепетильность.

— С тех пор как ты разорвал заявление, ты все больше падаешь духом. Почему ты не подумал обо всем этом раньше?

— Да нет, я ни в чем не раскаиваюсь. Просто этот человек работал в СИМ.

Жена молчит. Слышу, как она проглатывает слюну. Напрягается из последних сил, глубоко вдыхает воздух. Вокруг тишина. Все спят. Уже давно глубокая ночь.

— Цель оправдывает средства, — наконец произносит она твердо.

Я не отвечаю. Голова у меня клонится вниз. Я не могу удержать ее. Глаза закрываются. И какая-то тяжесть в груди.

Я проснулся от страха. Мне снилось, что мы находимся в открытом море. Разыгравшаяся буря грозит потопить нас. Огромная волна неожиданно обрушивается на наше судно, накрывает всех нас... Начавшийся дождь разбудил не только меня. Крупные холодные капли, попадая

на искусанную москитами кожу, действуют как освежающий душ.

— Достань нейлон и прикрой детей!

Манолито и Каридасита оказались предусмотрительными. Практичные люди, не то, что мы. Нам нечем прикрыть дочку от дождя.

— Все у нас складывается неудачно. Ты заметила? — говорю я жене, которая пытается успокоить плачущую дочь.

— Наоборот. Бог хранит нас. Что было бы, если бы эта гроза застигла нас в море!

— Ну и дерьмовая погодка! В бога душу мать... — Это бранится обладатель хриплого голоса.

Беба крестится. Дождь льет уже как из ведра. Мы пытаемся спрятаться под деревьями. Там, обнявшись, с трудом загораживаем детей, стоящих между нами.

— Неприятно, когда ты вынужден находиться рядом с богохульниками, — хмуро замечает Беба.

Я успокаиваю ее:

— Это временно. Только до тех пор, пока мы не приедем туда.

— Не выношу этих людей. Но что с них взять, если они не получили должного воспитания.

— Я жалею, что мы не уехали легально.

— А я о чем тебе говорю с самого утра? Думаешь, я не вижу? Но ты сам виноват. Зачем ты разорвал заявление?

— Не будем возвращаться к этому. Сели в поезд — надо ехать.

— Вечно ты со своими прописными истинами.

Дождь избавляет меня от необходимости продолжать этот разговор. Разве тут выдержат нервы? Ожидание. Отказ Карлитоса. Москиты. Тип в желтом пуловере. Наши попутчики. Ливень... Слишком много всего сразу. И то ли еще ждет нас впереди...

Дети начинают плакать. Они хотят спать и не могут из-за дождя. В нашем лагере происходит смятение. Раздается ругань. Но постепенно все как-то образуется, и теперь слышен только шум дождя, проникающего, кажется, во все поры. Я совсем продрог. Какой-то странный озноб, пронизывающий до самых костей.

Я еще крепче обнимаю их. Бебу, Карлитоса, дочку. Мы могли бы лежать сейчас в теплых постелях. И пусть дождь

барабанил бы по крыше. Я сходил бы в комнату к детям и закрыл у них окно. Потом вернулся бы в спальню, к Бебе, и обнял бы ее, ощущая ее нежную кожу, ее упругие груди, прижатые к моей груди. Я целовал бы ее и чувствовал бы, как меня охватывает нежность и теплота, а не этот пронизывающий до костей холод, сжимающий грудь, заставляющий мое сердце биться так медленно.

— Который час? — робко спрашивает кто-то.

— Часа три, должно быть, — отвечают ему.

Я думаю о работе. О запертом доме. О тревоге соседей. О расспросах в управлении.

— Уже понедельник. В управлении будут удивлены.

— Соседи знают, что машина не в порядке.

— А если станут искать нас?

— Мы не впервые уезжаем. Бывало, по нескольку суток не ночевали дома. И никто не спрашивал у нас отчета.

— Но на работе...

— А разве ты не можешь заболеть?

— Они забеспокоятся. Пошлют к нам кого-нибудь из профсоюза.

— Ты видишь одни только трудности. В тебе нет веры. А я всю ночь молилась.

— Я слышал.

— Ничего с нами не случится. Пресвятая дева нас защитит.

Пресвятая дева, пресвятая дева... Да. Мать так и не решилась выбросить изображение милосердной девы Эль-Кобре. Вспоминаю ту лодку, готовую перевернуться. В ней был один негр. Всем пассажирам удалось спастись, несмотря на бурю. Пресвятая дева их защитила. И мать не решилась убрать изображение. Хотя проклинала все на свете и уже не молилась. Мы привыкли к этому изображению как к предмету домашней обстановки. В глубине души мать все-таки его побаивалась.

Дождь утихает. Мы чувствуем облегчение, когда он перестает совсем.

— Мама, мне холодно.

Это дочка жалуется. Карлитос молчит. Он не жалуется. Понял, что надо слушаться родителей. Вокруг начинают шевелиться, ворчать, проклинять судьбу.

— Скоро взойдет солнце. Одежда на нас высохнет. Вот увидишь, все будет хорошо.

Я снова начинаю клевать носом. Голова опять становится непомерно тяжелой и клонится то в одну сторону, то в другую. Я теряю волю. Расслабляюсь. И хочу думать, что мать ошибалась. Что есть какое-то высшее существо, которое защищает и направляет нас, которое нас спасет.

IV

В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ

Первые лучи начинают пробиваться сквозь листву. Постепенно рассветает. Вначале мы различаем только отдельные неясные фигуры — съездившиеся, неподвижные. Солнце поднимается все выше. И уже можно различить лица.

— И вы здесь!

Манолито машет нам, улыбаясь во весь рот. Подходит к нам довольный, что страшная ночь позади.

— Ведь говорил я жене: «Они наверняка тоже едут». А она мне: «Да нет, они на машине...» Всю ночь провели рядом и словечком не перебросились.

Жена смотрит в другую сторону. Ее взгляд пробегает по лицам остальных наших спутников. Скорее всего, она ищет доктора Хименеса. Но его нет среди нас. Видимо, еще не решился.

Подходит и Каридасита. Старается привлечь внимание жены. Но Беба делает вид, что не замечает ее, несмотря на то что все мы стоим почти вплотную друг к другу. Да, ведет она себя откровенно невежливо. Каридасита, ничего не сказав, возвращается на свое место. Их дети спят. Благодаря нейлону они совсем не вымокли.

— Мы уже могли бы находиться совсем в другом месте. Сидели бы и потягивали себе пиво, закусывали ветчиной. Мне не терпится очутиться наконец в магазине и покупать, покупать все, что захочется! Скоро мы отведем душу, Картосо!

Меня бесит его самодовольный тон. Интересно, сколько раз за свою жизнь он ел ветчину? Мне кажется, он попробовал ее впервые, когда мы устраивали в нашем квартале праздник по случаю первой годовщины... Это было в самом начале. Тогда еще люди с доверием относи-

лись к происходящему, питали какие-то надежды. Беба вызвалась приготовить закуски. Манолито не мог оторваться от ветчины. «Пусть поест. Учти, у него раньше не было такой возможности». Да. Имению так Беба и сказала. Это было вначале. А когда, интересно, он мог пойти в магазин и купить все, что хотел? Его жена обшивала всех соседей. Брала она дешево. Беба сшила у нее несколько платьев для себя и для девочки. «Она не умеет шить. Смотри, как ужасно сидит это платье. Она просто испортила материал... Не говоря уже о том, что не вернула остаток. И портниха плохая, и вдобавок поровка». Но даже не в этом дело. А в том, что они занялись темными делишками. Маноло сделался милисиано. Он много шумел, помогал даже проводить конфискации. Но в один прекрасный день у него обнаружили проигрыватель из дома доктора Вароны. Оказалось, он занимался спекуляцией. Перепродавал вещи, которые покупал у отъезжающих. Предлагала их жена под большим секретом. И многие покупали. Даже те, кого считали революционерами. Заварилась такая каша! В этом деле оказалась замешанной чуть ли не половина нашего квартала, да еще кое-кто с соседних улиц. Манолито с большим позором выгнали из милиции. Арестовали. Вскоре должен был состояться суд. Несколько дней он пробыл за решеткой. И вот теперь он всех их оставляет с носом...

Каридасита зовет его. Он отходит от нас.

— Я не хочу поддерживать отношения с этими людьми,— шепчет мне Беба.— Это же бог знает кто. Пусть не надеются на нашу дружбу в Майами... Ты помнишь, когда он впервые попробовал ветчину? А теперь, видите ли, жить без нее не может... Как будто этим нас можно обмануть.

Мое внимание привлекает толстая женщина, которая кормит грудью крохотную девочку.

— Все-таки это преступление,— говорю я Бебе.

— Ты имеешь в виду девочку?

— Да. Наши по крайней мере уже большие.

— Такова цена свободы. Без жертв ее не завоеешь,— заявляет жена.

— Но девочке-то всего несколько месяцев.

— Ты думаешь, ее мать не страдает из-за этого?

— Ни за что бы не согласился, будь я отцом такой крошки.

— Раскаиваешься?

— Я не о нас.

— Хочу тебе заметить, что уйти отсюда никому не дадут.

— Ты думаешь, я этого не слышал вчера вечером?

— Потому что среди нас может оказаться предатель.

— Я не сказал тебе ни слова о том, что мы должны уйти отсюда. Просто я говорю, что это преступление.

Я раздражен. Ночь была тяжелая. Для чего усложнять себе жизнь в столь критический для всех нас момент? Нам придется пробыть здесь еще целый день, общаться друг с другом, разговаривать со старыми и новыми знакомыми. Я стараюсь разобраться в них, понять, чем дышит каждый. Что у них за душой? Могут ли среди нас оказаться предатели, шпионы? Не захлопнется ли западня перед самым нашим отплытием? Мы договаривались с надежными людьми. Но предательство не исключено. Кто же предатель? Хозяин лодки? Или тот, кто положил себе в карман наши тысячи? Кто-то сказал, что нас здесь двадцать человек. Двадцать тысяч песо. Вполне достаточно, чтобы подкупить кого надо. Пусть глупцы кричат о преданности и честности. «Есть люди, которые сделают поворот на сто восемьдесят градусов, как только их прижмут». Так говорил Хильберто. Имел ли он в виду меня? «Видишь все эти плакатики, которые они навешали на дверях? Да, таблички со словами благодарности и поддержки революционных законов... Вот увидишь, когда им придется туго, они начнут сдирать их со стен вместе с досками...» Нет. Меня он не имел в виду. Он не знал о заявлении. Наши пути разошлись. Его сделали руководителем. У него всегда была эта жилка. С ранних лет он вступил в борьбу. Был решителен. Увлекал нас за собой. Это он добился разрешения пойти на кладбище, когда убили Рейнальдо. Хлопотал, убеждал кого надо. И я пошел вместе с ним. Когда я его видел последний раз, он выглядел немного усталым. «Конечно, нелегко, приятель. Но нужно защищать завоеванное всеми силами». Я позавидовал ему. Тяжело питать иллюзии, бороться за что-то, а потом разочароваться, признать, что все было обманом. Что не стоило бороться. «Вот увидишь, все будет хорошо. Среди нас затесалось много всяких людишек, наносящих нам вред, выдающих себя за революционеров». Я не мог довериться ему, рассказать о своих сомнениях, о спорах с женой. «Но

есть и экстремисты, это ты должен признать» — вот единственное, что я осмелился ему возразить. «Если поскрести их хорошенько ногтем, под верхним слоем обязательно обнаружишь самых настоящих оппортунистов». Он произнес это очень серьезно. А потом засмеялся, обнял меня за плечи и шепнул: «Это не мои слова. Это сказал Ленин уже много лет назад». Они больше не скрывались. Волк сбросил маску.

Я продолжаю рассматривать людей, окружающих меня. Муж толстой женщины с грудным ребенком похож на сельского жителя. Вероятно, у него конфисковали усадьбу. И вынудили тем самым рисковать жизнью этого ангелочка. Напротив, в тени дерева, расположилась крашенная блондинка в черно-красной косыпке с египетскими узорами. Рядом с ней тот самый мужчина с залысинами и в очках. Уж не врач ли он? Я перевожу взгляд на «кабальеро» Переса Лопеса. Его лицо бесстрастно. Он уже не пожирает глазами блондинку, как вчера на пляже. Зато Манолито рассматривает ее совершенно беззащитно.

— Как затесались сюда эти люди...

— Говори потише. Они могут услышать.

— Если бы было возможно, я бы отложила наш отъезд до следующего раза.

— Не все ли равно? Мы еще не знаем других.

— Другие все кажутся приличными людьми.

— Не надо доверять первому впечатлению.

— У меня наметанный глаз. Посмотри на эту пару: девушка в голубых спортивных брюках и вышитой блузке... Рядом с ней молодой человек в рубашке с желтым рисунком... Видно, что они из хороших семей. Предприимчивая молодежь, которая на родине чувствует себя заперти...

— Может быть...

Моя мысль начинает работать. Оба очень молоды. Она вообще кажется школьницей со своим худеньким личиком и длинными волосами, собранными сзади круглой заколкой... Он мне не нравится. Рубашка с крикливыми узорами, баки, как у сутенера, длинные ногти, кольцо, браслет с монограммой, двухцветные туфли, узкие брючки... А если это они? Я ведь только слышал голоса. Но это единственная молодая пара. Должно быть, они. Он сумел обмануть ее. Несчастный отец, наверное, уже ищет свою дочь. Сообщил о ее исчезновении. Попадись они ему, он

бы убил их. Да, у них нет другого выхода... А у кого он есть?

Появился бывший моряк, он же бывший агент СИМ. Принес большую жестяную банку галет. Распределяет между всеми. Когда он протягивает галеты мне, я отчетливо вижу татуировку: обнаженная женщина, змея, обвивающая ее тело. К горлу подступает тошнота. Вероятно, от слабости. Я тоже протягиваю руку. Беру галеты для себя и детей. Беба уже взяла себе две штуки. У кого есть другой выход? Дочка просыпается. А Карлитоса сморило. После бессонной ночи. Хорошо, что он спит. Не могу видеть его глаза, глядящие на меня с упреком. Как будто ты обязан советоваться с детьми...

— Не узнаешь?

Смотрю на подошедшего мужчину, пытаюсь вспомнить, кто он.

— Кажется, я тебя где-то видел...

— Через два квартала от твоего дома есть стоянка.

— Да.

— Так вот я шофер такси, Чичо, с той самой стоянки.

— Да, да, теперь я вспомнил...

Жена смотрит на меня, как она умеет смотреть, приказывая прекратить этот разговор. Наверное, думает сейчас о докторе Хименесе. Или еще о ком-нибудь со страниц светской хроники, кто до сих пор не уехал и кого она надеялась здесь встретить. Не все пойдут на такой риск. Вот в чем дело. А там нас ждут. И помогут нам. И мы едем вместо них.

— Вот, вынуждают тебя идти на такое... Дипломантий у них нету...

— Чего?

— Ну это... не умеют подойти к человеку, старина. По-дружески.

— А, понятно.

— Я зарабатывал на жизнь своей машиной. На что только не приходилось идти, чтобы раздобыть резину и запчасти! Но всегда находился кто-нибудь, кто их продавал. Разумеется, по ценам черного рынка. Поэтому я был вынужден драть втридорога с пассажиров, особенно когда за город ехали.

— И вас за это преследовали?

— Да нет... Надо как-то жить, верно? Так вот, были люди, которые вели подпольную торговлю мясом. Ты же

знаешь, жрать нечего. Они резали коров, а потом продавали мясо надежным клиентам. Мне они тоже доверяли. А как же иначе! Чичо — друг для друзей и враг для врагов. В общем, перевозили мясо на моей машине. Жить-то надо, приятель, вот и приходится рисковать шкурой. Сколько раз мы водили их за нос! Так они и не учуяли запаха шамовки...

Он вызывающе хохочет. Подтирает руки, довольный. Я вижу на его запястье часы со светящимся циферблатом. Беба незаметно щиплет меня. Что подлаешь? Он невежествен, а я знаю правила приличия и не могу его прервать.

— Нас выдала председательница комитета, того, что расположен в квартале, где живет доктор Алехо... Но в тот день случайно за рулем оказался мой шурин Маненге. Как только я узнал об этом, я спрятался в укромном месте, а вчера вечером — прямым ходом сюда, чтобы сбежать отсюда на лодке... Эти люди не дают человеку жить так, как он хочет. Обкладывают его, как зверя. Преследуют.

— Это верно, — говорю я, чтобы положить конец разговору.

— Спасть удалось только мне и Хоакинито. Видишь мужчину в очках... рядом с той блондинкой в красной косынке... Эта баба жила рядом с бойней. Конечно, коров резали не там. Вы знаете, там сейчас казарма милисиано. Скот резали тайно в усадьбе одного родственника...

Девочка капризничает. Наконец-то, после стольких споров мы находим с Бебой общий язык:

— Помоги мне. Она отлежала ногу.

— Извините, вынужден отвлечься...

— Ничего, приятель! Времени у нас на все хватит. В том числе и на то, чтобы помереть.

Он поворачивается к нам спиной и вступает в разговор с крашеной блондинкой и подпольным торговцем мясом. Сплошное разочарование. Однако все это начинает походить на Ноев ковчег. Всякой твари по паре.

— Еще один приятель, — ворчит Беба, усиленно массируя ногу дочки.

— Я на него никогда раньше не обращал внимания. Ты же знаешь, мы не пользовались такси. Но он нас знает. И естественно, подошел поздороваться.

— Там я на него тоже не взгляну. Точно так же, как и на торговца мясом и его любовницу... Как это вышло, что мы связались с такого сорта людьми?

— Все переговоры вела ты. Я не имел к этому ни малейшего отношения.

— Ну, разумеется! У тебя было тепленькое местечко. Тебя уважали. Ты не должен был ежедневно сталкиваться с подростками, у которых больше прав и власти, чем у тебя. Или выслушивать всякую демагогию на педагогическом совете. Ты-то хорошо устроился. Кабинет, кондиционированный воздух...

— Получается, я во всем виноват. Почему же тогда я здесь? Не для того ли, чтобы угодить тебе?

— Я знаю, ты не был до конца убежден. Но зачем же, не могу понять, говорить мне об этом сейчас, в самый критический момент, когда уже нельзя отступить, потому что позади пропасть?

И снова ужимки: Бетти Дэвис в роли жертвы. В ожидании слез, сочувствия и бешеных аплодисментов зрителей. Не надо было бы ей так со мной говорить. Я же согласился участвовать в этой аванюре и ответственность на себя взял. А все остальное — театр. Желание еще больше отравить жизнь своему ближнему, как будто она и так недостаточно отравлена.

Дочка умолкает. Говорит что-то матери на ухо. Обе встают. Кто-то вбил две хворостинки в землю с разных сторон поляны. И прикрепил к ним картонки с надписями «Дамы» и «Мужчины». Наверное, тот тип в желтом пуловере. Вижу, как из кустов, застегивая брюки, выходит муж толстой женщины, отец грудного ребенка. Беба с дочкой направляются к табличке с надписью «Дамы». И исчезают за деревьями. Я остаюсь один. Гляжу на Карлитоса. Он все еще спит. Или притворяется спящим. Солнце уже довольно жаркое. Одежда на нас постепенно высыхает.

— Мы уедем этой ночью?

Это Фредди. Он подходит ко мне вплотную. Хорошо, что Бебы нет. Видно, ему не терпится поговорить. Нарушить вынужденное молчание.

— Надеюсь. Второго дня здесь мы не выдержим.

— А в Сьерре выдерживали и не такое. И когда штурмовали Монкаду. Повстанцы из колонн Камило и Че го-

лодали, пили болотную воду, когда воевали в Камагуэе. И все выдержали. И поэтому победили.

— В детстве мне не раз приходилось ложиться спать с пустым желудком. Мои маленькие сестренки плакали. Я не плакал. Мать лупила их. Этого я никак не мог понять. Ведь потом она сама плакала, когда думала, что мы заснули. Но я не спал. От голода. Так что незачем рассказывать мне о том, что я сам прекрасно знаю.

Он смотрит на меня серьезно. Своими зелеными глазами. Тонкий нос. Темные всклокоченные волосы. У него слегка дрожит подбородок и нижняя губа. Ему трудно говорить.

— Не понимаю вас.

— Понять может только тот, кто сам это пережил.

— Вот именно.

Теперь я его не понимаю. Вглядываюсь в его лицо.

— Что вы такое сделали? Почему вы здесь?

Чувствую, как у меня начинают гореть уши. Точно такое же ощущение я испытал в тот день, когда нам отказались продать участок на берегу моря. Фредди, не отрываясь, смотрит на меня. Ждет ответа.

— Ты говоришь так, потому что я цветной? Потому что моя семья — единственные мулаты среди всех, кто здесь собрался?

— Нет. Не считайте меня таким ограниченным, Карто. Дело в том, что теперь у нас никто не ложится спать голодным. А вы едете туда, где есть люди, которые ложатся спать голодными. Негритянские дети, которые плачут по ночам. И метисы. И белые. Они спят в грязи, по ним ползают тараканы. Как можно забыть об этом и мечтать о каком-то рае?

Что это он несет? Не думал, что и здесь услышу эти затасканные аргументы, в которые уже давным-давно никто не верит. Мне жаль его. Он оказался очень легковым.

— Это ты не понимаешь. У человека должна быть возможность достичь всего собственным упорством, трудом, верой. За это надо бороться, к этому стремиться.

Он смотрит на меня с серьезностью. Чуть заметно качает головой.

— Вы говорите, словно издатель «Ридерс дайджест». Или автор брошюр «Как приобрести друзей» и «Как преуспеть в делах».

— Ты не веришь в то, что простой человек может выдвинуться? Этого можно достичь только там.

— Заработать много денег?.. Пожалуй. Мой отец был так же беден, как вы. И разбогател. Там тоже есть бедные люди, которые сделались богачами, миллионерами.. Но вы не видите сути, Картосо, не видите сути...

Он умолкает. Для чего я ему все это рассказывал? Как Хильберто. «Надо защищать завоеванное всеми силами, приятель. Чего бы это ни стоило». Его сестры делали цветы из гофрированной бумаги, а он продавал их. Они так и не стали богатыми. «Честному человеку трудно было пробиться. Лакомые куски доставались всяким плутам. Вот послушай: мою сестру обманул один из этих подонков. Хорошо еще, что она потом встретила простого труженика, который усыновил ребенка. Я тогда был маленьким. Но все равно ходил с ножом и искал этого мерзавца. Теперь он уже уехал. Мы не признали депутатского мандата, который ему купил его папаша». Хильберто без устали приводил мне все новые и новые примеры. Не потому, что подозревал. Он об этом говорил и раньше, когда мы с ним собирались открыть бухгалтерскую контору и искали себе клиентов среди лавочников и торговцев галантереей. И даже решились однажды попытать счастья у Переса Лопеса.

— У твоего отца было хорошее предприятие. Мы с Хильберто один раз приходили к нему.

Он внимательно смотрит на меня. .

— Мне до сих пор стыдно появляться на улицах, где были его дома. И сносить усмешки. Даже здесь меня в покое не оставляют.— Он кивает головой в сторону Манолито.— Знаете, что он мне сказал недавно в лесу?

— Не обращай внимания, это пустой человек,— пытаюсь успокоить я его, видя, как он взволнован. Даже вены на висках вздулись.

— Он сказал: «Ты знаешь, что все проститутки твоего отца теперь работают в банках?» И я был вынужден промолчать. Потому что не могу, не имею морального права защищать отца.

Я ничего не говорю в ответ. Он затравленно смотрит на меня, сжав кулаки. В его голосе слышится злая речь:

— Почему я такой трус?

Я продолжаю молчать. Да он и не ждет от меня ответа. Я смотрю на его родителей. Они спят. Солнце поднялось еще выше. Люди хотят восстановить силы после этой ужасной ночи.

Возвращается Беба с дочкой. Меня злит, что она так спокойна, как будто мы приехали сюда на пикник. Дочка выглядит усталой. Ее лицо в красноватых точках. Крепко досталось ей от moskitov.

— Когда мы поедem домой? — спрашивает она.

Жена шикает на нее.

— Почему мы все время сидим здeсь? — не успокаивается девочка.

— Замолчи. И больше ни о чем не спрашивай.

Люди стали перебираться под деревья. Я ловлю себя на том, что пересчитываю их, загибая пальцы на обеих руках. Нас четверо. Супруги Перес Лопес и Фредди. Семеро. Толстая женщина, ее муж и грудной ребенок. Десять. Я разгибаю пальцы и начинаю счет с правой руки: Манолито, Каридасита, двое их детей. Четырнадцать. Торговец мясом со своей любовницей. Шестнадцать. Юная пара, которая занималась в лесу любовью. Это восемнадцать. Остаются незагнутыми указательный и большой пальцы. Шофер такси с соседней стоянки. Девятнадцать. Не хватает одного. Ищу его взглядом. Вижу Фредди, который направляется в импровизированную мужскую уборную. Размышляю, хватит ли у него храбрости. Попытается ли он сбежать. Перевожу взгляд на его мать, которая только что проснулась. Нет, он не сбежит. Не оставит ее с отцом. А вот и тот, кого я искал. Встает, разглаживает брюки, поправляет ремень. Сильно вихляя задом, идет вслед за Фредди. По виду смахивает на педераста. Не раздумывая, почти машинально я встаю на ноги и иду за ним.

— Ты куда? — спрашивает Беба.

— Сейчас вернусь.

Углубляюсь в лес. Ну конечно, теперь у меня нет никаких сомнений. Он подглядывает за Фредди. Я застал его врасплох.

— Это просто невыносимо! В каких условиях мы очутились!.. — он пытается прикинуться простачком.

Я неприязненно гляжу на него. Фредди ничего не замечает. Он чистый мальчик и ничего этого не знает, хотя его отец наживался на дешевых шлюхах, хотя буфетчи-

ком в одном из отцовских заведений неподалеку от тюрьмы был педераст. Фредди не жил нашей жизнью. По субботам мы обычно пили пиво в «Эль-Хересано». А потом отправлялись в публичный дом. Это считалось вполне нормальным. «Слышишь? Эта девка говорит, что не ляжет с негром». Так изрядно выпивший Хильберто подзуживал меня. А меня бросало в краску, потому что однажды это действительно было, и я рассказал ему. Он хохотал тогда минут пять, чуть не до слез. «Зато эта мулаточка пойдет со мной, верно?» Я никогда не рассказывал Бебе об этих субботах. Но она, конечно, подозревала. Мы с нею не были тогда близки. Я отводил ее домой после сеанса в кинотеатре «Касабланка» и встречался с Хильберто. Мы не видели в этом ничего особенного. Все так поступали. Нас не интересовала судьба этих женщин. Каждый зарабатывает себе на жизнь, как может. А вот Хильберто всегда их расспрашивал. Помню, он долго ходил к одной, по имени Виолета. «У нее есть сын в приюте. От барчука, у родителей которого она была служанкой». Эта история мне сперва показалась очень банальной. Словно из бульварного романа. «Хозяйка выгнала ее, когда у нее начал расти живот. Она не выдала виновника. Думала, что у нее отнимут ребенка». На Хильберто подобные вещи всегда производили сильное впечатление. У него было очень мягкое сердце. Сейчас-то в начальниках он погрубел. Он участвовал в конфискации домов «кабальеро». «Она родом из Орьенте. Из самой Сьерра-Маэстры. Знаешь, ее изнасиловали, когда ей было всего двенадцать лет. Виолета говорит, что никогда этого не забудет. У хозяина кофейной плантации был сын, самый настоящий подонок. В окрестных деревушках и на плантациях, которые принадлежали его отцу, он выбирал себе девушек. И даже вел счет своим жертвам. Сукин сын!» После этого я тоже стал жалеть Виолету. Я представил, как она лежит под высокими деревьями, в тени которых растет кофе. Вся в кровоподтеках, в глазах застыл ужас. Как она боится рассказать о случившемся отцу. И стыдится, что об этом узнает мать. Я вспомнил свою сестру. Мне было жаль и ее. Хильберто своего добился. И все же не потому мы перестали пить пиво в «Эль-Хересано» и ходить к шлюхам. Это считалось в порядке вещей, не то что гнусные намерения этого типа, который выслеживает сейчас Фредди, ничего не подозревающего Фредди. Я уверен, что он ни о чем не догады-

ваётся. У него и женщин-то еще не было, можно не сомневаться, если вспомнить тот неудачный опыт, о котором он мне рассказывал. Он замечательный парень. Жаль только, что так травмирован, как сказала бы моя жена.

— Что слышно нового, Картоса?

Фредди идет в мою сторону.

— Ничего. Я решил немного размяться.

Тип загораживает Фредди дорогу, пытаюсь словно незначай коснуться его:

— Послушай, я тебя знаю...

Фредди останавливается. Вглядывается в него. Видит его отталкивающую улыбку, блестящие от возбуждения глаза, прилизанные волосы, которые тот заботливо приглаживает холеной рукой.

— Вы ошибаетесь. Я с вами познаком.

И идет дальше. Я за ним. Подраст остается в одиночестве. Он заметно растерян. Молодчина этот Фредди. Жаль только...

Итак, нас двадцать человек. Поимпогу мы знакомимся друг с другом. Пока я ничего не знаю только о муже толстухи с грудным ребенком. У него вид помещика. Словом, человека с деньгами, не какого-нибудь крестьянина. Маноло наверняка его знает. Или шофер такси. Но если Беба увидит, что я заговорил с кем-то из этих двоих, она меня съест. Лучше пойти сесть с ней рядом.

Проснулся Карлитос. Манолито играет в шашки с шофером такси. Они сделали доску из куска картона. У кого-то нашелся красный карандаш, которым они закрасили темные клетки. Вместо шашек у Манолито ракушки. А шофер набрал где-то косточек от каких-то плодов и играет ими. Муж толстухи внимательно наблюдает за игрой. Его жена укачивает девочку, которая кажется совсем крошечной рядом с необъятной грудью матери.

Фредди вытащил дорожные шахматы с магнитными фигурами.

— Умеешь играть? — спрашивает он Карлитоса.

— В школе нас учили. В кружке...

Они начинают играть и забывают об окружающем. Я облегченно вздыхаю, поворачиваюсь к жене. Она беседует с супругами Перес Лопес.

— Этот новый закон спутал все наши планы. Вырастить ребенка, ухаживать за ним так, как мы ухаживали за Фредди, а потом потерять...

— Мы могли бы уехать легально,— начинает Беба.— Карлитосу нет еще и тринадцати. Мы уже подали документы, но потом мужа убедили остаться. Вы же знаете: когда им кто-то нужен, они сделают все, чтобы удержать его.

— А второй раз нельзя было подать?

— Не успели. И потом, мужу стало стыдно. Как будто бы они стыдятся своих поступков, все эти люди.

«Кабальеро» не участвует в разговоре. Размышляет. Интересно, о чем? О своем потерянном имуществе? «Все. Мы покончили с его грязной коммерцией». Хильберто смеялся. Я напомнил ему, как мы ходили к «кабальеро». Мне тоже было смешно. А сейчас не знаю, что и делать: то ли смеяться, то ли плакать. Не знаю, что это со мной творится.

— Фредди сначала сопротивлялся. Я умолила его. Он не хочет оставлять меня. В конце концов удалось его уговорить.

— Мне кажется, вы его еще не до конца убедили,— говорю я, сам не знаю почему.

Супруги уставились на меня. Требуют разъяснений.

— В общем... так мне показалось. Он плохого мнения о стране, в которую мы едем.

— Понятно. Он, конечно, говорил вам, что там его тоже заберут в армию и пошлют во Вьетнам.— Сеньора Перес Лопес невольно выдает свои тайные переживания.

— Да. И в общем он прав. Я тоже об этом думал.

— Пока Карлитос достигнет призывного возраста, война уже окончится.— Беба волнуется, недовольная, что мы затронули опасную тему.

— Нас это не тревожит,— говорит сеньора Перес Лопес.— Мой муж сумел перевести деньги за границу. Он всегда был предусмотрительным. Мы пошлем Фредди учиться в Испанию.

— Каким образом? — Жена заинтересовалась. Оказывается, есть еще какие-то возможности.

— Все, кто может, так поступают. Все, кто успел перевести деньги. Или у кого есть родственники.

— И что они делают?

— Посылают своих детей в другие страны. Главным образом в Испанию. Тот же язык, та же христианская мораль. Если денег нет, но кто-то может за вас поручиться, обращаетесь в банк. Есть банки, которые дают ссуду.

Помните Сабатера, Варону, сенатора Пардо? Их дети учатся в Испании.

— Хороший выход из положения.

— Бедняжка Эммита Лопес не смогла это сделать. У ее мужа не было хорошей профессии. Он не знал языка. Им нелегко пришлось. А сына забрали в армию.

Она умолкает. Опустив глаза, стряхивает с ноги муравья. Жена тоже молчит. Ждет продолжения.

— На прошлой неделе я получила оттуда письмо. Ее сына убили под Сайгоном.

Снова воцаряется молчание. Я смотрю на Карлитоса. На Фредди. Они сосредоточенно играют. Мне никто не даст денег в долг. И я не смогу послать своего сына в Испанию.

— Уехать так далеко и погибнуть неизвестно за что, — выдавливаю я из себя.

«Что эти сволочи янки делают во Вьетнаме? Что они там забыли?» Хильберто любил рассуждать о международной политике. «Их тактика направлена на эксплуатацию природных богатств тех стран, где есть дешевая рабочая сила», — говорил я, вспоминая уроки экономической географии. «Дело не только в этом. Они хотят окружить Советский Союз кольцом военных баз».

— Это скоро кончится. Против военной мощи Соединенных Штатов невозможно устоять, — вступает в разговор Перес Лопес. — Так что не волнуйтесь, Картосо.

Хильберто думал иначе. «Борьба будет долгой. Но победит вьетнамский народ». И читал мне сообщения агентств ЮПИ и Ассошиэйтед Пресс. Не доверял мне? Нет, не думаю. Просто он знал меня лучше, чем я сам.

— А закончив там, они займутся Кубой. Вот почему я не хотел уезжать, — продолжает «кабальеро».

Поэтому он не хотел уезжать или поэтому уезжает? «Потом они бросятся в другую авантюру. Не могут же они закрыть военные заводы». Хильберто все анализировал и потом делился со мной. Ему и вправду легко давалась эта наука. Мне бы по-прежнему быть рядом с ним...

В желудке пусто. Пора бы уже и перекусить. Мужчина в желтом пуловере приносит еще одну банку галет и раздает их. С ним пришел и предполагаемый хозяин лодки. На нем грязная рубаша неопределенного цвета с засученными рукавами, брюки с обтрепанными манжетами. Он босиком, на голове у него шляпа из пальмовых листьев.

Он принес ведро воды и ставит его посреди поляны. А рядом — две банки из-под сгущенного молока вместо кружек.

Дочка проголодалась. Я отдаю ей свою порцию галет. Жена наливает ей воды из термоса. Торговец мясом и крашенная блондинка достают из сумки бифштексы и хлеб. Запивают еду пивом из большого термоса. Они угощают только шофера такси, который уже не играет в шашки с Манолито. Остальные жуют галеты, запивая их водой из ведра. Напившись, ставят банки на камень. Тошнота подступает к моему горлу. Жажда не проходит. Солнце теперь стоит прямо над нашими головами, и мы не знаем, куда спрятаться. Супруги Перес Лопес привезли с собой в термосе лимонад. И бутерброды с паштетом. Их сын угощает Карлитоса. Тот берет бутерброд. Дочка смотрит на него голодными глазами. Он отламывает ей половину. Напротив нас, на камне, обхватив колени руками, сидит тот самый тип и не сводит глаз с Фредди.

— Не нравится мне он. Мало похож на мужчину.

— Да это же сын доктора Барредаса, — с упреком произносит Беба. — Молодой человек из лучшего общества.

— Может быть. Только смахивает на педераста.

— Зачем так грубо? Научно это явление называется гомосексуализм. Видишь ли, когда у молодого человека артистические наклонности... — принимается она читать мне лекцию по социологии.

— По-моему, артистизм не имеет ничего общего с педерастией. Этот тип глаз не спускает с Фредди. Если он не отвяжется, я набью ему морду.

— Слушаю и не узнаю тебя. Что с тобой? Ты взволнован. И это волнение помогает мне разглядеть твоё второе «я». Жаль, что я раньше его не видела!

Неужели я так изменился? Но в какую сторону? Голлова у меня опять идет кругом. Я понимаю, что я взволнован. Но это естественно. Ожидание. Опасность. Судьба моих детей. Все эти люди, окружающие меня, которых я постепенно начинаю узнавать. Беба играет роль обиженной. Опять Бетти Дэвис, только в другом фильме. Она занимается дочкой и отвернулась от меня. Я подхожу к Карлитосу и Фредди. Они беседуют, не замечая ничего вокруг. Как будто ничего особенного с нами не происходит.

— Знакомство с тобой будет единственным приятным воспоминанием о сегодняшнем дне. Я дам тебе свой адрес.

Я прислушиваюсь. Какой адрес может дать ему Фредди? Но Фредди записывает адрес на клочке бумаги, и мой сын прячет его в карман.

— У меня много интересных книг. Когда я поступлю в университет, я подарю их тебе... Некоторые, правда, ты пока не поймешь... Я пишу, ты знаешь? Мне нравится писать. Твоя мама начала вести у нас литературный кружок. Она хороший преподаватель. Жаль только, что она этого не понимает...

Ничего не соображаю. Или рассудок мне отказывает? Что-то со мной не в порядке. Они говорят о том, что будут изучать. О новых возможностях для всех. «Теперь уже никому не придется торговать бумажными цветами или выпрашивать жареную рыбу у Бенигны. Все вокруг принадлежит нам, угнетенному народу. И надо защищать завоеванное всеми силами». Слова Хильберто как удары молота. И ребята говорят о том же самом. Влюбленная парочка бесстыдно целуется в кустах. Толстуха кормит грудью девочку. Таксист закусывает бифштексом и рассказывает что-то с набитым ртом. Блестяще воспитанный гомосексуалист чистит ногти. Каридасита выговаривает за что-то своим детям.

— Когда я поступлю в университет, обязательно стану милисиано. Пока я не мог подать заявление. Отец меня убил бы.

Мне плохо. Я ощущаю дурноту. Голова раскалывается. Наверное, давление. В последнее время оно у меня скачет. Особенно ниже. «Вы очень эмоциональны», — сказал мне врач. Когда-нибудь это плохо кончится. Я встаю и отхожу в сторонку, где меня никто не видит. Меня рвет. По-моему, никто этого не заметил. Возвращаясь, сталкиваюсь с Манолито.

— Вам плохо, Картосо? — спрашивает он тоном, в котором не слышно ни сострадания, ни дружеского участия.

— Уже все прошло.

Он стоит у меня на пути. Я останавливаюсь. Он хитро поглядывает на меня, потом показывает пальцем туда, где расположились остальные.

— С моей женой не о чем говорить... То ли дело дама из старой аристократической семьи! Да, ты знаешь, чем занимался ее муж?

— Он был владелец отелей.

— У него были дома свиданий на улицах Република и Прогресо. Причем самого низкого пошиба...

— Ты ошибаешься.

— Ошибаюсь? Там плюхам платили один песо...

— Я не об этом. Он владел отелями.

— Не рассказывай мне сказки! Мой брат Монгито был администратором в одном таком доме. Он заставлял его работать день и ночь и платил совершенную ерунду. Обмануть старика было невозможно: он сам вел бухгалтерию. Жук был тот еще...

— Я не интересуюсь чужой жизнью. Тем более сейчас, когда собираюсь порвать с прошлым. Но если бы я интересовался, тебе бы не сдобровать.

Манолито становится красным как рак, еще немного, и его хватает удар.

— Разве твоя жена не купила у моей миксер? И пластинки. Так что ты бы уж лучше помолчал... А купальник, в котором была вчѐра твоя дочь! — неожиданно припоминает он.

Я молчу. Какой-то ком стоит у меня в горле. И снова все плывет перед моими глазами, но на этот раз обходится без рвоты. Манолито уходит. Я возвращаюсь на поляну, беру банку и наливаю воды из ведра. Она довольно мутная и солоноватая.

— Что с тобой? — спрашивает Беба, от которой ничто не укроется.

— Неважно себя чувствую.

Она заставляет меня проглотить какую-то таблетку.

— Полежи немного. Увидишь, тебе сразу полегчает.

Я ложусь под дерево с тонкими ветвями и мелкими листьями, но с очень густой кроной. Мне душно. Хорошо бы опять пошел дождь. И смысл бы с меня пот, смешанный с песком и грязью... Ужасно болит голова. Кровь громко стучит в висках. Я даже могу считать удары. Прижимаю палец к набухшей вене. Как она только не лопнет. Опустив голову на охапку сухих листьев, прикрываю глаза. Потом вновь открываю. Муравьи снуют вверх и вниз по стволу дерева с тонкими ветками. Те, что ползут вверх, несут хлебные крошки. Вечные труженики. Я наблюдаю за ними. Издали доносится шум прибоя. Ветерок колышет мелкие листочки. Они трепещут у меня перед глазами. Рядом проползла игуана. Кто-то швырнул в нее камнем. Разноцветная бабочка порхает перед самым моим

носом. Красные, желтые, голубые, оранжевые, фиолетовые узоры... Я окончательно погружаюсь в микромир звуков и красок. На душе становится покойно, приятная истома охватывает все тело...

Лодка плавно скользит по воде. Все расположились на своих местах. Отъезд был внезапный. Никто не ожидал, что все так получится. Люди постепенно успокаиваются. Убийца Рейнальдо у нас за капитана. Остальные выполняют его команды. Все благодарят его за то, что он так хорошо все рассчитал, обошел все трудности. Пригодилась его профессиональная сноровка. Женщины улыбаются ему, мужчины безоговорочно повинуются. Дети помалкивают. Все в полном порядке. Ничто не предвещает трагедии. Через несколько часов лодка окажется вне опасности. Приближается пограничный катер...

— Они прикрывают нас. Мы спасены! — Мужчина в ярко-желтом пуловере вскакивает на ноги вне себя от радости.

— Наконец-то сбылось! Через несколько часов мы навсегда избавимся от этого кошмара!

Беба улыбается. Всем: Каридасите, крапсней блондинке, девушке, сбежавшей из родительского дома. Всем. Она счастлива.

— Мне не терпится зайти в магазин и купить все, что только захочется! — Манолито и думать забыл о недавних неприятностях.

Он протягивает руки. И я вижу женщину, вокруг которой обвилась змея, и сердца с инициалами. Его рот осклабился в довольной усмешке, как в ту ночь на кладбище.

Неожиданно взлетает ракета. Становится светло, как днем. Всеобщее замешательство. Дети прижимаются к матерям. Женщины едва сдерживают крик. Мужчины замирают на месте. Это сигнал. Я выхватываю пистолет и навожу его на человека в желтом пуловере. Он с ужасом глядит на меня.

— Ловушка! — кричит он в бешенстве.

Подходит пограничный катер, слепя нас своим прожектором.

— Это мы, Картосо, мы! — кричит сын Бенигны.

Он прыгает в нашу лодку. За ним Данило. В руках у обоих автоматы. Мы заманили их в западню. Теперь им придется отвечать перед революционным судом. Глаза юноши сияют так же, как сияли у Рейнальдо, пока Хильберто не закрыл их навеки. Жена смотрит на меня, как Бетти Дэвис в фильме, где героиню застают врасплох обманутый супруг. Дети — с радостью и благодарностью. Карлитос гордится своим мужественным отцом, верным революционному долгу. Фредди тоже смотрит на меня с признательностью. А вот «кабальеро» Перес Лопес не может скрыть ненависть.

— Попались, голубчики! Поворачиваем к берегу! — отдаю я команду.

Внезапно второй моряк, швырнув какой-то железкой в Данило, выбивает у него автомат. Сын Бенигны поворачивается ко мне, прося о помощи.

— Скорее, скорее! — кричу я.

И начинаю палить из своего пистолета. Желтый пуловер окрашивается в красный цвет. Пуля пробила сердце.

Поблизости слышится автоматная очередь. Беба хватается за руку, начинает трясти. Я открываю глаза. Надо мной мелкие листочки, тонкие ветки. Обычная прибрежная растительность. Меня охватывает тревога.

— Нас обнаружили! — стуча зубами, говорит Беба.

Я гляжу на свою руку. Она судорожно сжимает ветку, покрытую шипами. Разжимаю ладонь. На землю падает несколько капель крови.

— Что случилось? — спрашиваю я, еще не успев прийти в себя.

— Не знаю. Ты слышал очередь?

— Да... Это сын Бенигны.

— Откуда ты знаешь?

Жена в упор смотрит на меня. Глазами Бетти Дэвис. Настороженными, обвиняющими. С трудом оторвав голову от земли, я обвожу взглядом всех, кто сидит на поляне, и пытаюсь собрать свои разбегающиеся мысли. Все пристально глядит на меня. Но каждый по-своему.

— Он же остался... уехал его приятель негр... У него был автомат...

Наступает молчание. Мы ждем.

В ПОНЕДЕЛЬНИК ДНЕМ

Появился босой мужчина, тот, что посит рубанку неопределенного цвета. Вид у него озабоченный. Все застыли в ожидании, мужчина обегает взглядом наши лица. Чем-то он раздражен, неясно только чем.

— Что случилось? — шепотом спрашиваю я у жены.

— А откуда тебе знать! Ты спал, как сурок, даже храпел! — отвечает она.

— Но все-таки в чем дело?

— Ты ничего не замечаешь?

Я оглядываюсь по сторонам. И только тут замечаю Каридаситу, распростертую на землю, и Манолито, обмахивающего ее картонкой с надписью «Мущины».

— Убежали их дети! — раздраженно бросает жена.

— Их поймали?

— Не знаю. Ты не слышал выстрелов?

У меня в руке был пистолет. Сын Бенигны и негр приехали на пограничном катере. План был разработан заранее. Я проник в группу. Кто стрелял? Я и брат Рейнальдо. В этого типа в желтом пуловере...

— Ничего не понимаю. У меня голова не соображает.

— Здесь никто ничего не понимает. Он сейчас объяснит.

И босоногий владелец лодки объясняет:

— Дети нашлись. Но вся вина за происшедшее лежит на вас. — И указывает пальцем на Манолито и Каридаститу. — Они пошли купаться. На берегу их заметил часовой, вооруженный автоматом...

Меня охватывает дрожь. Я думаю о Бенигне. О Рейнальдо. Эта автоматная очередь, которую я смутно слышал сквозь сон...

— К счастью, сегодня понедельник и клуб закрыт. Но все равно выстрелы могли услышать.

Он был один. Его товарищ отправился провести свою мать. У него была увольнительная на сутки. Вернулся ли он? В тот раз Бенигна словно помешалась. Чего только она не кричала агентам СИМ, как только их не проклинала! Что-то она теперь нам скажет?

— Где они?

Манолито задает вопрос с дрожью в голосе. И как раз в этот момент появляются его дети. Их ведет за уши мужчина в желтом пуловере. За спиной у него автомат.

— Вот, полюбуйте! Из-за этих мерзавцев все мы угодим в тюрьму...

Каридасита бросается к ним, обнимает, плачет. Женщины заметно растроганы, даже Беба. Манолито расстегивает ремень:

— Сейчас я вам покажу, негодяи, как надо себя вести... Убить вас мало...

Таксист отнимает у него ремень, дети дружно ревут. Уши у них пунцовые. Здорово им досталось от этого типа с татуировкой:

— Тихо! Замолчать всем!

Он срывает с плеча автомат и направляет его на нас. Оружие кажется игрушечным в его огромных, словно распухших, ручищах. Змея еще сильнее сдавила женщину. Пронзенные сердца кровоточат. Пот струится у него по лбу и заливает глаза, отчего он часто моргает, стряхивая капли пота с ресниц. Мы же боимся лишний раз моргнуть и не отрываясь глядим на дуло автомата, на татуировку, на желтый пуловер бывшего моряка, который застыл в угрожающей позе.

— Возникло неожиданное затруднение. Теперь все мы должны действовать сообща.

Он говорит это совсем другим голосом. Неужели он убил сына Бенигны? Что скажет она, когда узнает? Придет Хильберто и закроет ему глаза. Только меня не будет рядом. Кровь бешено стучит в висках. Кажется, он еще не кончил.

— Этого парня мы схватили. Вот его автомат. Мы будем держать его как заложника.

Муж толстой женщины первым подает голос:

— Поручи его мне, Чео. Лучше меня с этим никто не справится.— Он выходит вперед и, приняв позу боксера, начинает засучивать рукава нейлоновой рубашки.

— Кто он? — спрашиваю я у Манолито.

— Один из его людей...

— Каких людей?

— Из тех, кто работал в СИМ. Из тех, кто вырывал ногти и кастрировал.

— А я думал, он из землевладельцев.

— У него была своя усадьба. Эти люди хорошо жили, ты же знаешь.

— А его жена?

— Разве ты не был в борделе у Айде? Только благодаря ей он и спасся — она прятала его там, и они не теряли времени даром...

— Откуда ты знаешь?

— Что же ты думаешь, этот ребенок появился на свет по воле духа святого?

— Я не об этом. Откуда ты знаешь, кто он такой? И что она его прятала?

— Чичо мне сказал, шофер. Он все про всех на свете знает... И даже про вас.

— Мне нечего скрывать. Я не был замешан ни в чем плохом.

— Ладно, не будем об этом. Просто есть люди с длинными языками. Они тебе что угодно наговорят, даже про такую скромницу, как твоя жена...

Он будто источает яд. Его последние слова неприятно поражают меня. Конечно, он говорит это назло, потому что Беба не захотела общаться с его женой... Беба всегда была порядочной женщиной. Раньше о девушке всегда говорили разные гадости, если ей удавалось сразу устроиться на работу. А Бэбу сразу взяли в школу, да еще в самую лучшую. Потому что у нее были способности. Место преподавателя стоило тысячи, а у ее отца не было таких денег. Когда мы приедем в Майами, я набью физиономию этому дегенерату... «Я слышал, у тебя появилась невеста. Эта девушка тебе не пара». Хильберто лез в мою личную жизнь, как будто был моим отцом или старшим братом. «Она из рабочей семьи. Ее отец работает на железной дороге». Беба была очень красивая. Теперь годы, конечно, берут свое. «В том-то все и дело. У нее отец рабочий, а она стремится жить так, как живут дочери богачей». Хильберто что-то недоговаривал. Я хотел, чтобы он высказался до конца: «У нее большие способности. Поэтому про нее и распускают разные сплетни. Ты же знаешь, что обычно болтают про тех, кому удается пробиться в жизни: если это мужчина, считается, что он педераст, если женщина — то, разумеется, шлюха». Хильберто покачал головой, как бы давая понять, что я говорю глупости. «Не в этом дело. Просто каждый должен жить и бороться в своей среде, в тех условиях, на которые они нас обрекли...» Сейчас-то

мне ясно, что он уже тогда вынашивал свои теперешние идеи. Но я был влюблен в Бебу. И пережил много унижений в детстве. «Тот, кто может пробиться наверх, достоин всяческого уважения. А кому это не нравится, может оставаться в дерьме». Тут Хильберто, похоже, сообразил, что полез не в свое дело. Он сочувственно взглянул на меня и похлопал по плечу: «Не обращай на меня внимания. Просто в этой неравной борьбе очень трудно бывает сохранить свои принципы. Но мы не должны жертвовать ими». Я только улыбнулся в ответ, и тогда он наконец произнес то, что давно вертелось у него на языке: «Известно, что сенатор Эрнандес большой бабник и никогда ничего не делает даром».

— Сенатор Эрнандес живет теперь в Майами. Он наверняка опять поможет твоей жене.

Манолито поворачивается и уходит. Все разыгрывается как по нотам. Я опускаю голову. Потому что вижу нашего первого провожатого с пистолетом, который конвоирует рыжеволосого юношу. А тот сразу же замечает меня.

Я слышу его шаги в траве, слышу шелест сухих листьев и треск ветвей, из которых кое-кто начал строить шалашики от солнца. Никто не произносит ни слова. И там, на кладбище, был такой момент, когда все мы умолкли. Когда незачем было говорить. «...покушение на государственный порядок».

И вот опять эта тишина. Только нет крестов, нет надгробий, не видно звезд.

Потрясенные, мы глядим друг на друга. Из клуба отчетливо доносится музыка.

Станцуем мосамбике,
Мария Карако-о-о-лес...

Резкие звуки проникают в уши, выводят из оцепенения, заставляют открыть глаза и поискать взглядом юношу, которого уже нет на поляне. И его конвоира, и моряка в кричащем желтом пуловере тоже.

— Это твой друг.

Карлитос смотрит на меня в упор. Его глаза обвиняют.

— Совался, наверное, куда его не просили...

Я начинаю говорить и умолкаю. Не я произношу эти слова, а кто-то другой. Я не это хочу сказать. Не об этом мне хочется кричать. Карлитос это видит. И по-моему, жалеет меня.

— Я не знаю... не знаю, как все это случилось,— говорю я шепотом.

Музыка слышится так отчетливо, как будто проигрыватель установлен где-то в лесу. Подходит Фредди. Тоже глядит на меня в упор. Но в его взгляде нет осуждения, одна лишь решимость, как у Хильберто в ту ночь на кладбище.

— Картосо, мне нужно с вами поговорить.

И отзывает меня в сторону. Я иду за ним, несмотря на возмущенные взгляды Бебы. Это же сын Бенигны. Когда нам нечего было есть, Бенигна присылала жареную треску и хлеб. Рейнальдо убили. Но революция победила. «Конечно, приходится нелегко. Но надо всеми силами защищать завоеванное». Нет, Хильберто, нет. Теперь уже никто не должен погибать. Бенигна не должна больше плакать. А кто с этим не согласен, пусть катится ко всем чертям.

— Картосо... Мы не можем допустить, чтобы его убили.

Мы зашли в такое место, где нас никто не видит и не слышит. В самую чащу, и переплетенные ветви настолько затрудняют движения, что мы не в состоянии даже отмахиваться от облепивших нас moskitov. Их здесь такое множество, воздух вокруг нас буквально звепит.

— Что мы можем сделать?

— Надо выбраться отсюда. Поднять тревогу. Мы не можем допустить, чтобы его убили.

Все кружится передо мной. Фредди смотрит на меня безумными глазами. Я совершенно разбит, какая-то странная слабость охватывает все мое тело.

— Среди нас дети. Они могут прибегнуть к крайним мерам. Что мы тогда будем делать?

— Я постараюсь выбраться отсюда. А вы скажете моим родителям, когда я буду уже далеко.

Он в своем уме? Как я вернусь на работу? Это будет конец. Они ни за что не простят мне того, что я поддался на уговоры. «Я слышал, у тебя появилась невеста. Эта девушка тебе не пара». Она уже не невеста. Она моя жена. У нас двое детей. Обратного пути нет. Нет. Я не могу позволить Фредди уйти. Он погубит всех нас. Спасая жизнь... А может, и не спасет. Эти люди, увидев, что все пропало, уничтожат нас. Фредди их плохо знает. И ничего не знает о подпольной борьбе. О том, что эти люди делали с теми, кто попадал к ним в лапы. Теодоро они вырвали

глаза. Отца Марии оскопили и повесили близ Камино-дела-Матанса. Они везде действовали одинаково. Начиная с Монкады, где добивали раненых. И вот двое из них находятся среди нас. Если бы я знал, что они поедут, я бы остался. Не стал бы рисковать.

— Они ничего ему не сделают. Мы уедем, а он останется здесь. Ты же слышал. Это заложник.

Фредди видит, что я боюсь. Да, боюсь. И мне наплевать, что он может обвинить меня в трусости. Да, я боюсь. Но я не поддамся ему и не откажусь от намеченного плана. Отступать уже поздно. Надо ехать. Все поставлено на карту.

— Чем это вы тут занимаетесь?

Молодой человек с артистическими наклонностями застал нас врасплох. На губах играет гаденькая улыбочка.

— Не твое дело. У нас мужской разговор, тебя это не касается.

Фредди сжимает кулаки, словно вот-вот бросится на этого типа.

— Напрасно ты так. Просто вас ищут. Я хотел помочь вам: они же предупредили, что любого, кто попытается бежать...

Он выразительно проводит ребром ладони по горлу. Мы с Фредди переглядываемся. И возвращаемся на поляну. Все в полном сборе. Кроме того мужчины, что конвоировал сына Бенигны.

— Этой ночью мы уйдем. К счастью, сегодня понедельник и центр ИНИТ закрыт. Сторожем там один из наших.

— Можно будет искупаться? — спрашивает шофер.

— Отсюда никто и шагу не делает!

Тип в потрепанном желтом пуловере грозит нам автоматом. Никто не осмеливается произнести ни слова. Слышна только песенка:

Станцуем мосамбике,
Мария Карако-о-о-лес...

Неужели у них нет другой пластинки? Или эту заело? Солнце начинает клониться к горизонту. Тени от кустарников стали заметно длиннее. Все сбились в кучу. Мы сидим буквально на головах друг у друга. От людей пахнет потом, немытым телом, к этому запаху примешивается вой от испражнений. Маленькую девочку вырвало. Ветер доносит до нас запах прокисшего молока. Мать вытащила

плотную грудь и дала девочке. «Корми грудью своего ребенка!» Похоже на плакат, которые они всюду повешали. На этих плакатах обычно был изображен ребенок, с жадностью припавший к огромной материнской груди. Перес Лопес не может удержаться, чтобы не бросить взгляда на толстуху. Влюбленные снова сидят в обнимку. Девушка с худеньким личиком школьницы положила голову на грудь парню. А он обхватил ее за талию и прижимает к себе, словно хочет овладеть ею у нас на глазах. Мать Фредди вытащила четки. Молится. И Беба молится рядом с ней. И женщина в косынке с египетскими рисунками. И Каридасита. Четыре женщины на разные голоса повторяют: «Пресвятая дева Мария...», будто паходится в церкви. «Заступись за нас, грешных...», будто это поможет... «Ныне и присно и во веки веков...», будто, если скажешь «аминь», все сразу изменится. «Пресвятая милосердная дева их защитила...» Моя мать, с изображением пресвятой девы, в которую она не верила, но по решалась убрать... «Надо довериться господу, и все будет хорошо...» Что они с ним сделают? Или уже сделали? «Аминь, аминь, аминь, Иисусе...»

Стацусем мосамбике,
Мария Карако-о-о-лес...

До каких же пор, черт побери, Мария Караколес будет тапцевать свой мосамбике?..

— Нужно сменить охрану. Я чувствую, на вас можно положиться, покараульте-ка его.

Это он ко мне обращается. В ту ночь на кладбище он не глядел на меня. Он не может меня помнить. Но должен помнить Рейнальдо. А они с братом так похожи. Рыжие волосы, голубые глаза... Но разве он обязан всех помнить? Их столько прошло через его руки...

— Я?..

— Да, вы. Скажите Рамиро, чтобы шел сюда. Скоро стемнеет. Надо не упустить момента.

Беба смотрит на меня, взглядом отдавая приказ. Я должен это сделать. Это нам зачтется. Будет поставлено в заслугу. Одна заслуга, другая... Как в соревновании на звание передовика, там они тоже все учитывают. Фредди умоляюще смотрит на меня. И я встаю на ноги.

— Куда идти?

— Отведи его. И пусть ему дадут пистолет.

Муж толстухи делает мне знак. Его жена не двигается. Она и не подумала прикрыть грудь. Я иду за ним.

— Пусть пока покараулит. Надо готовиться к выходу в море, отплывем, как только стемнеет.

Они дают мне пистолет и уходят, оставив наедине с сыном Бенигны. Или это ловушка и они сейчас наблюдают за мной? Чтобы потом изрешетить пулями, как они изрешетили Маркоса. Сперва сделали вид, что доверяют ему, освободили от пут. А когда он начал развязывать своего товарища, убили обоих. «Пытались бежать» — такое объяснение они дали потом их родственникам. И репортерам. «Мы были вынуждены действовать на основании закона...» Их тела были насквозь прошиты пулями.

— И вы тоже, Картосо?

Руки у него связаны за спиной. Он лежит на земле под кустом ежевики. Слева на лбу запекшаяся рана. Видно, что кровь струилась по щеке, по шее, стекала за воротник форменной оливковой рубашки. Удар, видимо, был очень сильный. Губы у него в песке, словно он ел этот песок.

— О вас бы я подумал в последнюю очередь.

Почему? Уж не собирается ли он напомнить мне о моем происхождении? Я этого не допущу. Каждый волен теперь делать то, что ему нравится. И ни он, ни все они, вместе взятые, не имеют права приставать к человеку, словно полицейские. «Не делай этого». «В этом направлении и нужно действовать». «Картосо, в пять общее собрание, вы не забыли?» «Картосо, не забудьте, скоро 13 марта*». «Надо послать его на Плая-Хирон». «Вы поможете нам подвести итоги рубки, кто же лучше вас разберется во всех этих цифрах, Картосо!» «Значит, в воскресенье в половине шестого. Отъезд назначен на шесть». «Нелегко, конечно. Но надо всеми силами защищать завоеванное». «Ее изнасиловали, когда ей было всего двенадцать лет, прямо на кофейной плантации...» «Ты знаешь, мою сестру тоже бросил с ребенком один подонок...» «Картосо, надо помочь нашей профсоюзной организации...» «Как хорошо, что вы записались в милисиано, Картосо!» «Можете сами разорвать его: нам нужны такие люди, как вы, вы же вышли из низов...» «Вы хорошо подготовлены и сумеете убедить всех членов

* День памяти павших во время атаки президентского дворца в 1957 году.

комитета...» «Вот по этому пути и надо идти вперед, Картосо...»

— Неужели вы не понимаете этого, Картосо?

Это он должен понять. У него убили брата. И у брата были такие же глаза, такие же волосы, точно такой же голос. Их родила одна мать. Третий брат ушел к повстанцам. Он спустился с гор с бородой и косматой рыжей шевелюрой. Теперь он живет в Гаване. Беба очень хотела переехать в Гавану. Сенатор Эрнандес обещал устроить ее в университет. Совершенно бескорыстно. Беба моя жена. Она порядочная женщина. Наши дети уже поступили в хорошие школы. Сын — в колледж маристов, дочка — к салезианцам. А я бы работал в министерстве. Сенатор уехал. Он укрылся в посольстве какой-то страны. А перед тем отправил свою жену и детей. «Надо воспользоваться этой возможностью, ты ведь тоже принимал участие в революции». «Ходил тогда на кладбище. Помнишь, ты сам мне об этом рассказывал?» «Ты участвовал в забастовках. Хильберто относится к тебе как к родному брату». «Надо постараться, чтобы нам дали другой дом. В Эль-Ретиро есть один незанятый...» «Надо спешить. Мы плетемся позади всех, разве ты не видишь?»

— Если бы я сказал об этом матери, она бы мне не поверила. Она часто говорит о вас. Ставит в пример.

«Они закрыли колледж маристов, конфисковали все имущество...» «Мы покончили с этим и конфисковали все дома у «кабальеро». «Я не хочу больше здесь оставаться. Если бы ты видел эту несчастную семью Луарки...» «Мы разгадали их уловки. Они, видите ли, берут практикантов и не платят им ни гроша». «Нет больше частных школ. Все учатся вместе. А мои дети не должны общаться с кухаркиными детьми. Ты знаешь, к чему это приводит?...» «Никто теперь не будет ложиться спать голодным. Это революция бедняков и для бедняков». «От меня ушла служанка. Неблагодарная. Мы ее спасли, можно сказать, от голодной смерти, а она уходит работать в ИНИТ...» «Ты не слышал вчерашнюю речь? Теперь нас ничто не остановит...» «Они распоясываются все больше и больше. Все стоящие люди уезжают. И мы должны уехать...» «Ты же наш... Мы сумели перевернуть омлет на сковородке, теперь самое главное — не обжечься. Надо всеми силами защищать завоеванное, дружок, надо держаться, пока не подоспеет смена...»

— Нельзя сказать, чтоб вы пострадали от революции, Картосо. Так почему же вы перебежали* в другой лагерь?

Голова раскалывается. Я чувствую себя так, будто меня избили. Каждый нерв, каждый сосуд, каждая клеточка моего тела напряжены, и я уже не могу сопротивляться силам, которые меня терзают. Кажется, юноша это заметил. Ему меня жалко. Будто это я лежу связанный под ежевичным кустом. С запекшейся раной на лбу и распухшими, запорошенными песком губами.

— Вам плохо, Картосо?

— Да. Плохо...

Я испытываю облегчение от того, что могу обратиться к нему. Что у меня есть голос. Что я в состоянии произнести что-то связанное.

— Я делал обход, поджидая Данило. И вдруг заметил двух ребятишек на берегу. Одних.

— Это мои соседи.

— Сегодня клуб закрыт. На местных они не были похожи. Один чуть не захлебнулся. Я оставил автомат на берегу и вошел в воду. Видите, брюки до сих пор мокрые.

— В котором часу вернется Данило?

— Мы договорились встретиться после обеда. Наверное, скоро приедет. Если уже не приехал.

— Он удивится, когда не встретит тебя.

— В том-то и дело, Картосо. Я опасюсь, как бы с Данило чего не случилось. Он единственная опора семьи. Если он узнает, что я здесь...

Мы замолчали. Он не рассказал мне всего, но я могу представить. Он оставляет оружие на берегу. Хочет вытащить ребятишек из воды. Появляется мужчина в желтом пуловере. Хватает автомат. Наводит его на юношу. Появляется его сообщник. Юноша выходит из воды вместе с ребятишками. Они поджидают его.

— Они стреляли в тебя?

— Нет. Случайно дали очередь.

— Ты сопротивлялся?

— Никогда не прощу себе, что оставил оружие на берегу. Но парнишка тонул.

— А теперь тонешь ты...

Этого не следовало говорить. Но у меня вновь разламывается голова, дрожат руки, какая-то тяжесть в желудке.

— Вы тоже можете утонуть. Такие случаи бывают.

- Да. Мы рискуем.
- Еще есть время, Картосо.
- Для чего?
- Они будут ждать, пока не стемнеет. До вечера далеко.
- Отступать уже поздно.
- Вы не уверены в этом, Картосо.
- Кто тебе сказал?
- Это заметно по вас.
- Уверен. Я давно уже все обдумал.
- Вам вбили в голову. А это не одно и то же.
- Я достаточно разбираюсь...
- Потому-то и странно видеть вас здесь, среди этих людей...
- Ты просто хочешь спасти свою шкуру.
- Нет, я думаю о миллионах, которые уже спасены. Не могу его понять. Он спокоен. Глаза широко раскрыты, как тогда у Рейнальдо. Взгляд, беззащитный и твердый, устремлен вдаль.
- Я ходил на кладбище, когда убили твоего брата...
- Знаю. Мне мать рассказывала.
- Стояла ночь. А глаза его были открыты. В них отражалось пламя свечей, горевших у его головы. И поэтому казалось, что он смотрит вдаль... как будто... как будто хочет рассеять мглу...
- И мы сделали это — в конце концов рассеяли мглу.
- Через несколько часов она опустится.
- Только не для революционера!
- Обязательно опустится.
- Для вас.
- Для всех!
- Мы навсегда рассеяли мглу.
- Ты не знаешь, что с тобой сделают.
- Не больше того, что сделали с Рейнальдо.
- Здесь не будет Хильберто, чтобы закрыть тебе глаза...
- Теперь уже никто не закроет мне глаз.
- Он смотрит на меня. Голубыми глазами Рейнальдо. Его взгляд пронзает мглу, возвещает приход дня. Мы не сможем уехать. Ведь ночь никогда не наступит. Голова... я не могу... не могу больше.
- Я пришел сменить вас.
- Это Манолито.

— Я знаю, что вы спасли моих детей. Хочу поблагодарить вас.

Я не могу уйти.

— Все идет как надо. Как только стемнеет, мы сможемся.

Я не могу оставить его с ними. Они убьют его.

— Я принес вам воды.

Манолито протягивает банку из-под сгущенного молока. Юноша отрицательно качает головой. Манолито не знает, что ему делать. Снова протягивает банку. И вновь получает отказ. Тогда он выливает воду.

— Подежурим вдвоем.

— Мне велели сказать, чтобы ты возвращался на поляну.

— Что с ним сделают?

— Ничего. Оставят здесь связанным.

— Я должен знать наверняка.

— Ты разве с ним знаком?

— Зачем пачкать руки в крови?

— Я говорил с главным. Они оставят его здесь.

— Я должен знать наверняка.

— Ладно, Картосо, делайте что хотите. Только помните: сейчас не до шуток.

Появился Фредди. Смотрит на юношу. Они понимают друг друга без слов. Он пришел за мной, берет меня под руку. Я опираюсь на него, чтобы не упасть. Шатаюсь из стороны в сторону, стараясь сохранить равновесие. Мы останавливаемся в самой чаще. Сомкнувшиеся с обеих сторон ветви мешают идти.

— Держитесь, Картосо. Этого юношу надо спасти.

— Но как?

В этих двух словах выливается наружу вся моя тоска, все переживания минувшей ночи. Фредди с сожалением смотрит на меня.

— Я не хочу ехать, Фредди.

— Почему вы не подумали об этом раньше?

— Я много думал... У меня было голодное детство, Фредди. В последние годы мы стали жить как люди.

— Моему отцу нравилось вставать чуть свет. Он выходил во двор и кормил воробьев хлебными крошками...

— Мы постепенно расставались с печальным грузом прошлого...

— Теперь хозяева те, кто раньше зависел от него. Раз-
ве вы не понимаете?

— Ты мне толкуешь про воробьев, он — про то, что нет
больше мглы... Помоги мне дойти до места.

Фредди поддерживает меня. Видно, что ему меня жаль.
Меня никто не должен жалеть. Я хозяин своих поступков.
Я действовал сознательно.

— Картосо... Ваша машина стоит возле клуба. Вы мог-
ли бы отсюда выбраться. Позади нас болото. Они ничего
не заподозрят. В крайнем случае я скажу, что вы только
караулите заложника. В поселке есть пост милиции. Мо-
жет, его товарищ как раз там. На посту должен быть те-
лефон. Надо сообщить.

Я слушаю Фредди словно во сне, словно в каком-то
кошмаре, от которого хочу очнуться и убедиться, что все
это неправда, что в действительности все тихо и спокой-
но... Но мне не удается проснуться. Кровь отливает от го-
ловы. Чувствую резкую боль в паху. Тошнота вновь под-
ступает к горлу, но рвоты нет. Видимо, желудок уже пуст...

— Я не могу. У меня нет сил, Фредди.

— Тогда дайте ключи. Я сам все сделаю.

— Ключи?

— Да. Я умею водить машину.

— Нет, Фредди... Тебя могут заметить.

— Без риска не обойтись.

— Они найдут у тебя ключи. Узнают, что это я их дал.

— Ясно. Бойтесь за свою шкуру.

— Не в этом дело. Есть еще другие...

— Какие другие?

— Моя жена, дети, все те, кто хочет уехать.

— Если бы речь шла только о тех, кто хочет уехать, я
не сделал бы ничего, чтобы задержать их. Дрянь, разло-
жившиеся людишки. Вы же не держите у себя дома вся-
кую падаль...

— Тогда дай нам спокойно уехать.

— Как вы не понимаете, что этому парню угрожает
опасность?

— Они говорят, что ничего ему не сделают.

— И вы верите? Вы не знаете, что из себя представ-
ляет этот тип в желтом пуловере?

Снова появились москиты. Одним ударом я убиваю
нескольких у себя на лице. А Фредди, кажется, их не за-
мечает. Как мой сын. Фредди смотрит на меня своими без-

умными глазами. Я не дам ему ключей от машины. Не стану рисковать семьей. Ему все равно, что будет с его родителями. А мне не все равно, что станет с Бебой и моими детьми.

— Даже если его и оставят в живых, его свяжут, вставят в рот кляп. Кто его здесь найдет? Его смерть будет ужасной, Картосо. Это же преступление, подумайте сами.

— Ты стараешься только ради этого парня?

— Не стану обманывать вас: ради него, ради вашего сына и ради себя. Ради всех детей.

— А меня ты считаешь подонком?

— Разве вы доказали обратное?

Это уже оскорбление. Я в ярости кусаю губы. В венах снова бешено пульсирует кровь. «Этот молокосос слишком много себе позволяет!» Не знаю, прочел ли он эти слова на моих губах. Во всяком случае, он поворачивается и уходит на поляну, оставляя меня одного.

Его сожрут москиты. Высосут из него всю кровь. Бенигна проклянет нас. А мы будем уже далеко. И не услышим ее криков. Как тогда, в тот день, когда погиб Рейнальдо. «Земля теперь принадлежит тем, кто ее обрабатывает, дружище». Мне-то какое дело, я родился не для того, чтобы обрабатывать землю! «Ты знаешь? Твоя мать может теперь быть спокойной: никто больше не имеет права выгнать ее из дома!» Мой дом — это мой дом. Я купил его на наши с женой деньги. «Не работают сейчас одни бездельники. Работы на всех хватает». Я всегда работал. Только для чего теперь работать, если ничего не купишь? «Ты помнишь? Мать часто мне говорила: «Дети негрятянки Чеа плачут по ночам от голода. Снеси им немного еды...» Зачем ты напомнил мне об этом, Рейнальдо? Все равно лучше голодать, чем лежать в земле, как ты. Это стоило нам столькож жизней. Надо защищать завоеванное всеми силами». Все твои теории дерьмо, Хильберто. «Бедная Бенигна, старший у нее воюет в Сьерре. Она не переживет, если и его убьют». Нет, нет, его не убьют, я не позволю, чтобы его сожрали москиты. Эй, Фредди, иди сюда, Фредди... возьми ключи от машины. Сообщи, где скрывается эта падаль. Неужели они не чувствуют вони? Здесь невозможно дышать. Хорошо, что есть ты, Карлитос, дети... Где же ты, Фредди?

Я плачу. Мне давно нужно было выплакаться, чтобы на сердце стало легче. Какая густая мгла! Надо рассеять ее.

Надо рассеять мглу. Я широко развожу руки. Задеваю за острые шипы, за ветви, которые мешают мне идти, хлещут по глазам. Частая листва липнет к моему потному лицу, я ничего не вижу. Вновь и вновь пытаюсь пробиться сквозь заросли. Ноги обвивают какие-то ползучие растения, лианы. Я спотыкаюсь. Нет, мне не выйти из этой зеленой тюрьмы. Фредди, приди мне на помощь, Фредди! Помоги мне рассеять мглу. Я медленно продираюсь вперед, спотыкаясь на каждом шагу. Я уже давно сбился с тропинки. Мне нужно попасть на поляну. Вокруг меня страшные звенящие звуки. Это тучи насекомых облепили мое тело, словно готовясь обглодать его до костей. Я задыхаюсь. Ломаю ветви, продираюсь сквозь листву... «Надо рассеять мглу... рассеять мглу... рассеять мглу...»

Неожиданно заросли расступаются. Я пришел на место. Все смотрят на меня с недоумением, и я с недоумением гляжу на них. Потом смотрю на себя. Оглядываю разорванную одежду, исцарапанные до крови руки. Лицо у меня воспалено, кожа горит. Я опять гляжу на людей, собравшихся на поляне. Их фигуры начинают расплываться, напоминая какие-то туки, сваленные в кучу. Почти на ощупь я добираюсь до Бебы. Она берет меня за руку, усаживает рядом.

— Что с тобой приключилось? Я так волновалась, думала, ты заблудился.

— Да. Я заблудился.

— Хорошо, что ты вовремя вернулся. Уже хотели идти тебя искать.

— Почему?

— Ты что, не видишь? Уже стемнело.

VI

В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЕЧЕРОМ

Сквозь стрекотание насекомых и назойливое жужжание mosкитов можно расслышать глухой шум прибоя. Это единственные звуки в ночной тиши. Все умолкли и застыли в неподвижных позах. Ночь сегодня звездная. Наступило новолуние, звезды кажутся особенно яркими, и мы можем различить расплывчатые силуэты друг друга, которые напоминают статуи, словно бы окутанные предрассветным туманом.

Мне уже лучше. Напряжение последних часов совсем выбило меня из колеи. Беба взяла меня за руку, будто в первые дни нашего знакомства, и старается подбодрить словами, которые почему-то кажутся мне новыми, хотя я слышал их тысячу раз.

— У нас обоих есть образование. Нам будет легко устроиться. Я не хочу привыкать к лишениям. Когда они потерпят крах и окажутся в одиночестве, когда они поймут, что без американцев им не прожить, тогда все опять встанет на прежние места. И мы сможем вернуться.

— Я бы не хотел возвращаться.

— Все зависит от обстоятельств. Те, кто сейчас уезжает, потом получают право занять места наверху.

— Зачем возвращаться, если нам удастся хорошо устроиться там?

— Чтобы помочь в восстановлении страны. Они же все разрушают, разве ты не видишь?

— Все изменится до неузнаваемости. Понадобятся многие годы упорного труда.

— Работать будут они. Мы будем руководить. Понял?

— Но ведь изменения произойдут и в сознании людей...

— Здесь любого можно купить за транзисторный приемник.

Я не нахожу, что возразить. Она продолжает подбадривать меня. Рассказывает, как все устроится. Чем мы сразу займемся по приезде туда. Говорит, что нужно будет постепенно создавать себе репутацию. Уверяет, что священники и монахини еще вернутся в школы. Рассказывает о роскошных туалетах из «Эль Энканто». Об уважении, с которым вновь будут относиться к университетскому диплому. О «бьюике» последней модели. Об американских фильмах. О «Лайфе» и «Селексьонес». О кухне «Дженерал электрик». О приемнике «Паратропико». О «High Fidelity» *. О демонстрации мод в театре «Принсипаль». О светской хронике и фотографиях в «Диарио де ла Марина». О загородной вилле в самом аристократическом районе...

— Конечно, сейчас нам приходится идти на жертвы. Но впоследствии это окупится. И мы сможем безо всяких препятствий приобрести дом на побережье...

* Высокая точность воспроизведения (англ.). Надпись, свидетельствующая о высоком качестве пластинки.

— Все на месте?

Мы вздрагиваем от этого вопроса. Разговоры мгновенно прекращаются. На поляне появился владелец лодки.

— Вроде бы все, — отвечает муж толстухи.

И начинает нас пересчитывать: шесть женщин... девять мужчин... пятеро детей...

— Все правильно. Будьте готовы. Мы отправимся с минуты на минуту.

— Военный катер ушел? — спрашивает «кабальеро».

— Да. Опасность миновала. Мы уже погрузили продукты и воду. В открытом море ждет американский эсминец, который будет сопровождать нас. Так что все в полном порядке. Все о'кей!

Вновь тихие разговоры. Сонные голоса разбуженных детей. Надежды, смешанные со страхом. Монотонное жужжание насекомых, шум волн.

— Что они сделают с тем юношей? — с тревогой спрашивает Карлитос.

— Оставят его здесь. Они не станут его убивать, не беспокоясь.

— Это преступление.

— Пусть скажет спасибо, что остался в живых.

— Папа... Ты смог бы убить его?

В голосе сына слышится тревога. Недоверие. Должно быть, он ненавидит меня. Это ужасно. Я боюсь потерять свой родительский авторитет, хочу, чтобы Карлитос видел меня таким, каким я всегда старался казаться в его глазах. Примером для подражания. Кумиром.

— Меня ты тоже считаешь преступником?

— Все мы здесь преступники.

Некоторое время мы молчим. Вокруг собираются в дорогу наши попутчики. Люди заметно волнуются. В ночном лесу раздаются их голоса.

— Кто его здесь обнаружит? Он умрет от голода, жажды... Его съедят муравьи.

— У него есть друг. Тот негр, помнишь?

— Он не найдет его. Ему и в голову не придет, что он здесь.

К нам приближается Фредди. Я рад прервать неприятный разговор. Карлитос тоже рад приходу своего союзника.

— Я только что говорил с этим типом в желтом пуловере. Потребовал, чтобы они его не убивали.

— И что он тебе ответил? — быстро спрашивает Карлитос.

— Что пока в этом нет необходимости.

— Вот видите? И не будет... — спешу я успокоить мальчиков.

— Я боюсь, появится его друг...

— Какой друг?

Я задаю этот вопрос, хотя прекрасно знаю, кого он имеет в виду. Того негра с автоматом. Они же договорились встретиться. Негр станет его разыскивать. И это может совпасть с моментом нашего отплытия. Тогда придется заставить замолчать обоих. Бенигна будет кричать, как в тот день. Но я уже не смогу прийти к ней со словами утешения. А она никогда больше не поставит меня в пример. И проклянет то время, когда кормила голодных ребятишек. Потому что один из них отплатил ей черной неблагодарностью.

— Как ты узнаешь, что они сдержали слово? — спрашивает сын.

— Я буду последним караулить его, — отвечает Фредди.

И уходит. Исчезает в зарослях в той стороне, где лежит связанный юноша с рыжими волосами и голубыми глазами, по лицу которого протянулся красный ручеек, исчезающий за воротником его форменной рубашки. Там, где лежит сын Бенигны в ожидании мучительной смерти от голода, жажды и укусов насекомых, которых он не сможет отогнать.

Я бы пошел с Фредди, но боюсь оставить Карлитоса одного. Боюсь, что он попытается сбежать в самую последнюю минуту.

— Вставай, просыпайся...

Жена будит дочку. Та принимается хныкать.

— Мы уезжаем. Скоро ты увидишь красивые вещи, которые я обещала тебе купить.

Дочка умолкает. Она, конечно, верит матери, верит в существование земного рая, к берегам которого мы скоро приплывем. Я гляжу на небо. Звезды, кажется, стали еще крупней. Ночь безветренная. Это хорошо. Скорее бы они давали сигнал к отплытию, чтобы мы наконец могли занять места в лодке. А то я больше не выдержу. Все мы не выдержим. Вокруг слышится бормотание. Женщины молятся. Кое-кто из мужчин тоже. Просят защиты у бога, у всех святых. У нас на стене висело изображение пресвя-

той девы. Мать каждую ночь молилась перед ним. Просила ее помочь, не оставить голодными, без единого гроша. Но потом отчаялась и смотрела на изображение с ненавистью. Говорят, пресвятая дева спасла поторпевших кораблекрушение, умирив жестокую бурю. Среди них был негр-итенок. Но мы не дождались от нее ни кусочка трески. Выручала нас Бенигна, испанка Бенигна из закуской на углу.

— Почему ты не молишься?

В доме родителей Бебы, в гостиной, висело изображение сердца господнего. И похоже, припосило им удачу. Беба смогла выучиться. У ее отца была постоянная работа. А на дверях их дома кто-то намалевал карикатуру на сенатора. Ведь это он помог ей получить место в хорошей школе. Но разве Беба этого не заслуживала? Она училась в университете. Была отличной студенткой. Много занималась. Закончив курс, сдала экзамены. Потом у нее была практика. А когда она получила диплом, сенатор помог ей устроиться. Беба всегда была порядочной женщиной. Если от иных требовали определенной платы, так что с того! Нужно быть благодарным. На дверях карикатура на сенатора, а в гостиной сердце господне!

Мы вздрагиваем, услышав автоматную очередь. Женщины кричат, дети плачут, прижавшись к матерям. Что-то случилось. Подумать только, в самый последний момент. Появляется тип в желтом пуловере. Он возбужден, но делает нам обеими руками знаки, чтобы мы успокоились. Все вскочили на ноги. Мой сын тоже. Я вижу, он не на шутку встревожен.

— Бояться нечего. Враг ликвидирован. Становитесь цепочкой. Быстро! Отплываем!

Мы строимся. Мне вспоминается школа. Обычно нас выстраивали во дворе, в тени миндального дерева. Отдельно девочек, отдельно мальчиков. Сейчас мы стоим все вместе. Впереди Манолито со своей женой и обоими детьми.

— Ну, пошли!

Передние начинают двигаться к берегу по узкой тропке.

— Мой сын. Нет моего сына.

Это голос Переса Лопеса.

— Давно его нет? — хмуро спрашивает мужчина с табуировкой.

— Я здесь. Я последний караулил.

Фредди выходит на поляну. Теперь все в порядке. Карлитос смотрит на него. Ему не терпится узнать, чем все кончилось.

— Быстрее, быстрее! Нельзя терять время...

Мы трогаемся в путь. Карлитос отстал. Он о чем-то говорит с Фредди. Беба с дочкой идут впереди. На меня на-
талкивается торговец мясом. Я пропускаю его вперед. И его любовницу тоже.

— Он жив? — шепотом спрашивает Карлитос.

— Эти выстрелы спасли его. Они собирались его убить, — так же тихо отвечает Фредди.

— А сейчас они не могут это сделать?

— Я перетащил его в другое место.

— Ты развязал его?

— Не успел.

В темноте люди натыкаются на нас. И обгоняют, торопясь поскорее очутиться на берегу. Я беру Карлитоса за руку.

— Пошли. Мы отстали от всех, — говорю я, стараясь, чтоб мой голос звучал как можно тверже.

Фредди уходит вперед. Карлитос останавливается.

— Я не хочу уезжать.

На поляне остались мы одни. Остальные уже скрылись в зарослях. Мужчина в желтом пуловере подгоняет нас:

— Давайте, давайте... Чего вы ждете?

Я тяну за собой Карлитоса, он упирается. Глупее положения не придумать. Не в силах больше сдерживаться я поднимаю свободную руку и изо всех сил влеплю ему пощечину.

— Быстрее вперед! Нельзя терять время!

Мужчина в желтом пуловере с татуировкой на обеих руках ждет нас. Мы проходим мимо него. Карлитос послушно шагает впереди. Полчища москитов преследуют нас. Я отбиваюсь от них, как могу. Наконец мы выходим на пляж. Мне кажется, что сейчас я увижу луну. Но ее нет. Пляж освещен тусклым сиянием далеких звезд. И все же я вижу два тела, распростертые на песке:

— Это Данило. Они убили его.

Мы останавливаемся. Голос моего сына прерывается. Я молчу. У меня нет больше слов. Я их все израсходовал.

— Он ездил проведать больную мать. Это товарищ того парня...

Они забрали у него автомат. Рядом с ним труп одного из наших провожатых. Изрешеченный пулями.

— Теперь ему уже не отыскать своего друга...

Я подталкиваю Карлитоса. Слова застревают у меня в горле. Он идет, то и дело оборачиваясь назад, туда, где лежит убитый погр. Я дышу широко раскрытым ртом, но сейчас мне не хватило бы и всего воздуха на свете. Волны с шумом обрушиваются на берег. Я различаю их белые гребни. Мы идем сначала по песку, а потом по дощатому настилу причала.

— Сперва женщины и дети, — говорит кто-то.

— Сначала женщины, чтобы дети не боялись, — поправляет второй голос.

Люди прыгают в лодку один за другим. Мы последние. Хотя нет: последние мужчина в желтом пуловере и его босой приятель в рубашке неопределенного цвета.

Дети не плачут. Они слишком перепуганы. Мы прыгаем прямо на копошащихся на дне суденышка людей. Неужели нас здесь двадцать человек? Не разберешь, где муж, где жена, где мать, где ребенок... Кто это упал рядом со мной? Здесь есть брезент. И какие-то ящики. Среди них мы сможем спрятаться. Люди вокруг меня тяжело дышат. Но где Карлитос? Он прыгнул раньше, чем я. Мне стыдно оттого, что я дал ему пощечину. Но ничего другого не оставалось. Они могли пристрелить его, и он лежал бы сейчас на песке с пулей во лбу. А Беба?.. Все сбились в кучу. Мы еще не привыкли к темноте. К тому же под брезентом, который нас маскирует, не видно ни зги.

Стук мотора прерывает мои мысли. Проходят секунды, минуты, которые кажутся мне вечностью. Все смешалось в моей голове. С трудом соображаю, что лежу на дне суденышка, слышу чужое дыхание, стук чужих сердец... Чужих или родных... Не разобрать. Оба моряка высунулись наружу. Один из них в желтом пуловере, другой — в рубашке неопределенного цвета. Мы удаляемся от берега. Позади остается пляж, песок, прибой, ракушки... Два бездыханных тела. И еще связанный сын Бенигны, брошенный в прибрежных зарослях и обреченный на мучения от голода, жажды, укусов насекомых... Но что это? Кто там встал?..

— Ложись! Ложись! — кричат моряки.

Слышен шум борьбы. Кто-то в последний момент передумал... Мой сын!

— Карлитос! Карлитос! — кричу я во весь голос.

И тоже вскакиваю. Пытаюсь ухватить его за ногу. Моряки удерживают меня. Он бросается в воду. Жена кричит мне:

— Оставь его! Оставь!

Моряки орут:

— Всем ложиться! Мы не можем вернуться назад!

В руках у них появляются весла, которые они грозят обрушить на наши головы.

— Это мой сын! Мой сын! — в отчаянии кричу я и бросаюсь на них. От неожиданности оба теряют равновесие и падают.

— Оставь их, оставь! Мы уже не можем вернуться! — кричит мне Беба.

Муж толстухи приходит на помощь морякам. Они избивают меня. Я падаю на дно лодки. Все в замешательстве. Вновь такое ощущение, что голова у меня растет, наполняется туманом, который вскоре постепенно рассеивается... Звук удаляются, умолкают, и я остаюсь в пустоте и безмолвии.

— Карлитос... Кар-ли-тос... К-а-р-л-и-т-о-с...

Молчание. Кто-то начинает плакать. Но это не жена. Это дочка... Остальные тихо сочувствуют нам... Мерный стук мотора начинает удаляться, становится все слабее и слабее...

VII

ВО ВТОРНИК НА РАССВЕТЕ

Я открываю глаза. И тут же вынужден закрыть их, ослепленный ярким солнцем. Сильно болит голова. Ничего не помню. Постепенно различаю голоса. В голове по-прежнему туман. Мне кажется, она стала огромной. И пустой. Голоса звучат все ближе. Я уже понимаю, о чем говорят.

— Конечно, это тяжелый удар...

— Жаль, среди нас нет врача... Бедняжка, она же мать.

— Долго нам еще ехать?

— Думаю, что мы уже вне опасности...

— Он сошел с ума, сошел с ума...

Я прихожу в себя. Различаю голоса таксиста, Карида-

ситы, Манолито... Вспоминаю свой прыжок, борьбу, крики... Здесь нет невиновных, хотя сейчас они соболезнают мне, пытаются очистить себя от греха молитвой, которую заглушает стук мотора... Так-так... так-так... Нет-пу-ти-па-зад... нет-пу-ти-на-зад... Я поворачиваю голову и с трудом открываю глаза. Надо мной склоняется жепа. Она внимательно вглядывается в мое лицо. Улыбается мне сочувственно. Снова Бетти Дэвис. Имитирующая сострадание, скрывающая собственную боль, старающаяся скрасить эти горькие минуты. Она наклоняется и что-то шепчет мне на ухо... Я не могу разобрать. Она повторяет:

— Разве ты не видишь? Наш сын здесь. Я доржала его за руку.

С трудом приподнимаю голову и пробую сесть. Рядом с Бебой стоит мой сын. И смотрит на меня с ненавистью. Нет, скорее с отвращением. За одну секунду он успевает сказать мне взглядом то, на что обычно уходит часы. В его глазах нескрываемое презрение. Я поворачиваю голову, оббегаю взглядом всех, кто с нами в лодке. Толстая женщина... ее муж... грудной ребенок... Манолито... Каридасита... их дети... Перес Лопес... его жена... Фредди!

Я закрываю и вновь открываю глаза. Огромная волна окатывает меня с головы до ног. Я чувствую, как начинают гореть царапины на лице, ссадины на руках. Во рту ощущаю солоноватый привкус. Но это не от морской воды. Мать Фредди без признаков жизни лежит на руках своего мужа. Ее бесчисленные драгоценности поблескивают на солнце. Моя жена не кричала. Не кричал ни шофер... ни торговец мясом, ни его любовница, ни влюбленная парочка, ни тот тип с противоестественными наклонностями... Никто из них не кричал. Потому что никому из них не было дела до моего сына. Моряки наверху следят за курсом... Дети сидят с перепуганными, измученными лицами. Будто парализованные страхом.

Я вглядываюсь в них. Им это почему-то кажется странным. Они тоже смотрят на меня не отрываясь. И Беба с тревогой глядит на меня. Правда, ей, как жене, это и положено.

— Мы были далеко от берега?

Тоска раздирает мне грудь. Фредди, море, сын Бенигны, москиты, жажда...

— Мы только что отчалили. Скорость была небольшая, море спокойное.

— Сколько метров было до берега?

— Не знаю. Ты не волнуйся. Подумай лучше об интервью. Теперь оно произведет еще большее впечатление... Понимаешь?

Да. Начинаю понимать. Каждой клеточкой своего избитого тела. Словно их удары пробудили во мне память. Теперь я отчетливо помню все события, имена, людей, все слова, тишину, наши страхи, огни, грязь, плач, громкий хохот... От этого хриплого хохота у меня деревенеет лицо и темнеет в глазах. А они смотрят на меня молча, неподвижно. Я вижу их сквозь соленую влагу, которая застилает мне взгляд. Впервые вижу этих безобразных мерзких чудовищ с зияющими смрадными дырами ртов, сквозь которые виднеются внутренности.

Я содрогаюсь от ужаса. Ощупываю свои руки, лицо, ноги. Кладу ладонь на живот, чтобы горячая соленая жижа, которую я ощущаю внутри себя, не вырвалась наружу. Но тошнота неумолимо подступает к горлу. У меня начинается рвота. Чудовища окружили меня, обступили со всех сторон, не давая дышать, заслоняя дневной свет.

Я хочу убежать. Забиться на дно лодки. Подо мной море, водоросли, рыбы, бездонная пропасть. Я хочу встать, позвать Фредди, забрать своих детей. Но мой взгляд наталкивается на стену их лиц, голов, тел, склонившихся надо мной. Они закрыли от меня солнце, наступает мгла.

Но именно теперь, в это мгновение, ко мне приходит истина, таившаяся в глазах Рейнальдо и многих-многих других. В глазах, которые ежедневно открываются навстречу солнцу, чтобы навсегда рассеялась мгла.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Земсков. Создать нового человека	5
М. Кофиньо Лопес	
Последняя женщина и близкий бой. <i>Перевод Ю. Павлова</i>	17
Р. Гонсалес де Каскорро	
Рассеять мглу. <i>Перевод В. Капанадзе</i>	247

Мануэль Кофиньо Лопес
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА И БЛИЗКИЙ БОЙ
Рауль Гонсалес де Каскорро
РАССЕЯТЬ МГЛУ

ИБ № 4795

Художник Л. М. Чернышов
Художественный редактор А. П. Купцов
Технический редактор Е. В. Гоц
Корректоры Г. Н. Иванова и В. Ф. Пестова

Сдано в набор 7.04.1978. Подписано в печать 2.10.1978.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарни-
тура обычн. нов. Печать высокая. Условн. печ. л.
17,64. Уч.-изд. л. 17,16. Тираж 50 000 экз. Заказ № 2619
Цена 2 руб. 40 коп. Изд. № 25920.

Издательство «Прогресс» Государственного комитета
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли.

Москва, 119017, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового
Красного Знамени Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Госу-
дарственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54,
Валовая, 28